

Вячеслав
Сысоев

**ХОДИТЕ ТИХО,
ГОВОРИТЕ ТИХО**

Записки из подполья

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

*Ходите тихо,
говорите тихо*



Вячеслав Сысоев

•••

Ходите тихо,
говорите тихо

Записки из подполья

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОСКВА 2004

УДК 75(470+571)"196/198"
ББК 85.103(2)6
С 95

Сысоев В.

С 95 **Ходите тихо, говорите тихо:** Записки из подполья. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 456 с.

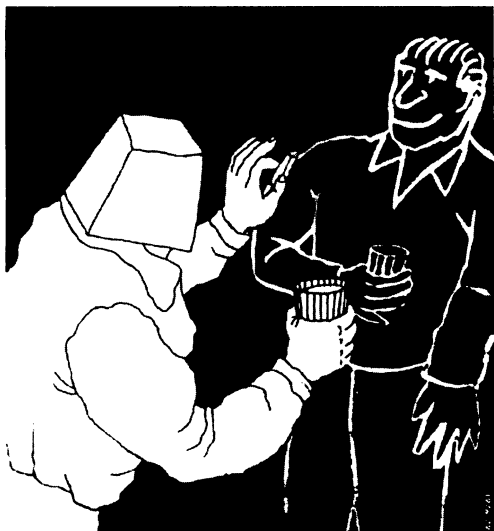
Книга Вячеслава Сысоева представляет собой расширенный и дополненный вариант книги, написанной в 1982 году: тогда по цензурным соображениям не все могло войти в текст. Это не вполне мемуары; скорее, это фантазмагория на автобиографическом материале. Сама биография автора фантазмагорична: едва ли не единственный из русских художников-нонконформистов, Вячеслав Сысоев подвергся репрессиям конкретно за «художество» — отсидел два года по статье 228 УК РСФСР («За изготовление и распространение порнографических изображений»), а до этого четыре года скрывался от ареста, развенчав тем самым миф о всемогуществе власти и всезнании ее карательных органов. Как и в рисунках Сысоева, в его увлекательной прозе причудливо сплавлены изощренность и лубочность, сатира и гротеск; ей присуща интонационная и композиционная многослойность. Книга иллюстрирована работами автора.

УДК 75(470+571)"196/198"
ББК 85.103(2)6

ISBN 5-86793-334-2

© В. Сысоев, текст, рисунки, 2004
©Новое литературное обозрение, 2004

Вступление



— Почему бы тебе не сделать дополнение к своей первой книге? — спросил меня однажды писатель Юз Алешковский, автор песни «Товарищ Сталин, вы большой ученый».

К словам мэтра я отнесся серьезно и решил дополнить книгу «Ходите тихо, говорите тихо», которая была закончена ровно 20 лет назад, современными комментариями. Ведь по причинам конспирации я, естественно, не мог тогда о многом рассказать.

Многие вчерашние «нонконформисты» стали солидными уважаемыми людьми. Изменилась власть. Да, была партдиктатура, а сейчас, можно сказать, совсем наоборот. В книге, написанной в 1982 году, многие герои обозначены были только инициалами, или кличками, по естественным для той жизни причинам. В сегодняшних дополнениях я только в некоторых случаях не стал раскрывать настоящих имен. Почему не стал? Потому что, на

мой взгляд, не всем это может понравиться. По самым разным причинам — от излишней скромности до излишней амбициозности. А то может получиться и как с французским журналистом Николаем Милетичем, московским корреспондентом Франс Пресс, которого я знал еще до своего ареста.

Прошло года два, как Михаил Г. объявил о перестройке энд гласности. Я послал в Париж открытку, поздравил Милетича с Пасхой. Потом мне друзья сказали, что он был вне себя от ярости: зачем я ПОДВОЖУ его, посылая открытку не тайно, а ПО ПОЧТЕ? Мне-то была понятна причина столь неадекватной реакции. Журналист делал вид, что общение с опальным советским художником может повредить его журналистской карьере во Франции. А на самом деле он нашел повод «обидеться» на меня и не возвращать мои работы, которые были даны ему на хранение. Они, кстати, так и не вернулись.

Если быть тривиальным, то следовало бы назвать эти дополнения «20 лет спустя». Но я решил, пусть будет как есть — «Ходите тихо, говорите тихо». Тем более что это название не потеряло актуальности и сейчас. Спросите у жителей России — надо ли ходить и говорить тихо? Посмотрим, что вам ответят. Особенно те, что живут в провинции.

Писатель Евгений Попов* по этому поводу заметил: «В провинции тоже люди разные живут. И отвечают по-разному, я спрашивал, в основном ПРОСТЫЕ ЛЮДИ отвечают — да не пошли бы они все, и ты в том числе, на х... А непростые, в виде бандитов и капиталистов-коммуняк, и ходят, и говорят довольно громко».

Тогда, двадцать лет назад книга завершалась «речью» автора по случаю трехлетней годовщины его «подполья». Как вы помните, в советских детективах и фильмах все кончалось поимкой преступника, а что происходит с этим преступником дальше — знали только зеки и менты. Я стал зеком и видал много ментов. Ничего особенно нового я не сообщу читателям родной страны, большая часть взросло-

го населения которой хоть разок да побывала «у хозяина». Вся система давиловки отработана за много десятилетий и, кажется, работает до сих пор без всяких изменений. Все давно описано, разоблачено, пригвождено, однако, насколько я знаю, продолжает исправно функционировать.

И все же, надеюсь, вам будет любопытно выслушать еще один «голос из хора», бесчисленного хора бывших советских граждан — и «простых», и «начальников». Всех, кто дожил до «перестройки» или, опять же, совсем наоборот...

*Я посвящаю эту вещь всем моим знакомым,
кто помнит меня и помогает обороняться
от нечистой силы.*

В. Сысоев

Часть первая

Ты только посмотри, Господи, сюда: какое-то чудище, что до сих пор ни во что не верило, вдруг обращается к Тебе. Мелкий, уклеечный улов Тебе достался сегодня. Эгоист, который и страданий-то почти не познал, к Тебе сейчас обращается. Из дыры в пункте И. мы идем в пункт Н. Ко мне приехал человек — а что у меня мог он искать? Нет в моей норе ни книг, ни записей, ни девочек: он приехал просто поговорить. Ты знаешь, я не пью, но вот сегодня решительно взял я в продмаге «Старку» — это наиболее неблеванное из ассортимента. Мы выпили, и я его провожаю. Довел его до пункта Н. и оставил, как он просил, а сам иду назад, в свое гнездо, где мне еще предстоит жить. И на обратном пути — а что это за путь, Господи, смешно просто — 5—6 километров — я нашел Тебя.

Уже ночь, и все в этой полосе покрылось пологом. Луны нет, но полуокружье земное на сером небесном фоне видно отчетливо. Как Она говорила — Земля маленькая. Вот я взглянул вверх — Медведица чуть подвинулась, и дорога крутится, в черной траве пропадая, а в голове шумит. Но ориентиром мне было чутье — как до норки дойти. И слева от меня лес, справа кусты и вдали — лес. Я где-то лесом пошел, только сучки и мешали. Смешно подумать, что

кто-то ночью леса боится. А если атавизм вдруг заговорит, я его другим «изьмом» зажимаю: чего же леса ночью бояться, когда днем и тихари могут засечь, и бабушки, телевиками и воки-токами (УКВ-рация) вооруженные. Лес-то ночью самый друг — ласковый и черный. И так, раза два только в черную лужу оступившись, я до дыры своей дошел. Да не обозлился за название для сей местности; если разобраться, то и не дыра вовсе, а место для возвышения, место для обсервации и для всяческого овеществления и установки личности. А теперь я скажу Тебе все, как есть. Я сегодня говорил с человеком и понял, что я счастлив. И вот почему. Ко мне человек приезжал — хороший, но он одинок. А я — нет. Я сейчас осознал только, что я не один, а это счастье. Много ли было тех, что шли не одни и которых понимали? Потом — понимали, и после смерти — возвеличивали, и в камне высекали. И были они тогда — уважаемы. Но скажи мне, при жизни многие ли могли быть счастливы, зная, что они не одни?

Ведь большинство — в одиночестве — и мнутятся, и автоматы берут в руки, или что другое делают — чтоб свою личность удовлетворительно выставить перед кем-то. А я сейчас не один, и это счастье.

И пусть мне завидуют хорошей завистью и без злобы. Ни у кого я не отнимал, не подличал на сей раз — чтобы не одному быть. Через гадость и детсадовские кровати с воспитательницами на них прошел и вот теперь ценю. Простится ли мне то, что я делал? Не знаю, но в силу своей слабости и эгоизма сейчас говорю: смотри, какой я стал! Я стал лучше, добрее — благословенно зло, через которое я к этому пришел! Я получил сейчас возможность мерить своею мерою — что хорошо, а что нет. Ты мне простишь, я как слабый прошу и слышу — Ты не откажешь мне. Все к Тебе через разное приходят. А мне совсем немного надо было. Ну подумаешь, полтора года дома не был, год сына не видел — мне этого достаточно оказалось, чтобы я вдруг многое понял ночью сентябрьской.

— А что сын? — сказала мне как-то Аида. — У меня сын — ему четырнадцать лет — я его редко вижу — отец его, мой бывший муж, не позволяет встречаться. Когда я сына вижу, я чувствую, что он мне теперь чужой человек. Какие-то пионерские сборы, какие-то свои проблемы. Советский ребенок.

У меня сын, как все дети, и, конечно, его движение поступательное вперед зависит от воспитательного ража и взглядов его матери, с которой мы теперь совсем разные люди. Но пусть он будет честным в своем поступательно-стремительном развитии в новом году этой малоурожайной пятилетки. Пожалуйста, огради его от матерных слов детсадовских детей, что играют в понедельник в саду, чокаясь рюмками. Пусть он и часы разбирает, и фломастеры — но, пожалуйста, сделай так, чтобы им руководил инстинкт любопытства, а не садизма. А ведь был случай, когда ему было четыре года. Вдруг подошел он к коляске у магазина, нашел окурок и сунул его в рот младенцу, беспомощному, на четырех колесах. И главное, я пытался дознаться у него, зачем сделал это — так и не сказал. Упрямый, весь в меня. Молчит, и все тут. Сделай, пожалуйста, чтобы упрямство вывернулось не внутри него, чтобы упрямством своим он в дальнейшем смог выправить кривую, что не туда вывести может. Дай разум и отцу его — мне то есть, чтобы знал он, где прямая и серая, а где кривая, да белая. Сделай глаз мой адаптированным, чтобы всегда серое от черного отличал, как сегодня это было. Вот эта просьба и есть на сегодня. Я прошу немного — да ведь и смешно, чего же вообще просить — вроде бы все в моих руках — а вот пишу. А раз на бумагу ложится, раз пришло, значит, и нужно. И 33 буквы русского алфавита дают мне возможность сейчас высказать Тебе то, что копилось.

Комментарии 20 лет спустя

В деревню Васюково, где я скрывался три года, приезжал мой знакомый Вадик Вильдштейн. Мы с ним неплохо выпили, и в полной темноте я довел его по бездорожью до шоссе, по которому ходили автобусы на Москву.

Он давным-давно уехал в Америку, живет в Нью-Йорке, зарабатывает на жизнь изготовлением наружной рекламы и пишет стихи, конечно, на русском языке.

В чем смысл этого комментария, спросят меня. В том, что каждый человек, приезжавший тогда ко мне, совершал своего рода ПОСТУПОК. Надо было найти в себе мужество, чтобы посещать таких подозрительных типов, которые, видите ли, боролись, а потом скрывались от советской власти.

Через три года не очень-то много народа пришло к залу суда Брежневского района, где меня судили. Сейчас с трудом можно понять — что значит «бороться» с советской властью? Поджигать конюшни и отравлять колодцы? Да нет... Рисование картинок — это тоже, оказывается, борьба. Вместе с самиздатом, песнями Галича, антисоветскими анекдотами. 5-е (идеологическое) управление КГБ и было создано для пресечения подобной «борьбы». Когда советская власть кончилась, было объявлено, что 5-е управление больше не существует. (*Примеч. В. С.*)

ПОДСТАВЬТЕ ТО, ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ

Я помню отца впервые — неотчетливо. Предвоенное лето. Мне три года. Смутно, через туман просвечивает: иду по песочку Рижского взморья, вода по щиколотку, рядом кто-то родной, надежный. Я долго иду, и вода не прибывает. Потом другая сцена: молочная. Совершенно чужая, враж-

дебная, стерильная молочная. Сливки. Латышский мальчик (пластырь на щеке крест-накрест) аккуратно пьет из стакана сливки.

Отец мой работал на радио, входил в Латвию с войсками, что освобождали ее от ульманисовского ига. И потом: мать бежит со мной, а сверху что-то гудит, летит. Это война. Рижане тогда сразу же вдруг перестали понимать по-русски. Дворник дома, где мы жили, с торжеством в нерусском взгляде провожал самолеты с крестами. Уехали мы в последнем поезде. Помогла нашей семье Любовь Орлова — отец был уже на фронте, и только известной киноактрисе удалось добыть для нас местечко в последнем поезде, увозящем жен и детей ответственных работников. Потом эвакуация, Свердловск. Мгла, пурга. С бабушкой идем в магазин. Карточки у нее в варежке. Надо выстоять очередь. Впрочем, теперь-то я понимаю, что и тогда не испытал всего: лучшее было для меня, да и жили мы в Доме правительства. И еще: как-то бабушка зашла в дом Ипатьевых, где был расстрелян Николай II с семьей.

— Боже, если бы кто знал, где будет конец династии, — вздохнула бабушка.

Я пришел домой и высказался:

— Мама, а я знаю, где был конец тети Насти.

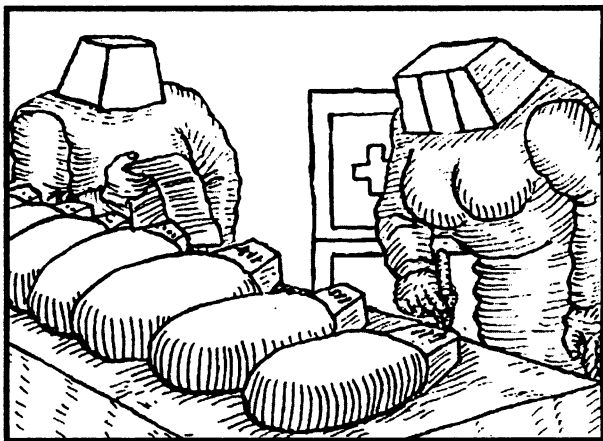
Если бы теперь подставить под имя Насти то, что вам нравится, скажите, был ли я так уж далек от истины?

Комментарии 20 лет спустя

Мать, Екатерина Дмитриевна, урожденная Лукина, рассказывала, что в младенчестве я был очень неспокоен, постоянно крутился, орал и не давал спать. Засыпал только в одном положении — когда родители брали на руки и ходили по комнате. Однажды меня положили на тахту, а рядом, на полу, стояла большая бронзовая лампа на треножнике.

Мать вышла на кухню, а когда вернулась, увидела, что я лежу на полу тихо и неподвижно. Она думала, что я ударился головой о бронзовую лапу треножника, но я, оказывается, заснул в этой позиции.

Одно время, перед войной, у меня была нянька Оксана. Она дала мне поиграть какие-то коробочки и ушла. Вернулась с работы мать и увидела, что я сижу малиновый, в малиновой постели и улыбаюсь. Нянька Оксана дала мне поиграть коробочку с красным стрептоцидом. Когда я стал ходить, у меня появился интерес ко всякому инструменту. Хватал то клещи, то линейку, то пилу. Папа спал на диване, а я подошел к нему и тюкнул молотком по голове. Ну, просто какой-то Павлик Морозов!



* * *

Вот, интересно, участвовал ли отец во вскрытии святых мощей? Он одно время работал в журнале «Безбожник». Руководил всей этой бесовщиной Емельян Ярославский* — старая партийная сволочь, которой так и не

воздалось, кажется, по заслугам за все его «разоблачения поповского мракобесия» и прочие хорошие дела.

Отец вполне мог участвовать в подобной акции в силу молодости, веселого комсомольско-большевистского задора и желания работать неистово на родную власть. Удивительно: его, казалось, должна была в подобном случае настигнуть кара. Но не было, не было! Перед войной входил в «освобожденную» Латвию: в первые дни войны его в поселке под Москвой задержали, как шпиона, из-за кожаной куртки, которую он привез из Латвии, — обошлось. С начала войны был на фронте спецкором — не было ни единого ранения! Был под бомбежкой — не задело, был в Румынии — опять обошлось. Мать его боготворила, он был любим друзьями и всеми, с кем работал на радио, в ТАСС, «Труде». Его любили и после смерти, не забывали мать, обходя, правда, меня стороной, поскольку чувствовали что-то не то...

* * *

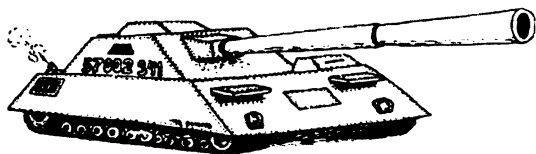
В Свердловске мы жили в квартире с Джимкой. Это Джимми Паттерсон* — тот самый негритенок, которого из рук в руки передают простые советские люди в фильме Александра «Цирк». Его родители приехали перед войной в Россию, поскольку его папа был коммунистом и, вдобавок, негром. В свердловской жизни Джимка был сущий дьявол. Он ни секунды не сидел спокойно. Однажды украл у нас пачку какао, спрятался на чердаке и ел его горстями. Не помню, о чем мы говорили с ним, и говорили ли вообще. Любил поймать мою двоюродную сестру и привязать ее за ногу к стулу.

После войны он поступил в Нахимовское училище, кончил его и стал офицером Военно-Морского Флота СССР.

* * *

Кажется, в 1944 году мы вернулись в Москву. По крайней мере, совершенно ясно вижу: мы с бабушкой стоим на Садовой, у Лихова переулка, а мимо нас идет огромная бесконечная шаркающая масса пленных немцев. Люди стояли молча. Не было ни криков, ни угроз, ни проклятий. Помню, что какая-то женщина купила два стакана газировки и побежала к толпе пленных. За колонной шли поливальные машины.

Это было тяжелое время, даже я это понимал. Какой-то морской летчик захаживал к нашей одинокой соседке тете Зине на Большом Каретном. Я тоже к ней захаживал, без стука и разрешения. Вошел и увидел, что она сидит с летчиком за столом. Видимо, отмечала его приход. Я увидел на столе два огромных гусиных яйца. Я не спускал с них глаз. Яйца были вареные, и летчик подарил их мне. Я съел их тут же, не отходя от стола.



* * *

Муку сразу после войны давали по карточкам. Чтобы получить больше муки, в очередь брали с собой всех живущих, в том числе и детей, поскольку детям карточки тоже полагались. В школе знали, что дети не приходят в школу потому, что стоят с родителями за мукой, и не ругали их.

Дома все соседи начинали печь пироги и пирожки. Тесто замешивалось с вечера, а утром в воскресенье начиналась работа на кухне. Пирожки пеклись, понятное дело, в духовке, а пироги — в кастрюле «чудо» с большим отвер-

стием в середине. Половину воскресенья я проводил на кухне, пробуя пирожки у разных соседей.

ОКНО В ЕВРОПУ

Мой отец, Вячеслав Михайлович Сысоев, был настоящий советский человек. В те годы, когда меня не было, он пришел из деревни в Москву. Шел НЭП. Отец — видимо, из него выпирало, как и из сына после, — начал писать. В силу своего крестьянского происхождения он быстро пошел в гору. В период массовой коллективизации он работал в крестьянском сатирическом журнале «Лапоть», писал для «Крокодила» и для других сатирических журналов. Почему-то тогда их было много. Это сейчас-то остался один «Крокодил» — вилы на всю русскую часть России. Насколько я знаю со слов матери, отец никогда не отходил от линии партии, от сиюминутной линии — я хотел сказать. Как говорят современные циники, он колебался вместе с линией партии. Может быть, это и спасло его от гибели. Впрочем, не исключаю, что были и другие причины.

Насколько я мог заметить, отец всегда был в личной жизни честен и мягок, даже слабохарактерен. В период великих чисток он работал на Всесоюзном радио. Его влекла эта работа, он отдавал себя ей целиком. Среди корреспондентов радио он был очень известен. Он первым спускался на черноморское дно в водолазном костюме и с микрофоном — вел репортаж. Первый вел радиопередачу с Казбека. Во время парадов на Красной площади, когда на Мавзолее попеременно стояли рядом с Отцом Народов Ягода, Ежов, Берия, мой отец вел репортажи — вместе с несколькими радиожурналистами. Во время хрущевской оттепели он как-то признался мне, что каждый репортаж стоил ему очень дорого: около репортеров стояло по славному ра-

ботнику Наркомата внутренних дел. Его знакомого взяли однажды прямо на площади: он эффектно закончил репортаж и махнул рукой радиотехнику: выключай, мол, микрофон. Тот замешкался. Думая, что связь выключена, знакомый отца сказал с облегчением: «Финита ля комедия!» Слова пошли в эфир, их слышала вся необъятная наша страна.

В другой раз, во время похорон Чкалова, что происходили в Доме союзов, необходимо было срочно вести репортаж. Почему-то заранее на радио не подготовили журналистов, и репортаж мог быть сорван. Стали искать Сысоева. Приехали к нам домой из радиокомитета на «эмке». Нет отца! Мать сказала, что он у знакомых, празднует день рождения. Кинулись туда. Вырвали отца из пьяной и веселой компании и привезли на похороны. Как потом говорили мне родители, они сами диву даются, почему отца не взяли в ту ночь: пьяным, веселым, оптимистичным голосом вещал он о трагической смерти Сталинского Сокола — В. Чкалова...

Было еще несколько моментов, когда жизнь нашей семьи и моя судьба могли повернуться...

Однажды, на Красной площади, в момент, когда из Спасских ворот Кремля выехал роскошный герой Буденный на белом роскошном коне, отец сказал в микрофон:

— На Красной площади появился товарищ Буденный! Вы слышите *цокот его копыт!*

Миновало и на этот раз. Шла война. Отец был военным корреспондентом. Потом, работая уже в «Труде», был официально аккредитован на Нюрнбергском процессе. В 1950 году его направили собкором «Труда» в Финляндию. Хочу напомнить, что Финляндия в ту пору совсем еще не была финляндизирована, как сейчас, и посылка туда корреспондента значила, что он очень, очень достойный человек, честный и несгибаемый. Вообще, сам факт, что родители мои поехали за границу, имел в те годы огромное значение.

Ведь любое общение с иностранцами (пусть и болгарами, и монголами) было крайне опасно, а уж безумцы, которые где-то и как-то осмеливались сами, без ведома славных органов, познакомиться с не нашими гражданами, вполне могли считать себя самоубийцами. Одним словом, и в этом плане наша семья была вполне благополучна: папа и мама жили в Финляндии, а сын их с бабушкой — в Москве. Жизнь в Финляндии, видимо, была лучше той, что жили наши граждане. Достаточно сказать, что вещей, привезенных оттуда, нашей семье хватило на несколько лет. Отец очень не любил возить оттуда какие-то вещи — но что делать? Требовали родственники, да и сынок подрастал. Я помню, что каждый раз, после очередного приезда, отец говорил: вот, я привез два чемодана — в одном подарки для друзей, да и из второго часть надо кому-то передать. Когда я открывал финский чемодан, пахнувший не по-нашему, я чувствовал, что есть еще кое-что на свете, кроме той серой и постылой жизни, которой жил я и окружающие люди. Мне было тогда лет 13. Я не понимал еще до конца, что преклонение перед всем иностранным — это страшный грех. Да как же я мог быть спокойным, открывая это окно в Северную Европу? Да были ли спокойны и другие, кому назначались подарки из таинственной Суоми? Как я мог быть спокойным, когда заранее знал, что в этом чемодане лежит то, что будоражит мое воображение? Можно понять, что я в тринадцать лет никак еще не мог быть «стилягой», борьба с которыми уже началась. Я видел вещи, а раскрывалось мне другое — раскрывался мне мир.

Вот я открываю это загадочное окно: на меня пахнул чужой, роскошный, небывалый, ошеломительно визжащий мир: весь верхний слой — это американские сигареты «Честерфильд»! Они запечатаны глянцевитой пленкой, и через нее рвется наружу медовый (или нет?) дух! Надо вспомнить, какие папиросы продавались тогда в киосках столицы, чтобы понять это! Сталинские Соколы курили какую-то там «Герцеговину Флор», остальные граждане —

«Беломор», названный так в честь славного Беломоро-Балтийского канала им. тов. Сталина. И вдруг «Честерфильд»! У меня не было позывов к курению, но я украл одну пачку; вытащил сигарету и долго нюхал ее, наслаждаясь. Мне виделись почему-то пальмы и пирамиды, а совсем не обездоленная трумэновская Америка... За слоем «Честерфильда» шли маленькие ярчайшие пачки, напечатанные возможно более крикливыми цветами. Я долго не мог понять, что это. Спросить я не решался, ведь я лазил в чемодан тайком, а родители не очень-то хотели, чтобы я знал о содержимом. Однажды только, после чтения «Крокодила», где было написано по-русски — «чуинггам», я понял, что это было — жвачка! Весь второй ряд — жвачка! Но тогда я был в неведении.

Позднее, в следующий завоз, поняв, что эта ярчайшая мелкая дрянь и есть жвачка, я украл несколько штук и тайно сжевал все. Но поскольку жвачка и пресловутая кока-кола, вкупе с войной в Корее, Чан Кайши, кровавым палачом Тито, маккартизмом и безродным космополитизмом, были приравнены к семи смертным грехам, удовольствия от жевания я не получал. Я искренне опасался, что эта жвачка может как-то повредить мне. Как точно может повредить — я не знал, но боялся... Я сгребал эту заокеанскую отраву в сторону и видел какие-то необычно яркие и не из такой материи, как у нас, тряпки. Ну, тряпки меня не интересовали. Не глядя на них, шел дальше. Что это? Лежат какие-то коробочки, какие-то штучки ершистые, из чего-то сделанные, чего у нас нет... А тут что? Пузырек, там что-то желтое, с пеной. Прошло лет десять после этого, прежде чем я понял. Все эти штучки, но уже пустые, одни их оболочки, долго валялись у нас, и, став более взрослым, я установил: это были тюбики гуталина, баночки для гуталина с какой-то штуковиной сбоку, для облегчения открывания. Ершистые штуки неизвестно из чего оказались обыкновенными полистироловыми щеточками для мытья головы, а жидкость в бутылке — французским шампунем. Ког-

да я однажды намылил голову этим шампунем, сидя в облупленной ванне нашей коммунальной квартиры, я почувствовал невыносимое, нечеловеческое блаженство. Я весь был покрыт пеной из этого пузырька, пена пучилась, невозможный, космополитический запах лез в коридор. Так впервые я узнал, что есть не только то мыло, что всегда я употреблял. Оказалось, что мыло должно мылиться и давать пену и даже запах. Может быть, продукция ТЭЖЭ (косметика) тех лет принадлежала ведомству министра внутренних дел Лаврентия Павловича Берии? Может, мыло делали из этих гнусных безродных космополитов? А дальше... Дальше шли ботинки. Я понял, что это — для меня. Было решено в предыдущий приезд родителей, что мне необходимы ботинки. И вот я держу их в руках. Малиновая невиданная кожа. Разве мог я, обычный московский заморыш, предполагать, что в мире, кроме черной и темно-коричневой, может быть еще и малиновая кожа? А подошва? Что это? Нет, не может быть... Это настоящий каучук! Так вот откуда этот запах! Это пахнет настоящий белый каучук! А снизу, на подошве... Что это... USA. Да может ли это быть? Вот только недавно я прочел в «Крокодиле», как какой-то наглый янки в «маршаллизованной» Европе задирает перед каким-то лакеем-президентом свои ноги в башмаках на белом каучуке! И сейчас — о, чудо — у меня точно такая же обувь?! Это событие меня выбило из колеи, я не мог снова углубляться в содержимое сказочного чемодана. Где-то отец оставил какую-то финскую газету. Вот она... Газета пахнет не по-русски, фотографии четкие, шрифт жирный, все броско, ярко... Читать, конечно, невозможно, но картинки... Политику пропустим, все равно не понять. По фотографиям не поймешь, где кто. Трумэна и Чан Кайши только по карикатурам Кукрыниксов* узнаем. А дальше... Реклама кино. Вот это да! Пистолеты, машины, перекошенные лица. Женщины! Сами худенькие, а груди как выпирают! Маленькие картинки, а все видно. В чулочках, в комбинациях — нет, это уже полный разврат! Отец не идет

ли? Не дай Бог — увидит. А дальше... Ну, этого не понять. Люди что-то делают у каких-то красивых машин. А вот господин глядит — гладкий, ухоженный, сладко улыбающийся. Видно, капиталист. Опять реклама. Чего рекламируют? Дома. Значит, можно купить. Ну, нам это не подходит. Какие-то приборы... Какие-то полеты куда-то. Это все там, а здесь, у нас, это надо отбросить намертво, навсегда. У них — и у нас! И тут же, как сигнал, вдруг в голове слова отца и голос матери: они вторят друг другу, и все это для меня: «Мы думаем, что хоть на лето ты мог бы поехать с нами, пожить на посольской даче, но лучше этого не делать... Почему не делать? Ну, как бы тебе это объяснить. Не та обстановка. Финны очень злые. Нас не любят. Ходят с ножами. Как напьются, лучше не подходи, зарежут. Да и случаи бывали, на наших нападали. Да и вообще — их окружение...»

И вот теперь я воочию вижу в газете этот чужой для меня мир сытых, здоровых людей, рекламу, предлагающую что-то изумительно оригинальное, новое, необходимое! А где же финны с ножами? Ага, понятно! Они скрывают в газетах ненависть к нам, открыто не показывают — боятся нас после войны?

Впрочем, надо закончить досмотр чемодана. Ящик. Ну, это я знаю. Такой же фанерный квадратный ящичек был и в прошлый раз. И надпись та же: «Фазер». Это швейцарский шоколад. Маленькие такие штучки, по размеру как леденцы — необычайно вкусные. Это очень отличается от того, что я ем, когда к нам приходят гости или когда мы ходим в гости к Генеральше. Так я называю жену одного нашего знакомого, с которым отец познакомился на войне. Он полковник сейчас, но жена у него — генеральша. Спесива до необычайности, в доме пуфики и фарфор — вывезены из Германии, слоники, приемник «Телефункен», пианино. Где-то усвоила хорошие манеры: с прислугой и дворниками если и говорит, то только брезгливо морщась. С благоговением, конечно, поднимается из-за ломающего-

ся от изобилия стола и выпивает стоя (мизинчик в сторону) за самого товарища Сталина...

Итак, что дальше? Еще шоколад. Еще. А тут? Завернутая в хрустящую бумажку коробка. Разворачиваю. Судя по весу и громуханию, в ней шоколад. Но это плевать! Важно, что на коробке. А во всю коробку — фото какой-то актрисы. Не знаю, кто это. Потом появилось в России для таких название — секс-бомба. Значит, так: чернявая головка, блядские влекущие глаза, полураскрытый рот и необычайно пышное раздвоение спереди. От одного края коробки до другого — груди. Под желтой кофтой. Но кофта — чушь. Она не может скрыть вырывающегося наружу неестественных размеров естества.

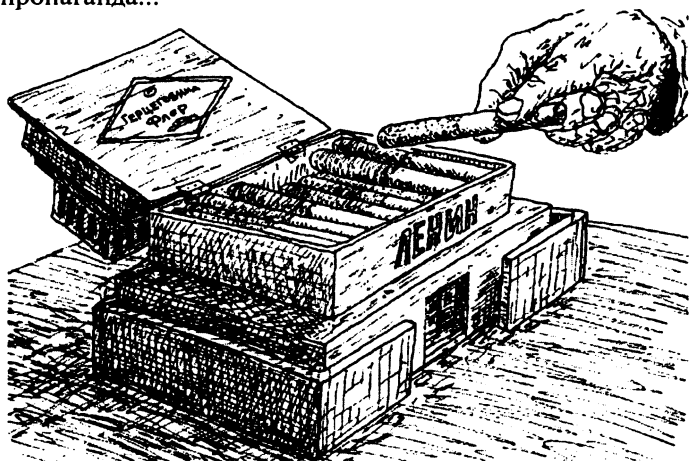
Нет, никогда мне не видеть никакой Финляндии! Если там шоколад в таких коробках продают, то как же меня туда пустят? И с этой мыслью я, юный пионер, готовый всегда к борьбе за дело Сталина, согреваемый солнцем Сталинской Конституции (оно, солнце, проникает под вечер в окно нашей длинной, как кишка, комнаты), начинаю запихивать обратно барахло. Долго потом я хожу, учусь, играю и рисую под впечатлением этого чемодана.

Ботинки радости не доставляют. В них удобно. Но и я, несмышлениш, понимаю, что мое убогое пальцецо моспошива и чудовищно бесцветные брюки, пошитые какой-нибудь ударницей, ставшей на сталинскую вахту, никак не вяжутся с этими новыми, заокеанскими, крокодилскими подошвами. Да и в школе покоя нет. Сначала вся школа ходила на меня смотреть. А после, насмотревшись, стала злиться: зачем надел то, чего у нас нет? Выпендриваешься? Стиляга, что ли? В уборной несколько известных хулиганов (я знал, что они ходят с ножами) били по моим малиновым красавцам своими черными каблуками, а после говорили мне:

— А ну, падло, вали отсюда. И больше не заходи!

Снял я свои ботинки. Уж больно плохо, когда ты чувствуешь себя парией. Да и общее отношение ко всему ино-

странному было тогда совсем не такое, как сейчас. Лаврентий Павлович, сталинский ЦК и лично товарищ Сталин успешно привили народу мысль, что все иностранцы — шпионы, а все наши граждане, любящие иностранное и иностранцев и не посаженные пока за это, — пособники подлых провокаторов и поджигателей мировой войны. Полностью разделяли это мнение и мои родители. Потому-то и не поехал я в Финляндию в нежном возрасте, потому-то и не смогла меня обмануть враждебная и липучая пропаганда...



Комментарии 20 лет спустя

В 1949 году я попал в Боткинскую больницу, где мне сделали тяжелую операцию на ухо. Я пролежал во взрослом отделении около двух месяцев.

Помню, что половина лежащих имела трубки в горле, другие ходили с перевязанными ушами.

Нас было несколько подростков. Мы ездили по коридору в креслах-каталках и сталкивались, таранили друг друга. С Украины привезли мальчика, у которого вся голова, руки и шея были покрыты бинтами. Он нашел в лесу гранату и стал ее разбирать.

Я много читал, поскольку мать или бабушка приезжали каждый день.

Утром приходила сестра делать уколы. Мне делали уколы пенициллина, который невозможно было достать *просто так*. Потом приходила нянечка Фрося и, высоко задрав халат и наклонившись, принималась мыть кафельный пол. Вся палата с интересом наблюдала за процессом. К детям все относились хорошо, любили и жалели. Врачи нас тоже любили, говорили ласково, шутили.

Началась Корейская война, и больные, вырезав из «Правды» карту Кореи, втыкали каждый день булавки в города, освобожденные армией КНДР. Никому и в голову не могло прийти, что товарищ Ким Ир Сен в чем-то не прав.

Пища в больнице была скудная, и, конечно, те, кто имел возможность, ели то, что им приносили из дома. Хуже было приезжим. С ними делились продуктами, оставляли кашу. Я не помню, чтобы кто-то из больных напился где-то за территорией или принес спиртное в больницу. Впрочем, все мои мысли вертелись вокруг моей болезни, дома, бабушки и родителей.

* * *

О товарище Сталине можно писать бесконечно долго, но я так часто и много его рисовал, что иногда мне кажется, будто рисовал сам себя... В детстве все окружающие внушали мне, что Сталин это наша святыня. Естественно, родители таких высоких слов не говорили, но всячески давали понять, что даже имя это не надо часто произносить вслух. Бабушка моя по материнской линии, Маргарита Христофоровна, была потомственной дворянкой, как, кстати, и дед. Про деда я почти ничего не помню. Он был до революции военным инженером, полковником, в начале Первой мировой войны прокладывал железную дорогу к Мурманску. Бабушка говорила, что дед был очень дели-

катен и, когда его денщик спал, ходил на цыпочках, чтобы не разбудить. После революции дед перешел к большевикам, был военспецом. Судя по тому, что умер перед войной своей смертью, наверное, любил товарища Сталина. Бабушка до конца дней своих гордилась, что она родилась в один год с Иосифом Виссарионовичем. Я, конечно, когда подрос, издевался и изводил ее, но она истово, как настоящая беспартийная большевичка, защищала вождя от нападков.

В несознательном возрасте вокруг меня постоянно появлялись эти усы, китель, отеческая улыбка. Шесть магических букв были всюду: в газетах, календарях, журналах, в детской поликлинике, в школе, дома, в музеях, в бане. Этого имени было так много, что я из глупого нигилизма иногда выговаривал внутри самого себя: Сталин дурак! С-Т-А-Л-И-Н-Д-У-Р-А-К — после чего сам себя пугался и гнал вон крамолу.

* * *

С молодых лет мое изображение висело в Музее Революции. Правда, только со спины. Дело в том, что у нас в квартире жил Моне Ройтер*, настоящий художник. Я впервые увидел, как рисуют красками, зайдя в комнату к Моне, который, естественно, жил не один. Вся их семья занимала две комнаты, там проживало человек пять. Как можно было заниматься живописью в таких условиях — не представляю. Но Моне был главным добытчиком. Его портреты товарища Сталина украшали фойе разных кинотеатров. Рисовал он по клеточкам, детей не любил, поймав меня в коридоре, делал «реббе» — то есть движением большого пальца по моему затылку закручивал волосы и сильно дергал. Но я все равно ходил, смотрел с замиранием сердца, как на сером холсте проявляются черты родного лица. У Мони был брат Липа*, тоже художник, который иногда заходил в нашу квартиру. Тогда в Москве бытовала

присказка — если не Мونها — так Липа, если не Липа — то Мونها.

Однажды Мونها позвал меня и сказал, что будет меня рисовать. Я страшно застенялся и сказал, что не хочу.

— Да ты спиной повернись, — сказал он. — И не шевелись!

Мونها позвал меня, когда картина была закончена. Эффектным жестом сорвал тряпку с шедевра на мольберте, объяснив, что я — это Свердлов. Я стоял спиной к зрителям, наклонившись над столом в окружении известных большевиков с В. И. Лениным во главе. Что-то они там обсуждали — то ли взятие Зимнего, то ли дележ партийного общака. Мونها сделал картину по заказу Музея Революции. Многие годы она висела в зале, посвященном предреволюционным событиям, и учила молодежь правильно понимать события нашей истории. Надеюсь, наука не прошла даром. И выросшая молодежь, и я, все мы любим наше революционное прошлое, гордимся героями, которых можем наблюдать хотя бы со спины...

Там же, в революционных подвалах, лет через десять, я обнаружил кое-что интереснее Свердлова. Меня туда провёл знакомый, работавший электриком. Во-первых, я с удовольствием ознакомился еще раз с подарками товарищу Сталину, часть которых после хрущевских разоблачений была спрятана в подвалы. Я вновь увидел бисерный кисет, который ногами выткала безрукая женщина, инвалид войны. Можно было попробовать настоящую сигару, коробка с которыми стояла на ажурном столике. Не помню, чьи были сигары. На Кубе в год Подарков была диктатура, и вообще всюду была диктатура, кроме СССР и соцлагеря. Да я, собственно, и не курил. Многие подарки поражали богатством отделки и полным отсутствием вкуса. Например, гигантская, в рост человека, ваза с позолотой и кренделями, с овальным портретом Великого Вождя. Очень хотелось подойти и плюнуть внутрь, но было как-то неловко хулиганить без зрителей. Потом электрик

подвел меня к закрытой двери и, положив руку на выключатель, сказал: — Входи!

Я вошел в темное помещение. Зажегся свет, и в подвале возник сидящий в кресле Ленин. Владимир Ильич был сделан в натуральную величину и сидел в натуральном кресле. Он был в костюме, жилетке и галстук в горошек. Все было по-настоящему, раскрашено и тонировано «как в жизни». Никита Сергеевич тогда как раз общался с интеллигенцией, учил ее культуре, музыке, объяснял художникам, что неправильно рисуют только пидарасы. Но такой сугубо реалистический образ Ильича отпугивал, видимо, самых верных и идеологически правильных партайгеноссе.

Это чудо могло бы украсить музей восковых фигур, но такого заведения в стране не было. Скажите, кого там кроме Ленина можно было показывать? Ведь каждый пришедший монстр пожирал и обгаживал предыдущего, всю его стаю. Выставлять было некого, разве что Петра Первого. Но идеологически это было бы неправильно.

А Лениных я видел много! Помимо набивших оскоми-ну профилей с бородкой, я видел жутковатые зеленые фигуры вождя, вылепленные в глине в Художественном комбинате имени Вучетича*. В Ногинске на постаменте видел карликового черного Ленина, похожего на пигмея.

Эпохальный апогей наступил в годовщину столетия. Один иностранец показал мне раритетную коробку зубочисток, выпущенных где-то в провинции с надписью «1870 — 1970». У меня лично имеется этикетка от консервов «Осьминог в рафинированном масле». Сбоку надпись: «Юбилейные».

* * *

Когда родители уехали в Финляндию, они определили меня в специальный интернат. Это было привилегированное заведение. Там были детки тех сограждан, которые работали в сов. посольствах и миссиях за рубежом. Были там

и дети испанских коммунистов, оставшихся в СССР. Где были их родители — не знаю. Всех вновь прибывших ожидала одна и та же процедура: ночью врывается толпа испанцев и с ревом набрасывалась на новичков. Впрочем, ничего страшного не происходило. Срывались тусы, и яйца мазались зубной пастой.

С Садово-Спасской, где был интернат, я каждый день ходил в школу, в Большой Каретный. В интернате, по вечерам, собиралось много народа, готовили уроки. Вместе занимались английским и немецким. Я был единственным, так уж повезло, кто учил французский.

Мне вскоре надоело это пребывание в большом коллективе, и я ушел к бабушке, на Страстной бульвар, бросив все свои вещи и документы.

В 186-й школе учительница Вера Александровна Дудовская ненавидела учеников. У нас в классе был ученик Сидорский — крупная особь, не желающая изучать французский язык. Дудовская, наш классный руководитель, выходила из себя, когда вызывала Сидорского. Он стоял и пытался что-то выдать на тарабарском наречии, но выходило вроде «*Же вупри ... Вопри...*». Вера Александровна хватала классный журнал и била им по голове Сидорского, выкрикивая: «*Не голова, а кочан капусты!*» Директрису Надежду Гавриловну боялись до смерти. Даже татары с Малюшенки и третьегодки из десятых классов не осмеливались курить в школьных уборных. Курили на улице, в закутках, оглядываясь. Учителя были издерганные и нищие.

Однажды во время урока мы услышали рев из соседнего класса. Весь класс топал ногами, лупил по партам, орал и свистел. Учительница сделала какому-то двоечнику замечание, а тот сказал ей:

— Проститутка!

— Проституткой может быть только твоя мать, — ответила она, и класс взорвался.

Я ЗАДУМАЛСЯ

Летом 1953 года родители повезли меня отдыхать в местечко Ирпень, под Киевом, к нашим родственникам. У меня почему-то стала проявляться тяга к радио. Однажды, когда мы приехали с отцом в Киев и гуляли по Крещатику, отстроенному заново роскошными зданиями с колоннами, лепниной и прочими излишествами, я упросил его зайти в радиомагазин. Там я приобрел свой первый радиоприемник.

В Ирпене я внимательно разглядел плоскую черную коробочку под названием «Комсомолец». Это был детекторный приемник. Меня восхитила простота конструкции: ящик с гнездами, 10-метровая антенна, натянутая меж деревьями, заземление — и все!

Никаких батарей или проводов к электророзетке! Часами сидел я с наушниками на голове, водил рычажком по кристаллу... Можно было поймать Киев. Из какой-то брошюры я узнал, что самый лучший прием ночью. И вот однажды, когда родители заснули, я включил «Комсомолец» и, надев наушники, пустился путешествовать по эфиру.

Сквозь треск и завывание я вдруг услышал очень четко и громко какие-то фразы по-русски. Это был явно не Киев. Русские дикторы киевского радио говорили мягко, певуче. Этот же голос был очень четок, резок, слишком правилен.

Я услышал вдруг:

— Дети колхозников и рабочих не могут ездить в пионерлагерь Артек, так как там отдыхают дети чиновников и сотрудников МГБ... Вы слушаете передачу «Голоса Америки».

Я подпрыгнул на постели, сорвал наушники, громко позвал:

— Мама! Папа!

Они тут же проснулись:

— Что случилось?

— Я только что поймал «Голос Америки»! Они сказали, что дети колхозников не могут ездить в Артек!

На следующее утро я пытался осмыслить то, что услышал. Вот, наконец, своими ушами услышал я «Голос Америки». Это чрезвычайно редкое событие. Все взрослые говорят, что уже несколько лет этот «Голос» и какую-то таинственную Би-би-си глушат по личному указанию самого товарища Сталина — и правильно делают!

До этого я читал в газетах и слышал от диктора Левитана* по радио, что, действительно, они там что-то врут на русском языке, яд выпускают, разбрасывают журналы «Америка», визжат и подвывают в эфире. Надо бы, думал я, услышать, как именно они врут и воют. И вдруг мечта воплотилась. Меня несколько смутило только, что голоса дикторов, которые я успел поймать, совсем не визгливые... Врут, конечно, неправда это о нашем солнечном Артеке, — но как врут! Как красиво они это говорят, как убедительно! А что, если... Нет! И хотя сам я никогда не был в Артеке, но вера в слова моих родителей, вера в то, что у нас — правда и в «Правде» настоящие, без обмана, портреты Самого Великого с гениальными изречениями о Счастье, Свободе и Борьбе За Мир, — все это убедило меня в мысли — конечно, они врут. Как это не могут дети в Артек поехать? Я сам видел снимки счастливых, загоревших до черноты, улыбающихся детей в белых панамках, в галстуках, с горнами и барабанами. Не рабочих и крестьян дети? А кого же еще? А что, есть у нас и какие-то другие дети?

Успокоенный мыслью о лживости «Голоса Америки», я хорошо отдыхал, ходил на речку Ирпень, где впервые в своей жизни вдруг наловил много малюсеньких бычков. И вдруг однажды, июньским утром 1953 года, я заметил, что родители чем-то встревожены. Отец держал свежую «Правду» (не знаю уж, как он ее получил). В это время в доме отдыха рядом с нами забубнил динамик. Отец тут же взял меня, и мы пошли в направлении радиоголоса. У

динамика собрались отдыхающие. Сочный, мужественный и тревожно-убедительный голос Левитана разносился вокруг. Мы узнали чудовищную вещь: оказывается, Лаврентий Берия, министр МВД, тот самый, что стоял всегда на Мавзолее рядом со Сталиным, а после стоял в день похорон Иосифа Виссарионовича рядом с Хрущевым и Маленковым, оказывается, этот Берия — враг народа! Отдыхающие все прибывали. К репродуктору неутомимо тянуло и местных.



... Матерый провокатор и двурушник, авантюрист и преступник, он, оказывается, был и английским шпионом, выдал этим англичанам 26 бакинских комиссаров!

Люди стояли потрясенные. Я чувствовал, что у меня внутри что-то сдвигается. К счастью, я не знал, что значит расти без расстрелянного отца, не знал, что такое лагеря ЧСИР (лагеря для членов семей изменников родины), но у меня что-то передвигалось в груди и билось учащенно мое честное пионерское сердце. Отец был бледный и потрясенный...

События 1953 года заставили меня задуматься, что есть что. Своими прямыми, как пионерская линейка, извилинами, своим не испорченным финскими излишествами сознанием я пытался себе внушить:

— Все хорошо! Видишь, вот есть плохие люди, и их разоблачили.

Но тут некий нехороший внутренний голос мне говорил:

— Да как же хорошо! Несколько месяцев прошло, как славные органы, возглавляемые лично Лаврентием Павловичем, разоблачили врачей-вредителей и убийц в белых халатах. Говорили, что все эти врачи — евреи и хотели отравить чуть ли не самого Великого Вождя Всех Народов. Так это теперь или не так? Лаврентий Павлович член правительства, депутат Верховного Совета, соратник товарища Сталина. Как это может быть, что все кругом проглядели? Да и как же сами органы МВД? Ведь в этом ведомстве работают наши славные чекисты-разведчики. Как же могут чекисты сейчас работать и разведывать в Америке, если их главный начальник Берия — английский шпион? Ведь англичане на поводу у американцев, а Берия уж обязательно сообщал англичанам о наших разведчиках...

Много подобных мыслей роилось в моей голове. Так и не построил я для себя стройную систему выводов, что помогла бы мне снова приобрести равновесие. А тут еще стали вспоминаться события трехмесячной давности...

МЕНЯ ЧУТЬ НЕ ЗАДАВИЛИ

Зиму и весну 1953 года я жил у тетки, родители находились на своем посту, во враждебной и разжиревшей Суоми. В самом начале марта все вокруг встревожились — было помещено сообщение о болезни товарища Сталина. Музыка по радио была какая-то, не сказать — мрачная, но довольно тихая, и даже суровая, сдержанная. Иногда диктор вдруг начинал спокойно зачитывать сообщение о болезни тов. Сталина. Впрочем, пульс и все остальное было в норме у Вождя Народов.

Рано утром, пятого марта, я проснулся от резкого толчка. Надо мной склонилась тетка. Ее плачущий голос и залитое слезами лицо заставили меня буквально скатиться с раскладушки, на которой я спал:

— Вставай, Сталин умер!

Я не помню точно, как прошло утро. В школу я, конечно, не пошел. Включенный на всю мощь репродуктор хрипло разносил рвущие душу рыдания траурных маршей. Прерывающийся голос Левитана (только он мог таким скорбным голосом сообщить о смерти, только он!) снова и снова повторял:

— Скончался... выдающийся... Иосиф... (и пауза) Виссарионович... (и пауза) Сталин.

И само слово это — Сталин, с придыханием в начале и роковым понижением на втором слоге — Ста-лин — запахло в душу навсегда. Да и как он мог сказать это по-другому? Ведь именно его, еврейского прыщавого юношу, неказистого, принятого на радио из-за своего необычайно убедительного, красивейшего тембра голоса, именно этого Левитана, как и многих других из низов, со дна, подняла волна сталинских пятилеток!

Этим голосом, то трагически размеренным, то с громовыми, победительными раскатами, паузами, придыханиями и ударениями на нужных словах, жила советская страна! В этом голосе воплощалась в народе вечная мечта — чувствовать, что ты кому-то нужен, что есть, есть тот, кто тебя ведет, есть тот, кто знает все, чего не знаешь ты, и кто знает о тебе все! Голос Левитана делал нам историю, голос Левитана внушал надежду. И в дни, когда рябой азиат бежал из Москвы, узнав, что друг Адольф обманул его (как фраера наколол!), голос Левитана вселял веру, что не все потеряно, не все! А уж когда переломилась война и пошла стальная лавина на Запад, и вовсе стал он, этот Голос Левитана, равняться в русских сердцах с отцом, что воевал или лежал, пробитый пулями и зарытый. И гром салютов, и названия захваченных городов, и фамилии пленных паулю-

сов, и перечисления трофеев, все это сплелось у народа в одно — голос Левитана — это Кремлевский Голос. Кавказский акцент Великого Вождя превращался в черных бумажных репродукторах в дивный и твердый голос Левитана. И вот тот, кто всегда сообщал нам о победах, а иногда просто в «Последних известиях» рассказывал о китайских народных добровольцах на Корейском полуострове, он сейчас терзал нас. Его голос проникал в меня до внутренностей, руки тряслись, сердце останавливалось и все холодело!

Умер Сталин... Весь день мысль была одна: как же дальше жить? Да и можно ли будет жить? Позже я узнал, что эта мысль не покидала и многих взрослых. Пишу многих, а подразумеваю тех, чьей судьбы не коснулись желтые клыки под прокуренными кавказскими усами. Уж, конечно, те, что гнили по лагерям или стояли в очередях с передачами, не сокрушались об этой утрате. Но обычные люди в этот день были полумертвы. Я говорю обычные и подразумеваю под этим тех, кто ничего не знал и всего боялся. Эти люди строили, пахали, жили в голоде, воевали и умирали, думая, что все это происходит с ними только потому, что есть Он, великий, родной, с ласковым прищуром. И вот его нет! Как же теперь жить? Да и кто же теперь прикрикнет, как бывало, и приголубит? Кто же (найдется ли?) сможет так ясно и убедительно доказать, что жить нам стало лучше, что жить стало веселее? Тот, кто всю войну не спал, дымил своей родной трубочкой, тот, кто дошел до Берлина, кто разгромил немца (а фюрер издох и сожжен своими), — тот, кто так успешно боролся за мир, не забывая ковать оружие против нагло-американских империалистов, он больше никогда, никогда не будет стоять на Мавзолее! Может ли такое быть?

На следующий день утром я пришел в школу. Пришибленные, заплаканные учителя отпустили всех. Вся Москва знала, что Он выставлен в Доме союзов, что туда нужно идти. Мы, вместе с приятелем, ринулись на похороны.

Весь центр бурлил. Серая масса съжившихся людей, в черных пальто и ушанках, серых платках, металась по улицам, пытаясь прорваться к Дому союзов. Было холодно, морозно. Всюду были выставлены милицейские цепи. На подступах к Дому союзов, особенно на Петровке, и у самой Пушкинской улицы милицию заменили солдаты. Военные грузовики стояли поперек улиц, перекрывали перекрестки, блокировали проходные дворы. Шныря меж зазевавшихся солдат, ныря меж колесами мощных ЗИСов, нам удалось пробраться на улицу Горького. Отсюда мы надеялись пробраться проходными дворами до Пушкинской улицы. Тут мы с приятелем потерялись, и дальше я шел один. Я оказался перед цепью конной милиции и солдат, что перегораживали улицу Горького около магазина «Грузия». (Напротив теперь находится гостиница «Минск».) Чудовищная толпа, медленно передвигаясь перед цепью конников, бурлила, водовороты возникали там и сям, вдруг вскрикивала истерично какая-то женщина, и снова слышен был только гул. Очень четко над черной массой возвышались фигуры в синих милицейских шинелях. Красивые лошадиные морды задирались над толпой, иногда милиционеры вдруг горячили коней, и те взвизывались над головами с ржанием и позвякиванием удил. Толпа не была спокойна. Если кто наблюдал за нею с верхних этажей домов, он мог бы заметить некоторую периодичность ее движения. Вот в середине толпы возникал вдруг бурун. Ширясь, бурун образовывал круги. Круги расходились из центра, увеличиваясь, и вот уже ближайšie к военно-милицейской цепи оказывались прижатыми к милицейским туловищам. Военные, схватившись локоть в локоть, с багровыми от напряжения лицами, изо всех сил выгибая вперед грудь, сдерживали натиск.

Вдруг раздавалась панически громкая команда, и стоящие за этой цепью солдаты начинали напирать сзади на своих товарищей, помогая им сдерживать толпу. Конные в синих шинелях снова поднимали коней на дыбы. Повер-

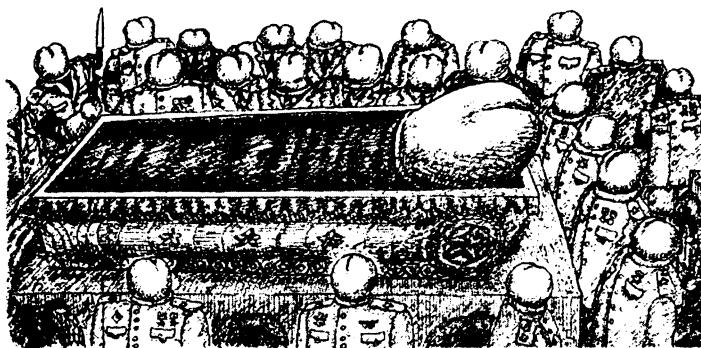
нувшись задом к толпе, красивые сытые звери взбрыкивали, поводя безумным красным глазом, прядая ушами и бросая хлопья пены с губ на черные пальто и шапки. Волна, исходящая от отступающей в страхе толпы, шла назад, к эпицентру, и дальше — в обратную от охранительной цепи сторону. И еще, шли волны — туда, обратно, туда... Люди в толпе были так поглощены своим желанием прорваться к Дому союзов, что не замечали, как волны эти буквально переносили их с места на место. Валялись под ногами галоши. Грязь и снег от сотен ног, переступавших по мостовой и тротуарам, не давали возможности передвигаться быстро. Крики женщин и детей (были и дети в толпе!) усиливались. Нервные гортанные команды только подогревали толпу. Лошадиные крупы и копыта, направленные на толпу, начинали вызывать ропот. Какое-то субчики с быстрым взглядом, в кепочках с разрезом, в сапогах и шелковых шарфиках, мелькали тут и там. Толпа колыхалась, буруны возникали все чаще. Вот раздался чей-то громкий крик, а вслед за ним — свист. Побежал тип с челкой, в сапогах. Потом-то я сообразил, что это и были блатари. Видно, все блатные Москвы были в те дни на улицах. Помню, мне бабушка потом рассказывала, что говорили, будто бы это тоже было вредительство, будто бы блатных настроили. Понятное дело, враги народа настроили! Те самые, которых блатари в лагерях за мясо не держали и проигрывали в «сику»...

Я сумел пробраться почти до оцепления. И тут же увидел: из отступившей толпы вдруг вырвался маленький, черный, вертлявый, наглый, в сапогах блатарь и метнулся к милицейской лошади. Неуловимое движение — и лошадь с оглушительным ржанием взвилась в воздух. Видно, подученный врагами народа блатной всадил в нее шило. Всадил и тут же растворился в толпе, растекся. И вдруг... толпа засмеялась! Это был истерический смех. Те, что стояли дальше и не видели происшедшего, молчали, но многие смеялись. Милиционер, красный от конфуза и злости,

повернулся с лошадьё вместе задом к толпе и пошел на нее, матерясь. Толпа отступила, но тут же, выдавливаемая на старое место водоворотами, снова приблизилась к злополучной паре. Раздался снова хохот, и тут же — разбойный свист.

Вдруг выскочил из толпы военный. Красные от слез глаза его смотрели на толпу неотрывно. Он поднял руки и закричал:

— Стой! Товарищи! Что вы делаете! В такой день! — и голос его прервался, он зарыдал. Мгновенно толпа замолчала. Видимо, в этот момент — неожиданное всегда расслабляет — мне и нескольким мальчишкам удалось нырнуть под лошадей и меж цепями прорваться вниз по улице Горького. Я очутился на Советской площади. Там цепей было больше. Стояли, кажется, и грузовики. Толпа была огромна. Постепенно ее приливами и отливами меня прижало к огромному дому напротив Моссовета, где теперь расположен сотый книжный магазин.



Когда толпа надвигалась на меня, я пытался как-то сжаться, выскользнуть. Потом вдруг волна сбегала, и я чувствовал, что меня тянет в водоворот куда-то к середине улицы. Здесь уже стоял сплошной крик. Кричали женщины. Кричали солдаты и милиционеры. Свистели блатные. И вот — я почувствовал это — толпа начала медленно да-

вить меня. Выброшенный чьей-то рукой, я оказался прижатым к витринному железному ограждению. Еще! И еще! Новая волна ударила об меня, и я почувствовал, что мои кости трещат. В буквальном смысле. Я нырнул и оказался между витриной и оградительной железкой. Это меня и спасло. Что было потом, я не помню. Как добрался до дому, не помню. На следующий день я снова попытался прорваться на похороны. Только решил не испытывать больше судьбу и не купаться больше в толпе. Проходными дворами, пробираясь мимо солдат и милиции, я почти дошел до Пушкинской улицы. Я видел все: видел оцепление, что стояло по всей улице, вплоть до Дома союзов, толпу черно-серых людей, что шли то медленно, то почти бегом, повинуюсь командам. Но я не мог оказаться на самой улице. Я смотрел на все это из проходного двора, отгороженный от толпы высокими, наглухо закрытыми воротами... То, что я увидел, сохранится в памяти на всю жизнь. Никогда больше не будет таких похорон. Я видел слезы людей, не знавших, что они жаждут увидеть своего палача. Я видел плачущих военных и растерянных милиционеров. Я видел истоптанные шапки и раздавленные галоши. Я видел блатных, что вышли поживиться, когда их пахан дал дуба. И все это, вместе взятое, так похожее и непохожее на то, что я читал перед этим в газетах и смотрел в кинохронике, потрясло меня.

Слезы и крики, и безумный смех, и снова слезы, и всеобщая растерянность — как не укладывалось это в обычные рамки. А у Петровских ворот по-прежнему беззаботно светилась красная реклама:

«ПЕЙТЕ СОВЕТСКОЕ ШАМΠΑНСКОЕ!»

А радио разносило по всему миру слова поэтов, писателей, прогрессивных деятелей Запада и Востока, Поля Робсона и Мао Цзэдуна, Степана Щипачева и Шолохова: «Сталин с нами! Сталин умер, но он в наших сердцах! Сталин будет всегда!» И все, кто избежал на практике познакомиться с великим сталинским правосудием, говорили себе: «Он с

нами! Мы с ним!» И все плакали, и умирали, и воскресали со словами: «Он вечно будет в наших сердцах!»

ГДЕ ТВОИ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ?

Все тянет меня к прошлому, тянет. Все притягиваю за уши к своим делам известных личностей. Вот все кажется, что Владимир Высоцкий обо мне поет:

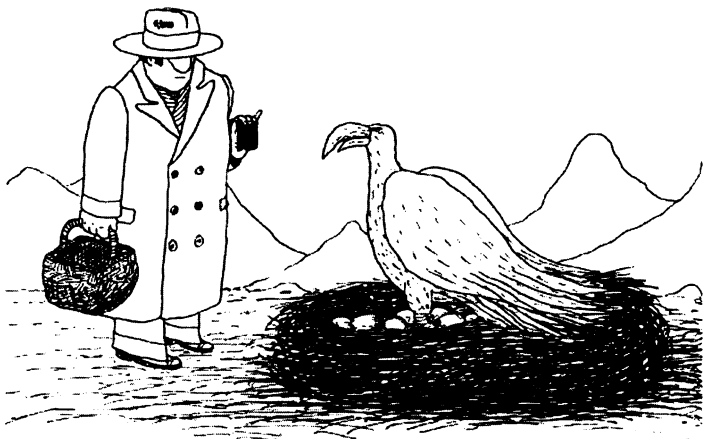
Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном!

Я ведь действительно родился и семнадцать лет жил на Большом Каретном. Пистолета не было. Но хулиганья и шпаны вокруг было навалом.

Серое убогое клоповно-тараканье шестиэтажное здание вмещало все: грязь, нищету, чванство второразрядных сталинских чиновников. Жила в нашем доме и шпионка — наряду с работниками органов. Шпионка появилась в конце войны. Обитала она неизвестно как, под лестницей. На трех квадратных метрах, отгороженных от проходящих фанерными листами. Профессия шпионки была — нищенка. Помню точно: кончилась война, серые, в серых платках и черных ботинках люди идут по Каретному. А у подъезда нашего дома стоит нищенка. Вся малышня пугалась ее. Она стояла совсем беззвучно, старая и уродливая женщина с окаменелым лицом. На голове ее была какая-то интеллигентская шляпка с дырками, а рука, протянутая к прохожим, мелко тряслась. Так стояла она года три. И вдруг исчезла. Моментально по всему Каретному разнесся слух: шпионку поймали! Сообщали даже подробности — в кусках хлеба, которые ей подавали, были шифровки...

Что касается шпаны, тут надо заметить, что по всей Москве тех лет шло соревнование — в каком районе ее больше. Обитатели Каретного, естественно, считали, что

шпаны и хулиганья именно у нас больше всего. Особенно горды были обитатели дома 19, именно там свирепствовал один малолетка. Звали мальчика — Топтов, кличка была — Мизер. Этот юный блатарь пользовался покровительством взрослых урок. Среди бела дня он мог подойти к кому-то и потребовать денег. Брал, правда, немного. Так, чтобы не могли приписать грабеж. Папа этого юного упыря работал в органах Лаврентия Павловича Берии. Все, конечно, знали это, и мальчику все сходило с рук. Были у нас и другие приятные личности: длинный, с приבלатненными повадками, и ходивший уже в сапогах (блатной шик?) Устя. Его папа работал шофером на Петровке, 38, — водил «воронку». Родители мои всеми способами изолировали меня от дворовой компании. Результаты сказались очень быстро — меня стали презирать. Во двор я почти не выходил. Ушпаны свои игры.



1

После смерти Отца Родного произошли в Каретном кое-какие перемены. Пропал куда-то отец юного упыря Топтова. Часть блатных замели. На углу Садовой и Большого Каретного заселили иностранцами огромный дом. Тут я впервые увидел с замиранием сердца, как работают

наши славные разведчики. С лестничной площадки последнего этажа нашего дома хорошо проглядывалось иностранное гнездо — центр шпионажа, диверсий и провокаций. И вот около огромных грязных окон, на захарканной площадке, днем и ночью топтались две фигуры. Нравы в органах были тогда простые: сотрудники ходили в форме, не снимая ее даже на заданиях. По крайней мере те сотрудники, что следили за иностранными шпионами с высоты нашего шестого этажа. Они просто накидывали поверх формы черные драповые пальто. Сверкающие сапоги не должны были, по их мнению, привлекать внимание. Насвистывая «мне сверху видно все, ты так и знай» — веселенькую сталинскую мелодийку, — топтуны звонили в нашу квартиру. Потом, стоя в углу коридора, быстро набирали номер телефона и торопливым шепотом что-то докладывали. Жители нашей коммунальной квартиры благоговейно относились к мужественным разведчикам и старались всемерно способствовать совершению ими каждодневного подвига. Никто не выходил в коридор, когда топтуны звонили. Никто не задавал вопросов, почему кто-то топчется на площадке. Все все понимали.



Уехали мы с Большого Каретного неожиданно. Как-то папа привез из Финляндии всякие штучки-дрючки. Всякие бытовые удобные мелочи. Наш руководитель Никита Сергеевич, только что пришедший к власти, очень хотел показать, что и мы не лыком шиты — дескать, будем их догонять, перегонять и закапывать. И вот номенклатура дала указание всяким нашим гражданам привозить с Запада всякую удобную дребедень — чтобы наладить выпуск тут таких же отечественных изделий. И вот папа привез несколько красивых финских пакетов со всякими баночками, железками и т.д. И к нам прибыл один из помощников Хрущева*. Этот аппаратчик был совсем свежий, он не успел забуреть. Он вошел в нашу комнату. Был он, помню, в каком-то не нашем костюме. Подстрижен был как надо. Сзади снято, височков нет. Он вошел в комнату и ужаснулся: «Вы живете в таких условиях?!»

А условия у нас были самые нормальные: в комнате в 18 квадратных метров жили четыре человека. У отца и матери был, правда, туберкулез. Но в общем все было, как у всех. Помощник Никиты Сергеевича очень расстроился, что преданные люди так плохо живут. Скоро мы переселились в роскошный дом на Калужской заставе. Опять, опять тяну за уши великих! Но что делать? Именно этот полукруглый, с фигурами наверху, ведомственный дом строил Александр Исаевич, именно его-то и описал в «Круге первом». Нет больше Большого Каретного.

Переименован он теперь.

И все-таки — где бы ты ни был,
Где ты ни бредешь —
Нет-нет, да по Каретному
Пройдешь...

Года четыре назад я шел по бывшему Б. Каретному рядом с прелестной девушкой, француженкой. Танечка работала и жила как раз в иностранном шпионском гнезде,

рядом с моим бывшим домом. И вот, через 22 года, я шел мимо своего подъезда в гости, в иностранное развратное гнездо.

Меня так и подмывало подняться на шестой этаж и взглянуть, стоят ли там дяди в сапогах и драповых пальто. Но не стал я этого делать. Было у Танечки мало времени. Мы вошли на территорию шпионского гетто, и милиционер пристально и запоминающе посмотрел на меня. Потом поднял трубку и куда-то позвонил...



Комментарии 20 лет спустя

Какие-то подловатые нравы царили тогда на нашей улице. Дом 19 был шестиэтажный, без лифта. На разных этажах в перила хорошими ребятами всаживались бритвы, лезвием вверх.

В кино «Эрмитаж», куда чаще всего тогда ходили чудесные дружные школьники из нашего переуллка, они любили занимать балкон или бельэтаж. Когда гас свет и начинался фильм, они беззвучно плевали сверху в зал или, разорвав пакетик с фиолетовым чернильным порошком, клали его на перила перед собой и тихонько дули...

Еще им ничего не стоило отнять деньги у младших. Когда мы все немного подросли, то переместились на «Брод». Каждый вечер специальная публика фланировала по отрезку улицы Горького — от Манежной до Маяковского. Делилась публика на две части: на «стиляг» и «блатных». Стиляги были одеты разноперо. С претензией на какую-то западную моду, в меру своих финансовых возможностей и вкуса. «Блатные» были одеты одинаково: кепочки с разрезом (с «целкой» — это называлось), пальто, из-под которого обязательно выглядывал белый шарф, на ногах прохоря гармошкой и брюки с напуском. Гуляли, вроде бы не задевая друг друга. Так казалось на первый взгляд. Конечно, две эти категории враждовали между собой. Верх часто держали блатные. Несколько раз я видел, как в переулках у «Брода» фигуры в прохорях били стильяг и отнимали у них какие-то вещи.

«Блатных» била милиция, этого мы не видели, но знали об этом все. Один раз я видел спектакль, устроенный блатарем рядом с «Бродом». Два «мусора» никак не могли дотащить его до отделения — он бросался на землю, катался и беспрерывно орал:

— Суки! Руку ломают, граждане, помогите! Позорники, глаз выдавили!

Вокруг собралась большая толпа сочувствующих граждан. Многие возмущались и верили крикам. Потом менты затащили блатного в отделение, и дверь захлопнулась...

В школе у меня довольно часто были неприятности. Вера Александровна Дудовская меня терпеть не могла, отчасти из-за моего своенравия, отчасти потому, что родители работали (!) в Финляндии. Я чувствовал эту за-

висть и злобу, иногда это у нее проскальзывало на уроках. В 7-м классе меня исключили из пионеров. Я не пришел на какое-то ритуальное шоу, посвященное памяти Ленина. Потом я не явился на сбор отряда, где должен был держать ответ за свой позорный поступок перед товарищами по классу, т.е. перед 7-м «Г».

В 1955 году произошло слияние мужских и женских школ. В Большом Каретном было две школы, 186-я, она была ближе к Петровке, и 187-я, которая находилась напротив нашего дома, у Садового Кольца. Дирекция нашей школы воспользовалась моментом и перевела меня, вместе с отпетыми хулиганами, двоечниками и прогульщиками, в бывшую женскую школу. Мужская часть школы была в значительном меньшинстве. Девочки-отличницы взяли надо мной шефство. На перемене они отлавливали меня из общей массы, отводили в учительскую и, заперев, выспрашивали, почему я не хочу учиться. Я ничего не объяснял. Ну — не хотел! Не нравилось, как ко мне относятся. В школу я вообще перестал ходить. Сначала где-то гулял, ходил в кино «Экспресс» на Самотеке, потом перестал дома скрывать, что учиться не хочу. Потом пришел Слава Шенк, тогдашний мой приятель, и сказал, что школьников выстроили в зале и директор бывшей женской школы сообщил, что я исключен — за многочисленные прогулы и нерадивость. Родители были очень обеспокоены, даже решили, что я от тяжелого умственного труда (много читал) сошел с ума. Был приглашен в дом известный гипнотизер Вольф Мессинг. У него были безумные, напряженные, выпуклые глаза. Он говорил с польско-еврейским акцентом. По мере того как мы сидели за столом, он все больше меня выспрашивал о моих взглядах и сам сообщал что-то обо мне, о каких-то деталях биографии. Задал вопрос: «Чем мысль отличается от действия?» Кстати, чем она отличается? Я ответил правильно. В самом конце, уходя, он сказал родителям:

— Это не то, что вы думаете. У него все нормально с психикой. Оставьте ему время, он сам выберет свой путь...

* * *

В промежуточный за смертью Сталина год, когда Хрущев еще не окончательно утвердился и ездил с Булганиным и Кагановичем по странам и континентам, налаживал «мир и дружбу», я второй год прозябал в 7-м классе. Остался я второгодником по причине болезни, из-за которой долго не ходил в школу. Был последний год раздельного обучения. Ученики, зачастую переростки, были пугающе озабочены проблемами секса и его удовлетворения. В школе появилась новая химичка. Это была совсем юная девушка, только что из института. У нее были мягкие черты лица, пушистые светлые волосы, пышные бедра и грудь. В химический кабинет весь 7-й «Г» врывался с ревом, стараясь занять первые места. Когда начинался урок, никто ничего не делал, только громко отпускались шуточки в адрес красивой учительницы. Все жадно ловили момент, когда она вставала из-за стола и начинала прохаживаться перед доской. В ней, по Чехову, нам нравилось все — и лицо, и волосы, и грудь, и все остальное. Ученики всех старших классов просто с ума посходили. Во время перемены они окружали бедную девушку плотным кольцом, якобы задавая какие-то вопросы по химии. Потом кто-то разбежался и врезался в толпу. Все падали на учительницу и шупали ее, пока она барахталась под грудой потных тел. В общем, дело шло к изнасилованию. В одном из десятых классов, по рассказам, кто-то погасил на уроке свет (занятия шли во вторую смену, рано темнело) и школьники набросились на учительницу. Ее спас только звонок. В нашем классе среди разных недорослей выделялся Роман, он был двухметрового роста, брился и носил на пальце латунное кольцо. Однажды в химическом кабинете меня угораздило сесть с ним рядом. Седьмой «Г» гудел, как всегда, разглядывая училку, отпуская похабные замечания. Роман, который всегда участвовал в травле, на этот раз сидел почему-то тихо, что-то сосредоточенно делал руками под химичес-

ким столом. Я взглянул вниз и увидел, что он вытащил из штанов огромный член и медленно разминает его в руках... Конечно, несчастная девушка не видела этих манипуляций, но по глумливым смешочкам и раскрасневшимся физиономиям учеников догадывалась, что творится что-то непотребное. Она не подходила к столам, за которыми сидели ученики. Боялась. Выбежала из кабинета, едва зазвонел звонок. Вслед ей неся гогот.

Завуч пытался проводить со школьниками воспитательные беседы, но все было бессмысленно — издевательства повторялись по несколько раз, каждый день. Бедная химичка просто сбежала из нашей школы. Вот, товарищи, как быстро распустились ученики после смерти Сталина! Едва только успели кремлевские таксидермисты набальзамировать тушку вождя, только успели расстрелять Лаврентия Павловича, еще никто не думал разоблачать ничей культ личности, а учащиеся центральной московской школы в Большом Каретном переулке так разнузданно стали себя вести! В общем, повзрослев, я стал соображать, что не только жеребиная сила играла в крови. Были и внешние причины. Повседневность — жестокая и пугающе близкая. Школа наша стояла чуть в глубине переулка. Мимо школьного забора, проулочком, можно было спуститься к Центральному колхозному рынку или, свернув чуть левее, оказаться на Малюшенке, в самом хулиганском районе округа. На этом пути стояла маленькая двухэтажная тюрьма, старая, кирпичная, действующая... Окна многих классов нашей школы выходили прямо на тюрьму, на ее решетчатые окна. «Намордников» на окнах еще не было. Однажды во время занятий школьники увидели, что стена тюрьмы в одном месте раздалась, попадали кирпичи и в проем вылезло несколько арестантов. Вскоре засуетилась охрана, побежала с винтовками вниз, в сторону рынка, к Малюшенке.

Лично я в травле красивой учительницы участия не принимал, стеснялся. Мне нравилась Виктория Семе-

новна Аберсон, рыжеволосая еврейка, молодая, с волнующей фигурой, которая преподавала в параллельных классах. Мы со Славой Шенком даже ездили на велосипедах к парку ЦДСА, поскольку где-то рядом она жила. Несколько раз я встречал ее в Лиховом переулке и, конечно, совершенно терялся, не мог себя заставить сказать «здравствуйте». Она проходила мимо, надменно косясь на меня.

На экзамене по математике я сидел один за партой и чувствовал, что проваливаюсь, не мог решить ничего. Виктория Семеновна была в экзаменационной комиссии. Она села передо мной за парту и стала что-то писать. Потом вышла, оставив листок на столе. Это было решение задач по моему билету.

* * *

Благодаря помощнику Хрущева мы переехали на Ленинский проспект, в дом 37. Если быть точным, это не солженицынский дом, тот стоит на другой стороне проспекта и примыкает к Нескучному саду. Дом наш был роскошный, принадлежал ВЦСПС. За ним было ведомственное ателье, парикмахерская и поликлиника, тоже ведомственная. Внизу был прекрасный магазин «Диета». Нам должны были дать трехкомнатную квартиру, но в результате чиновничьего обмана подселили в квартиру соседей, которые заняли одну комнату. Соседи были как соседи. Мужик работал не помню где, естественно, являлся пьяный и начинал учить жену. Жена евовная работала в ВЦСПС на самой незначительной должности, мужа боялась до смерти. Зато теща, мать жены, дралась с ним в коридоре. Потом по коридору валялись вырванные рыжие волосы. После пробуждения сосед приходил к родителям просить прощения за шум. Мужика, в конце концов, теща и жена посадили, а мы разменялись и переехали из этого дома.

* * *

Фестиваль молодежи в 1957 году мне почему-то не запомнился. Помню какие-то выкрашенные советские грузовики, на которых ехали гости. На многих окнах были наклеены бумажные голубки. Они были самодельные и походили то на ящеров с крыльями, то на лебедей.

К западной живописи и к отечественному художественному авангарду я мог бы и тогда прикоснуться, достаточно было бы сходить в Парк культуры, где шли совместные советско-западные выставки, но я не попал туда то ли по лени, то ли потому, что где-то кто-то выступал — музыки тогда на улице было много, и мне это было интересно.

* * *

Был у отца такой знакомый, Алексей А., идеологически выдержанный боец идеологического фронта, циник, работавший то ли в «Правде», то ли в «Известиях». Они познакомились в Финляндии.

За нравственностью советских людей, особенно находившихся на передовых рубежах войны идей, наблюдали умные и проницательные глаза майоров Прониных во всех советских представительствах.

Тем не менее иногда случались и удивительные казусы. Ну, если это кому-то интересно, именно А. приучил меня к настоящей порнографии. Я к отцовским знакомым в гости не ходил, а к нему — пожалуйста, с удовольствием. Он с женой жил на Аэропортовской, в писательском доме.

Приходил я с отцом, он с хозяином и его женой выпивал, а я ждал. Жена у Алексея имела совершенно блядский шведский вид, но кем она была на самом деле — не могу сказать. Ворковала она соблазнительно и зазывающе. Одежда у нее была красивая, облегающая. Алексей, как выпьет, так зовет меня в кабинет, а там в запертых ящиках

стола у него лежали настоящие порнографические журналы — скандинавские, немецкие, американские. Еще у него было много фоток бесстыжих голых баб, а также, выражаясь языком судопроизводства, слайды и другие предметы порнографического характера. Из предметов я запомнил зажигалку, авторучку, расческу и открывалку для бутылок, выполненную в виде изогнутой женской фигуры.

Когда я уходил, он дарил мне какой-нибудь понравившийся слайд или фото.

Отец рассказывал, что в Финляндии этот собкор вел разгульный образ жизни. Мало того что он открыто покупал порнографию, он еще и в публичные дома ходил, поставив в известность советских представителей!

Это был правильный ход, ответный удар, я бы сказал. Если бы он ходил тайно, его могли бы засечь, а потом шантажировать. А так — крыть нечем! Чем шантажировать, когда он ничего не скрывает. Вот только один вопрос меня мучает: а почему другим это не разрешалось?

* * *

Первая девушка, с которой я познакомился, звалась Риммой. Встречались мы просто так, если можно так выразиться. То есть никаких плотоядных устремлений не было. Жила Римма на Таганке, на улице Малые Каменщики. Ее дом стоял прямо около стены Таганской тюрьмы. Ночью, когда я провожал Римму и мы входили во двор, солдат на вышке направлял в нашу сторону прожектор. Римма меня долго не приглашала в дом. Однажды все-таки позвала, и я познакомился с ее отцом. Когда мы вошли, он сидел за столом и ужинал. Молча кивнул мне и больше не обращал внимания. Он был в военной форме. Я понял, в каком ведомстве он служит... Это был настоящий тюремщик. Однажды мы с девушкой сидели на лестнице, на подоконнике. В какой-то момент она расстегнула пальто, и я увидел под ним огромный металлический значок «дружинник».

Вскоре после этого наша дружба захирела, так и не перейдя в тюремный роман.

ГИД СВАТКОВСКИЙ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ

Помните ли вы, москвичи, то знаменательное событие, что произошло через три года после разоблачения так называемого культа личности? Помните ли вы американскую выставку?

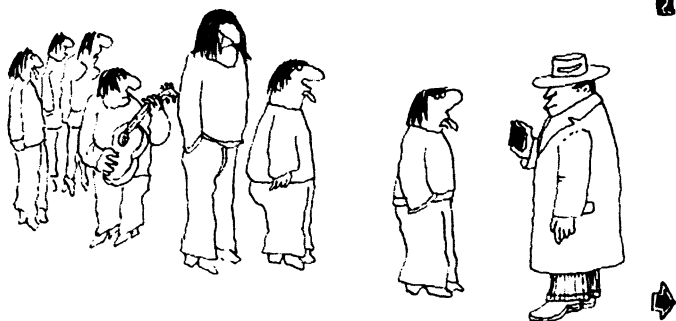


Открыв свое маленькое окошко во внешний мир при помощи отцовского чемодана, я смог пролезть в дверь, что приоткрыл нам Никита Хрущев! Помните ли вы киоски на выставке в Сокольниках летом 1959 года? Там раздавали бесплатно пепси-колу. Мы уже знали тогда, что этот напиток, схожий с кока-колой, совсем не обязательно должен отравить нашу душу. Приходили к американским девушкам, отпускающим пепси-колу, люди с бидонами. Уходили довольные, бережно неся заокеанскую жидкость. Другие осторожно пили ее у киосков. Некоторые морщились, выплескивали на тротуар. Ругались матерно. Толпились около гидов, что рассказывали о преимуществах американского образа жизни. Гиды отвечали на все вопросы. Даже на самые враждебные. Даже на воп-

росы, почему у них негров вешают. И все это так ловко у них получалось, что вроде бы все у них хорошо, даже если и плохо. Стояли люди. Потели. Слушали. Спрашивали. Думали. Отходили и снова подходили. И не боялись задавать вопросы! И это все через шесть лет после смерти Сталина! Я слушал одного гида и спросил потом его фамилию. Мне хотелось знать — не русский ли он. Оказался русский, по фамилии Сватковский. Из-за этого гида меня и взяли на учет Органы. Нет, нет! Никто не фотографировал меня, когда я стоял рядом с ним, никто не уличал меня в недозволенных контактах. Я сам во всем виноват. Я написал письмо одному своему родственнику в Сибирь. Он, молодой журналист, только что кончивший МГУ, уехал в Сибирь жить и работать. Он писал статьи о трудящихся крупного индустриального центра. Я написал ему письмо, очень откровенное. Эта выставка произвела на меня сильное впечатление. Я начал тогда интересоваться живописью и вдруг увидел воочию современное искусство: картины Поллока и Ива Танги. Я написал в Сибирь то, что я чувствовал в момент, когда заходил в павильоны. Я писал, что мне все надоело и я хотел бы жить к западу от линии Мурманск—Ужгород. Прошло время. Ответа я не получил. Письмо, как оказалось, попало не по адресу. Его вскрыли случайно в каком-то сибирском общежитии. Потом отдали почтальону. Тот прочел и отдал милиционеру. Тот прочел и отдал в местные Органы. Там переполошились и отправили письмо в Москву. И вот в Москве, в начале 1960 года, вызвали на допрос автора письма, а также моего отца — он в это время работал редактором отдела культуры газеты «Труд» — и секретаря парторганизации «Труда» Н.

Отправились на Лубянку на служебной машине из «Труда» — папе подавали к тому времени персональную «Волгу». Никто не знал, зачем вызывают. Прошли сталинские времена. Все знали, что не сажают. А если и сажают, то мало. Но было тревожно на душе. Я мысленно перебирал свои прегрешения. Но вроде бы не было ничего такого...

Отдали паспорта в здании на Малой Лубянке. Взамен получили пропуска. И мы вошли в огромное здание Органов.



Беседу со мной вел полковник с седыми висками и ласковым прищуром. (В жизни, как в детективе.) Он поинтересовался у отца, как он мог воспитать такого негодяя. Потом спросил у меня, действительно ли я хочу жить к западу от обозначенной в письме линии. Многословно и путано, угрюмо глядя в пол, я объяснил, что в момент написания у меня болел желудок. Несмотря на разоблачение культа, портрет Великого Гения висел над полковником. Впрочем, были и другие портреты. Сталин смотрел на меня пронзительно. Казалось, еще секунда, и добродушно приподнятая бровь его нахмурится, отеческая улыбка превратится в оскал и он скажет:

— Арестовать и расстрелять! Со всей сэмьей!

Секретарь парторганизации нервно ходил по кабинету, стараясь не ступать на бордовую ковровую дорожку, и кричал, обращаясь к отцу:

— Вячеслав! Я знаю тебя со времен войны, знаю как настоящего коммуниста! Как ты мог воспитать такую сволочь?!

Никто не знал этого. Кончилась беседа добрым напутствием.

Я хотел забрать письмо, но полковник сказал:

— Оно полежит у нас. И запомните, Вячеслав, что лет восемь назад так вы бы отсюда не вышли.

И был этот полковник совершенно прав. Лет восемь назад за письмо знакомому с описанием американского образа жизни я бы не вышел... А гид Сватковский так, видимо, и не узнает никогда, что своим рассказом он помог мне лишний раз убедиться, что процесс демократизации в те годы все усиливался и усиливался.

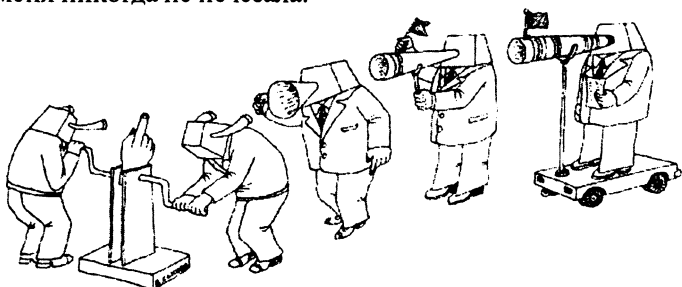


Комментарии 20 лет спустя

Письмо, из-за которого меня вызывали в КГБ, было написано тогдашнему мужу моей сестры Гаррию Немченко. Он заканчивал журфак МГУ, приходил к нам, спрашивал у отца совета в каких-то газетно-журнальных делах. Потом уехал делать журналистскую карьеру в Сибирь. Туда-то и пришло мое письмо о выставке. Через какое-то время, после вызова на Лубянку, он позвонил отцу и с обидой сказал: «Ну и натворил же дел ваш сын, Вячеслав Михайлович!» Я, конечно, только и мог что заржать. Какой страшный я совершил поступок! Написал родственнику на домашний адрес в Сибирь письмо! Как я повредил его карьере! Конечно, больше я с этим смелым, благородным человеком не общался. Многие годы он писал производственные романы, а во времена перестройки стал какой-то большой птицей вольного полета.

Это письмо так и осталось в руках полковника с седыми висками. Думаю, что с этого листка и начинается мое досье. Ему уже 42 года, это целая человеческая жизнь. Все

хочу товарищей попросить вернуть мне его, но — надо писать, хлопотать, объяснять. Не легче ли просто обо всем этом забыть? Выходит, не легче, раз память так хорошо хранит воспоминания тех лет, и я ясно вижу отца, себя, парторга Никитушкина, обозначенного в первой книге буквой «Н», полковника, секретаршу.. Полковник, как мне потом говорил отец, был замом председателя Московского управления КГБ. Любовь к этой организации у меня никогда не исчезала.



...Перед тем как у меня случились серьезные неприятности, я шел с женой Еленой Сергеевной по проезду, около 40-го гастронома, между двумя Лубянками. Вдруг дверь в том здании, что ближе к площади Дзержинского (Лубянская), раскрылась, и вышло изнутри человек 10—15 в черных костюмах. Все закурили. Видимо, шло совещание, и они вышли перекурить. Они не обращали на нас внимания. А я обратил. И очень напряженно думал разное об этих товарищах. Когда мы проходили мимо них, я заметил, что все разговоры смолкли. Отошли метров на 15, я обернулся и увидел, что все головы повернуты в нашу сторону. Любили мы друг друга заочно и хорошо друг о друге думали.

СУМАСШЕДШИЙ ИОСИФ

Иосиф (друзья звали его «Чайник») всем знакомым давал клички. Были у него девушки: Приська (он утверждал,

что она похожа на Элвиса Пресли), Дылда, Егоза, Белая Вошь, Биссектриса. Среди знакомых мужского пола были Ушной Доктор, Маленков, Бухгалтер, Гитлер... Иосиф — настоящий городской сумасшедший. Вот уже 25 лет он получает пенсию за свой идиотизм. Несет он это звание достойно и с гордостью. Всегда и всем он заявляет:

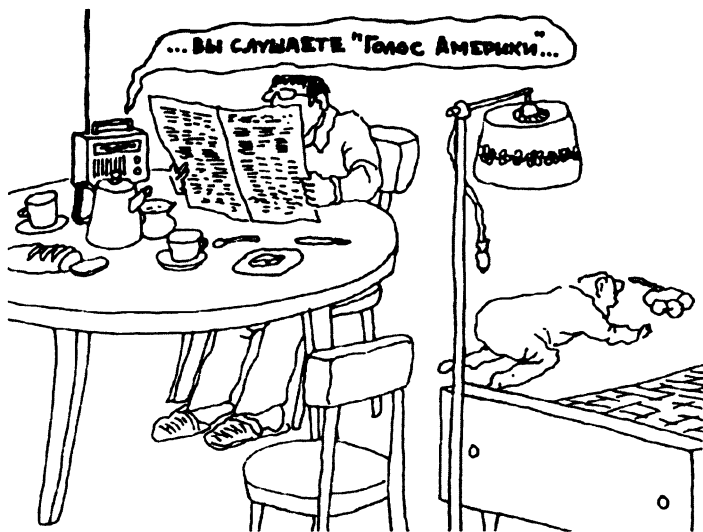
— Я сумасшедший! Я никогда не работал. Я получаю тридцать рублей.



КОМНАТА ЗНАКОМОГО СУМАСШЕДШЕГО.
ГОСТИ. У СУМАСШЕДШЕГО — МИКРОФОННЫЙ СИНДРОМ.

Его сумасшествие заключается в том, что он непрерывно об этом говорит. Его мама работает в одном очень высоком учреждении. Насколько я мог понять в те годы, когда общался с Иосифом, она давным-давно махнула на него рукой. Иосиф очень удобно живет — в самом центре Москвы. Куда ни пойдешь — обязательно к нему придешь. Приходить нужно после полудня. До этого он спит. У него — ночная жизнь. Часов до трех ночи он крутит приемник, пытаясь поймать враждебный голос, или вдруг идет гулять. Встречает Ося гостей в рваной белой ночной рубашке. Он

красив. Его восточная красота и черные глаза всегда привлекают на улице взгляды женщин.



— А, сволочь, доносчик, опять пришел! — кричит он. Это значит, что Ося в хорошем настроении и ему приятно меня видеть. — А ну, показывай, куда зашил микрофоны, — продолжает возбужденно кричать он, щупая мое пальто.

В комнате Иосифа спертый воздух. Форточка не помогает. На огромном приемнике приклеены фотографии Элвиса Пресли. Иосиф идет на кухню ставить чай. Бабушка в это время делает для нас бутерброды. Чай Иосиф заваривает сам. Войдя с маленьким чайничком, он внимательно смотрит на меня и спрашивает:

— Микрофоны проверил? Пленки сменил?

Это наша обычная игра.

— Нет еще, — отвечаю я. — Вот сейчас пойдешь бабам звонить, я и сменю.

После чая Ося показывает мне обновки. Не следует думать, что жизнь сумасшедшего удручающе однообразна. У

Оси не слишком много свободного времени. Если к нему никто не приходит, он идет на улицу. Идет по рынкам. При чем он обходит рынки пешком, тратя на это несколько часов. Там, в убогих комиссионных магазинах, он находит вещи за чудовищную, сказочно низкую цену. Он покупает пальто за три рубля, брюки за четыре, ботинки за пять рублей. Ося обходит продовольственные магазины в поисках ливерной колбасы за 32 или 64 копейки (за кг) или рыбного студня. Иногда Ося идет в «Иллюзион» — кино-театр, где можно увидеть довоенные фильмы с Гретой Гарбо или Эрролом Флином. Ося дарит мне рубашку. Потом он выкладывает добычу предыдущего вечера: грязные, затоптанные этикетки жвачек, пустую бутылку из-под тоника и пустую пачку сигарет «Пэлл-Мэлл». Все это Ося несет в дом. Эти этикетки и коробки я иногда беру у него, чтобы наклеить где-то в своих рисунках.

Только мы успеваем с Осей поделиться мнением о романе Агаты Кристи, который начал печататься в журнале «Памир», раздается звонок. Из коридора несется рев Иосифа и оглушительный хохот. Пришел Бухгалтер. Он принес жареных килек по 50 копеек килограмм и требует теперь бутылку. Начинается лихорадочная суетня: ищем посуду, собираем мелочь, считаем. Потом Иосиф сам, взяв портфельчик, идет в магазин. Возвращается он быстро. Большая удача! Взял три бутылки по 0,5 по 1 рублю 17 копеек! Проходит немного времени. Мы удобно сидим на продавленном диване. Приемник играет. Иосиф развлекает нас историями о больных, которых он видит в психдиспансере. Вечер. Мы уходим гулять. Многие ли люди гуляют по Москве просто так? Видели ли вы таких? Мы идем безо всякого определенного плана. Если повстречается подходящая девушка — пробуем познакомиться. Но это просто так. Дань, так сказать, времени. В принципе новое знакомство нам не нужно. Да и с хорошей девушкой просто так не познакомишься. Тем более что на Иосифе пальто за три рубля. Сначала женщины глядят на лицо Иосифа.

Чувствуется, что им оно нравится. Потом они переводят взгляд на его странное пальто, на синие в полоску брюки, которые кончаются выше носков... И отворачиваются. Но Ося не обижается. Его настоящий праздник — ночь. Но это без меня. Мне завтра на работу. И я уезжаю на троллейбусе. Бухгалтер идет к метро. А Ося идет гулять дальше. Ему встречаются роскошные женщины. Но его они не интересуют. На него смотрит приятная блондинка, чувствуется, что ей даже плевать на то, во что он одет. Он проходит мимо. Но вот... Ого! Вот то, что нужно! Около Музея Революции идет... Нет, описать это невозможно. Сзади это девушка. Ее талия перетянута лакированным пояском. Пальто ватное. Спереди видно, что этой девушке за пятьдесят. Она вся раскрашена. А улыбка и ужимки, как у смущающейся примадонны. Кажется, она тоже получает пенсию? Ося очень быстро находит контакт с девушкой. Она увлекает его в сторону Белорусского вокзала. Они скидываются и покупают большую бутылку «Белого крепкого». Заходят в парадное. Выпивают из горлышка. В это время какая-то стерва отравляет им праздник. Со второго этажа несется:

— Опять! Опять сюды пришли! Сейчас милицию позову!

Упорхнула спугнутая парочка. Хмель и расположение друг к другу не позволяют им расстаться. Долго бродят они, ища подходящее парадное. Пуста уже улица Горького. Далеко за полночь. Лишь одинокий пьяный покажется вдали или какой-нибудь страдалец, которого выставила за порог твердая женская ручка. Чу! Слышны громкие шаги. Хозяйские. Уверенные. В сторонку, в сторонку... Это милицейский патруль. А вот и «Волга» милицейская тихонько так, бесшумно проехала. Вот парадное! И проходное! И Ося скрывается в нем с девушкой...

Рассказывая об Иосифе, я хочу сам понять: был ли он действительно сумасшедший? Или же тридцатирублевая пенсия заставляла его играть эту роль? Иосиф талантлив

вый человек, но талант его не выплеснулся.

Всю жизнь обеспокоенный, что пенсию могут отнять, он весь талант свой угробил на то, чтобы никто не сомневался, что он сумасшедший. Несколько лет назад из-за трагических обстоятельств в жизни одного нашего знакомого мы расстались. Весь свой подъезд, подъезды знакомых, телефонные будки в центре Москвы он исписал надписями:

СЫСОЕВ-КГБ-НА Х...

И — мой телефон.

— Перед тем, как навсегда расстаться, я спросил:

— Зачем ты это сделал?

— Чтобы ты больше не ходил ко мне! Одного посадили, а из-за тебя и я сяду?! Не хочу! Не хочу! Не хочу!

И я ушел.



Комментарии 20 лет спустя

Познакомился я с Иосифом лет 40 назад, если не больше.

Он был независим, молод и весел. Постоянно переспрашивал, прислонив руку к правому уху. Говорил, что одним ухом не слышит.

— Мне в детстве пионер плюнул в ухо, и я оглох. С тех пор, — говорил он, оглядываясь, — я не люблю пионеров, комсомольцев и партработников.

Иосиф сделал надписи в телефонных будках, поставив мою фамилию, после того как арестовали Маленкова, нашего общего приятеля.

Владимир Ильич Авраменко, который за круглость лица получил у нас прозвище Маленков, старый приятель Иосифа, начал писать стихи после окончания МАИ. Скорее, это были некие частушки на актуальные антисоветские темы. По роду службы он был знаком со многими инженерами, летчиками и штурманами гражданской авиации. Дружба держалась, конечно, на совместном распитии бутылок. Выпивалось немерено. Владимир Ильич перезнакомил меня и Иосифа со всеми своими пьющими друзьями. Часто пьянки происходили у Иосифа. Летчики приносили с собой много крепкой выпивки и сами же ее выпивали. Потом начинались антисоветские разговоры. Говорил, собственно, Маленков, а все окружающие гоготали над его стихами и пьяно поддакивали.

— Иосиф, — много раз говорил я, — гони всю эту бражку! Ты посмотри на них, да на хрен им эта антисоветчина! Да они и радио-то никогда не слушают, на работе некогда, а дома — вечно пьяные! Да что им эти фамилии — Сахаров, Буковский, Григоренко? Они же их от тебя впервые услышали! Им же 2,87 нужно (тогдашняя цена водки), или коньяк три звездочки. Они же Маленкова сдадут, если что!

Иосиф, как человек слабовольный, соглашался, но через пару дней все начиналось снова.

Тогда же произошел следующий случай, рассказанный мне впоследствии Маленковым. Старый маленковский приятель, художник Архаров, повел его к Илье Глазунову.

Маленков обидчиво вспоминал:

— Мы пришли в большой зал, все в старом русском стиле оформлено, в центре — огромный стол, рядом, на столике, бутылки всякие. В кабинете все время находился какой-то мужик, секретарь что ли.

Потом явился сам Глазунов. Сказал: «Читай». Ну, я начал читать, память-то у меня тогда хорошая была...

Он слушал без всяких комментариев. Потом сказал: «Скоро сядешь!» И даже выпить не предложил!

На том аудиенция и кончилась.

Маленков стал реже бывать у Иосифа. Он нашел себе еще одного «благодарного слушателя» — деклассанта, работавшего дворником на той же улице Алексея Толстого (Спиридоновке). Туда-то и перекочевали пьяные летчики с Маленковым. Кончилось все, как рассказывал позже Владимир Ильич, когда он вышел из подъезда своего дома на Комсомольском проспекте и направился в сторону метро, на работу. Подъехала черная «Волга», и два молодца, взяв его под белые ручки, отвезли на Лубянку. Он себя в кабинете следователя вел грубо, на вопросы не отвечал и был переведен тотчас в Лефортово, следственный изолятор КГБ. Туда начали вызывать буквально всех его знакомых. Выяснились интересные детали. Гебисты во время обысков на его квартире и в дворницкой на Алексея Толстого изымали все рукописные тексты. В дворницкой, например, был вырезан и приобщен к делу даже огромный кусок обоев, на которых Маленков спьяну написал какую-то антисоветчину. Дошла и до меня очередь. По повестке, присланной по почте, явился на Энергетическую улицу. Во дворе, за скромной дверцей находилась приемная следственного изолятора Лефортово. Вошел в кабинет. За столом сидел довольно молодой человек. Лицом он походил на собутыльников Маленкова. Это был следова-

тель Курбанков, который вел дело Авраменко по статье 70 УК РСФСР. (Антисоветская агитация и пропаганда.)

Кресло, в котором я сидел, было поставлено так, что я хорошо мог видеть то, что было за окном. А за окном был внутренний двор Лефортовской тюрьмы, там шла своя неведомая жизнь: время от времени проходили куда-то охранники, открывалась дверь и несколько зеков тащили бидоны через двор в другой корпус.

Следователь был хам, малокомпетентный и примитивно-хитрый. Я вспоминал ту давнюю «беседу» со мной в КГБ и понимал, как низок уровень товарища Курбанкова. Вся его «работа» со мной заключалась в том, что он по двадцать раз прокручивал одни и те же вопросы, перемежая их жалобами на подследственного, который утверждал, что наступит время, когда коммунистов будут вешать за яйца. В вопросах следователя слышались глухие угрозы в мой адрес, так как я не давал «правильных» признательных показаний.

— Вот тут, Вячеслав Вячеславович, лежат показания знакомых Авраменко. Они утверждают, что он публично, в присутствии всех его знакомых и собутыльников, читал антисоветские стихи. Вы подтверждаете эти показания?

— Как мне подтверждать, если мы встречались для того, чтобы выпить! Не помню!

(Это я говорил, который водку на дух не переносил!)

— Ну как же! Вот, например, записано:

... Такого-то числа, в квартире такой-то, Авраменко в присутствии таких-то, там и ваша фамилия есть, читал стихи антисоветского идейно ущербного содержания. Там были стихи о Кубе, в которых были такие строчки:

«Хули Куба, Хули Гана, Хули нам Китай...» Читались также измышления о Владимире Ильиче Ленине, товарищах Брежнев, Косыгине, органах Государственной безопасности..... И вы ничего этого не слышали?

— Пьяный был, стихов не помню.

— Но вообще-то он стихи вам читал?

— Читал.

— Какие?

— Да про баб.

— Приведите пример.

— Примеров не помню. Пьяный был.

— У вас что, с памятью плохо? А «Воззвание к декабристам 1970 года» он вам тоже не читал?

— О таком вообще не слышал.

— Какие еще стихи он при вас читал?

— Не помню, был выпивши.

Часа два шла эта тягомотина.

Конечно, я знал о том, как Маленков решил «насолить» советской власти. В 1970 году он совершил сколь героический, столь и безумный поступок. К столетию рождения Ленина была им написана чудовищная антисоветская поэма с призывом к восстанию. В 1970 году Владимир Ильич подал документы в МГУ на факультет журналистики. И на вступительном экзамене по литературе по памяти написал свое «Воззвание».

Я звонил сестре Маленкова, Лене Авраменко, и узнавал, как дела. Дела были плохие.

Шло следствие. Ничего нового доказать не удалось — только чтение антисоветчины, да изъятые записные книжки с текстами стихов. Лена рассказала, что он находится в Институте Сербского, на экспертизе. Я сразу понял, в чем дело.

Самое ужасное, что помочь ему я не мог никак! По радио то и дело говорили о репрессиях, о дурдомах. Значит, сведения кто-то передавал, но у меня не было ни одного выхода — ни на иностранцев, ни на диссидентов. Идти же по пути диссидентствующих сумасшедших, которые совали какие-то бумажки пьяным финнам или пугливым французским туристам, я не желал. Опять я носился по Москве, перепрятывал свои альбомы, прекрасно понимая, что окажусь соседом Маленкова по Серпам (т.е. Институту Сербского. — *Примеч. В.С.*) в случае, если...

Через несколько месяцев позвонила Лена и, плача, сказала, что завтра суд. Мы пришли с Лешей Немчиновым к зданию Мосгорсуда на Каланчевке. Уж не знаю, на что рассчитывали гебисты, окружая здание милицией и людьми в штатском. Что негодующая общественность, собравшись толпой, пойдет на штурм суда, чтобы отбить арестованного?



Негодующая общественность в числе двух хмурых и подавленных личностей прошла внутрь, причем нам предложили показать паспорта. К нам подошла Лена. Заплакала, увидев нас:

— Адвокат сказал, что он отсидит пять лет. Скорее всего, в дурдоме...

В фойе я увидел нескольких собутыльников Маленкова. К нам они не подходили, держались поодиночке, беспрерывно курили.

Я никогда не видел, чтобы у здоровых, крепких мужиков так тряслись руки.

В зал суда нас не пустили. Вышла заплаканная Лена и сказала, что так и вышло, как адвокат сказал. Советские психиатры поставили диагноз: вялотекущая шизофрения, и гуманный советский суд направил больного на принудительное лечение. Свидетели подтвердили все, что говорили на следствии.

Пять лет он будет «лечиться»! Самого Владимира Ильича на суде не было — он уже был признан «сумасшедшим» и во время своего суда находился в Лефортово.

Маленков был отправлен в Казанскую СПБ. Он рассказывал, что политических там было меньше половины, а остальные — уголовники, по тем или иным причинам попавшие на излечение. Был, например, татарин, который убил свою жену, отрезал голову и сварил ее. Был молодой человек, который перелез через ограду Американского посольства с целью выехать в США. Он был напоен кофе, заверен, что его дело рассмотрят, и благополучно выдворен за ворота, где его и повязали.

Был какой-то лидер истинных коммунистов-ленинцев, который организовал ячейку для свержения неправильного строя. Был приверженец Албанской модели социализма, который уверял, что только Энвер Ходжа (тогда злейший враг социализма, ревизионист и наймит китайских гегемонистов) выведет советский народ на правильный путь. Он упорно стоял на своем, несмотря на все применяемые средства — укрутки в мокрые холщовые простыни, уколы и таблетки. Приезжала из центра очередная медкомиссия. Расспрашивала больных. «Выздоровливающими» считались те, кто отказывался от своих взглядов. Приверженец Албанской Идеи был несокрушим, как скала. Это давало возможность комиссии и дальше держать пациента под строгим наблюдением, с интенсивным «лечением». Санитарами были зеки-уголовники, врачи же были в основном садисты или тихие пьяницы. Владимир Ильич мог вспомнить только одну приличную женщину, которая, похоже, понимала, что она творит, и мучилась от сознания

своего бессилия. Потом она исчезла, может быть — уволилась. Из врачей запомнилась своей подлостью очень красивая сексуальная стерва, которая буквально измывалась над больными. Зеки прозвали ее Эльза Кох*. Почему на таких сук никогда не находятся свои «чикатилы»?

Одно время рядом с Маленковым обитал на соседней койке москвич Петр Старчик*. Позже, после выхода из Казанской СПБ, Петя вернулся в Москву, стал известным бардом, пел песни на стихи Цветаевой, Гумилева, Мандельштама. В СПБ Старчик попал за распространение антисоветских листовок. Одно время тогда, по недосмотру карательных органов, в «Детском мире» продавалась гэдэзровская детская типография, в набор которой входили резиновые буквы русского алфавита. Купив несколько таких «типографий», Петя на работе составил антисоветский текст и отпечатал листовки. Он сделал специальное приспособление из крысоловки с примитивным спусковым механизмом. Таких изделий было несколько. Петя заряжал их листовками, упаковывал в бумажные пакеты и оставлял в метро. Когда кто-то трогал пакет, он разрывался и листовки веером рассыпались по вагону. Судя по всему, у гебистов начался страшный переполох. Они никак не могли определить, кто распространяет антисоветчину. Не было буквально никаких следов, никаких зацепок. Была брошена вся свободная агентура, опрошены сотни свидетелей. С огромным трудом был составлен фоторобот, и только после этого, по косвенным уликам, он был случайно задержан. После обыска на работе, где была найдена детская типография, стало ясно, что враг изобличен! Конечно, он был признан сумасшедшим! Что же касается Маленкова, вину он свою не признал, перенес тяжелейшие испытания, на нем гуманные советские психиатры проверяли действие *новейшего французского психотропного препарата* (звучит что-то вроде «мотиден-депо»), закупленного за валюту, как гордо сообщила больному его лечащая «врачиха».

Он вышел через пять лет, как и обещал адвокат. Это был другой человек. Мы мало с ним общались — было трудно обоим.

Чайник же после ареста Маленкова боялся со мной встречаться. Почти все общие знакомые отвернулись от него. Общался с алкоголиками и случайными деклассантами. Он ходил в приемную КГБ на Неглинной, рассказал там обо мне все, что знал. Его слова были восприняты как бред сумасшедшего. Об этом я узнал через много лет.

* * *

За свою жизнь, помимо жен, я переменял массу радиоприемников. Цель, собственно, была одна — слушать музыку, которая мне нравится, и внимать западным голосам. За первым детекторным приемником последовал «Рекорд», потом другой «Рекорд», радиола, потом «Латвия», немецкий приемник «Лоренс», купленный в комиссионке у Планетария. Потом пошла компактная транзисторная техника...

Незабываемая сцена: на обычную комнатную антенну, на обычный «Рекорд» принимаю станцию, о существовании которой я прочел значительно позднее, в одной из гебистских брошюр о бдительности.

Шаря по эфиру, вдруг натываюсь на неизвестные позывные. И вслед за тем: «Говорит радиостанция “Наша Россия”! Наш девиз антикоммунистов — всегда с народом, всегда за народ!»

Пошла радиопостановка «Полет на Маркс». В злобном антисоветском пасквиле рассказывалось, как партаппаратчики готовили полет на Марс, с целью заброски на необитаемую планету тонны партийной литературы и переименования Марса в Маркс с целью дальнейшей колонизации.

Запомнился ярко такой момент: партаппаратчик спрашивает у пилота марсолета:

— Второй, второй, как настроение, как меня слышите?
А тот отвечает:

— Земля, Земля, слышу вас хорошо! С каждой минутой удаления от Родины дышать становится все легче и легче!

Больше, кстати, ни разу в жизни я этой станции не слышал.

* * *

Когда грянула оттепель и чистое, светлое, доброе новое искусство начало побеждать сталинские штампы, когда Никита Сергеевич в своих ярких выступлениях обрисовал нам ожидающие нас радостные перемены и советские люди, освобожденные от страха доноительства, от страха быть незаконно репрессированными, распрямили плечи и стали творить — и тогда я ни во что это не верил. Мне совершенно было неинтересно, за что ругают фильм «Три тополя на Плющихе», фильм «Высота» с Рыбниковым мне тоже не нравился, за исключением песни «Не козегары мы, не плотники». Речи Никиты Сергеевича вызвали раздражение, единственно, что радовало — они были не скучными. Постоянно он говорил что-то смешное. Особенно это было заметно в живых репортажах, скажем из США, когда вырезать его ахиною было невозможно.

Папа ящик смотрел часто. Сначала смотрел Никиту, потом Леонида Ильича. Я часто потешался над ним. Отец с палочкой, после инсульта, сидит в кресле и смотрит выступление Л. И. Брежнева. Я же, проходя мимо, не могу сдержаться:

— Опять это быдло пьяное выступает? У него сейчас брови отвалятся.

Отец горячился:

— Идиот! Да тебя посадить надо!

И ведь был прав!

Счастье, что он умер к тому времени...

Точно так же как вождей, фильмы и идеологию, я не выносил советские книги, газеты, журналы и музыку. Естественно, исключениями были те книги, которые отец получал по номенклатурному списку как положенные, — Бабель, Зощенко, Ильф и Петров, 8 томов «Тысяча и одной ночи».

Когда «Литературка» стала толстой и появились в ней «12 стульев», я подписался на нее. Музыку советскую не воспринимал ни в каком виде, кроме романсов и старых русских песен.

Мимо меня прошли все знаменитости, и я их не заметил: Бунчиков унд Нечаев, Мулерман, Великанова, Нина Дорда, Кристалинская, Трошин, Миансарова, Зыкина, Л. Лещенко, Кобзон. Раздражал Бернес. Что там могло нравиться — не представляю. Если в фильме «Два бойца» он пел якобы одесские песни, то во всей его дальнейшей творческой деятельности преобладали насквозь фальшивые сопли: «Просто я работаю волшебником», «Если бы парни всей земли» и другая подобная идеологически выдержанная пакость. То же отношение было и к Утесову. Я несколько раз был на концертах Утесова в саду Эрмитаж, при Никите, — это был правильный, отфильтрованный советский джаз, в котором от старого, легендарного, блатного молодого Утесова остался только его приблатненный говорок. Почти все песни были советские. Продаваемые тогда в Советском Союзе пластинки из соцстран были лучше и интереснее этой совмузыки. Там чувствовалось хотя бы живое дыхание. Но и эту социалистическую музыку я не слушал. Слава Богу, уже крутилась магнитофонная пленка, километрами накручивались бобины с нашей музыкой, и плевать было на всю советскую хренотень.

* * *

В 1961 году я начал рисовать самостоятельно. То есть до этого я тоже кое-что делал, но выставка в Сокольниках

дала толчок для развития моего интереса. Я обходил киоски в центре Москвы, где можно было купить разные журналы из Польши, Югославии, Венгрии. Меня интересовали в них голливудские кинозвезды и карикатуры. Иногда что-то можно было купить в книжном магазине «Дружба» на улице Горького. Там я впервые купил в польском издании альбомы американца Стейнберга* и какие-то брошюры, где были рисунки француза Топора*. Стейнберг — гениальный рисовальщик — мог двумя-тремя линиями передать характер, выявить самое смешное или трагическое. Топор, ныне покойный, несомненно, являлся первым художником черного юмора в современной Европе.

Я уже несколько раз писал, как рождались рисунки — осмысленные, выстраданные. Это напоминало приступ какой-то болезни. В голове возникала идея, которая тут же трансформировалась в готовую картину. Надо было только сесть, пока не забыл, и записать тему или сделать набросок. Иногда достаточно было взглянуть на какую-то вещь, как рождалась идея. Купил в польском магазине «Ванда» деревянную резную шкатулку, принес домой и переложил туда блок сигарет. И вдруг в голове вопрос: «А как Иосиф Виссарионович хранил папиросы?» Тут же возник рисунок: рука открывает шкатулку в виде мавзика, а там — папиросы «Герцеговина Флор».

Сидел в туалете, в руках был клочок газеты. На одной стороне было фото голосующего Брежнева, на другой фото Ленина — с ладошкой у головы — верной дорогой идете, товарищи! Осталось только соединить две стороны, и получилось: внизу Брежнев голосует, вверху Ленин, и лозунг, а Ильич палец у виска крутит!

Шли с Чайником где-то у Красных ворот и в помойке наткнулись на кипы необычных журналов. Это были журналы для слепых, отпечатанные выпуклым шрифтом. Обложки были обычные, для зрячих. На одной был Ленин — номер оказался юбилейным. Тут же появился слепой Ленин, и родилась тема: «Слепые все видят!».

Советская жизнь постоянно подкидывала сюжеты, самые невероятные. Достаточно было мне достать «Устав караульной службы», как тут же рождались сексуально озабоченные часовые рубежей нашей родины. Бабы, которые выходили из-под моего пера, были довольно противные. Видимо, травмированный очередным разводом мозг противился тому, чтобы женщины получались привлекательными.

* * *

Сначала я делал рисунки на отдельных листках. Они мялись и, поскольку делались на тонкой бумаге, могли затеряться. Я стал покупать большие листы мелованной бумаги, складывать ее пополам и брошюровать. Переплеты делал сам. В альбоме получалось около 200 страниц. Обычного формата. Часть рисунков я наклеивал, другие рисовал непосредственно в альбоме. Не все получалось хорошо, приходилось где-то вырывать страницы, подклеивать другие. Таких альбомов было сделано девять — до бегов. В бегах еще два. Альбомов этих нет. Есть только какие-то копии, негативы, фото, зачастую очень неважного качества. Счастье, что есть современная техника, позволяющая исправлять безнадежно, казалось бы, испорченные копии. Помимо этого, в бегах было сделано много отдельных работ, которые тоже позднее исчезли. Остается надеяться, что все это не испарилось и лежит где-то, дожидается своего часа.

* * *

С Ленькой Прудовским* мы познакомились в школе рабочей молодежи № 51, где оба учились. С тех пор дружили. Леня, царствие ему небесное, умер несколько лет назад. Это был верный человек. Иосиф говорил, что это мой прихлебатель. Ленька мне всю жизнь помогал чем мог. Очень помог мне, когда я был в бегах, я через него

держал связь с внешним миром. У него никогда не было ни копейки, положение не изменилось и в годы перестройки, все так же был гол как сокол. Когда Прудовский повзрослел, он перезнакомился с многими известными людьми из мира прессы, телевидения, эстрады. Не знаю чем, но он сильно раздражал разных знаменитостей. Может быть, тем, что хотел быть с ними на дружеской ноге.

При жизни я его всячески гноил, высмеивал, обижал. Он от меня много натерпелся. Теперь гноить некого. Леня скончался в 1997 году. Таких преданных людей рядом нет.

* * *

В ШРМ № 51 шли выпускные экзамены. Перед зданием школы столпилась большая группа выпускников. Через дорогу находилось некое большое медицинское учреждение, обнесенное высокой решеткой. В какой-то момент толпа повалила вдруг к изгороди, и оттуда донесся возмущенный женский голос:

— Совести у вас нет! И не стыдно? Чего вылупились? Идите отсюда!

Я, естественно, протиснулся к изгороди и увидел: по аллейке сестра в белом халате везла коляску. Она быстро удалялась от нас, но я успел разглядеть, что кресло было широкое, и в нем сидело существо о двух головах, а откуда-то из-за спины поднималась вверх третья нога...

Сочинение по литературе, может быть под впечатлением увиденного, я написал очень хорошо, получив, кажется, пятерку. Я выбрал свободную тему и писал про что-то современное — благо Никита Сергеевич часто выступал и все время призывал нас следовать курсу правильного «изъема», быть современными и убежденными борцами...

Интересно, как жизнь вдруг делает поворот, и воспоминания оживают. Уже в Берлине, через много-много лет после описанного, я говорил с одним эмигрантом, и он

мне рассказал, что в то время находился в том институте и видел это существо много раз. Это были две сросшиеся девочки, которых невозможно было оперировать и разделить. Гуманная советская медицина оставила их в институте на долгие годы.

Я долго находился под впечатлением увиденного и написал рассказ под названием «Совершеннолетие». Там речь шла об уроде с двумя головами — у каждой из которых «собственная мысль, определяющая ихнее действие». Головы зовутся Коля и Саша Зернов. Одна учится на пятерки, а вторая так себе, шалтай-болтай. Наступает совершеннолетие. В отделении милиции участкового Штанова мучает дилемма: давать каждой голове по паспорту, поскольку две головы, два разума, или же дать только один паспорт, потому что ног только две. Участковый привозит Колю и Сашу в отделение, к начальнику — пусть он и вручает, ему видней, один или два документа. Начальник подходит к голове Коле и ласково гладит ее. Голова Саша обижается и выхватывает из кармана скальпель. Но участковый Штанов ловко перехватывает руку преступного существа и выкидывает коляску за дверь.

Потом возвращается в кабинет и обращается к начальнику:

— Разрешите доложить!

— Ну!

— Так что, нападение с оружием на представителя власти. Холодное оружие. Тут одной 206-й статьей не отделаешься! Как хвилеватому, конечно, срок могут и не дать, но в дурдом определить...

— Ну!!

— Давай таким паспорта! На экспертизу его надо, товарищ полковник!

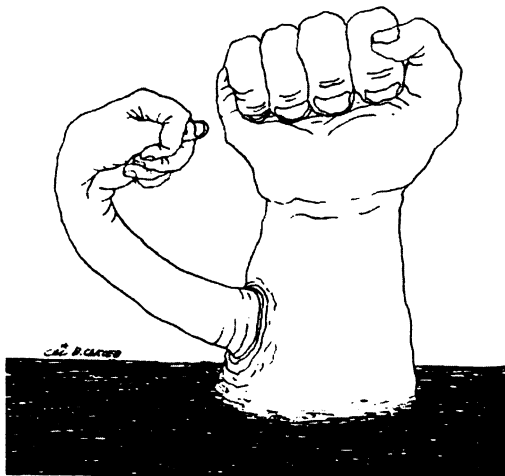
— Ну!!

— А потом посмотрим, что будет...

Впоследствии, когда схожих рассказов накопилось много, я их переплел в черную коленкоровую обложку. Называ-

лось это все «Совершеннолетие». Когда пришли с обысками, то забирали все, чего коснулась моя рука, — бумаги, документы, обрывки бумажные с телефонами. Черную самодельную книжку тоже унесли. Интересно, что ни разу потом, ни на одном допросе, она не фигурировала. Не придали значения? И слава Богу! Значит, я не был никаким антисоветчиком.

Сейчас думаю, может, надо было тогда начать писать и познакомиться с соратниками по литературным новациям. Ну — не получилось! Извините. И все-таки, знаете, литераторов как-то много. Художников значительно меньше.



* * *

Возникает, товарищи, вопрос: почему я не получил высшее образование? Потому что не хотел.

Что значит не хотел?

Наверное, Вольф Мессинг проглядел, и я действительно больной, с какой-нибудь манией величия Сталина.

Думаю, что все-таки нет.

Доказательство.

Чем ты более высокое образование получаешь, тем ты больше *от них* зависишь. Должен испытывать какое-то смутное чувство благодарности — они обо мне так заботятся, много лет стипендии платят, учат, лечат бесплатно. Оглянуться не успеешь — как тебя в партию примут. А там пошло, поехало.

Пред Родиной вечно в долгу...

Я потому и не пошел учиться, не хотел им всю жизнь быть должным.

Я получил редкую профессию, которую не каждый может освоить. Мне было совершенно плевать на их идеологию. Меня, кстати, в их партию никогда и не приглашали. Даже билетики спортлото не всучивали во время аванса и полочки. Я работал руками и чуть-чуть головой. Этого было достаточно, чтобы быть на хорошем рабочем счету. Я совершенно не хотел отдавать свои мозги и полученные в их институтах знания с марксистской подливкой, просто было стыдно.

Я понимаю, что в Стране Советов не было таких специальностей, которые совсем не приносили бы им пользы.

Даже если бы я работал гробовщиком или служителем крематория, я все равно подчинялся бы советским законам, должен был иметь трудовую книжку, профсоюзный билет и подписывать раз в год «социалистическое обязательство». Впрочем, поскольку все познается в сравнении, мне думается, что, если бы я по идейным соображениям пошел в Высшую школу КГБ (а я бы ее окончил очень хорошо, не сомневаюсь), я принес бы им неизмеримо больше пользы, чем работая макетчиком в художественном комбинате.

Это, товарищи, не снимает с меня вины! Я должен был распространять листовки, поджигать райкомы, писать на стенах «Слушайте Голос Америки» — но человек слаб и жалок, тварь дрожащая, простите мне.

* * *

Рассказ маньяка

«Это дело, порнографию, я давно люблю. У меня уже несколько тыщ фото. Начал собирать после XX съезда. Теперь решил сам фотографировать. С бабами у меня неважно, не знаю как подступиться. Тем более уговорить фотографироваться. Мне один мужик рассказал, приехав с юга, что там пляж есть, бабский, где голышом загорают. Потом мне еще кто-то сказал, что да, есть такой пляж, говорят, даже два. В общем, все узнал и этим летом съездил. Мне сказали, что близко не подойдешь, увидеть могут, но если в горы подняться, то можно все разглядеть, только далеко. Я по магазинам ходил, объективы посмотрел к “Зениту” и понял, что не потяну — денег тогда на юг не хватит. Присмотрел я монокуляр, половинку бинокля. Пришел с аппаратом в магазин, можно, спрашиваю, примерить, я хочу птиц в природных условиях поснимать. Ну, вроде все видно, хотя и не очень крупно. Дома я все рассчитал, как надо укрепить, а потом за две бутылки мне слесарь переходник выточил. Я когда туда приехал, в горы поднялся с севера от пляжа, собрал все, посмотрел и понял — далеко!

Тогда решил ближе перебраться, восточнее. Там все было ближе, я нашел кучу пленок, все использовал, что у меня было. Сложил все в рюкзак, стал спускаться, в это время навстречу — пограничный патруль! Вы что в горах делаете, один? Я им документы показал, путевку туристскую, паспорт. Отпустили. Еле до Москвы доехал. Сразу в ванную, заперся, проявитель-закрепитель готовы, начал проявлять — мелко, я тогда большое увеличение сделал, на пол фотобумагу положил, а увеличитель на раковину поставил. Смотри, что получилось», — с этими словами он выложил передо мной пачку фото, в центре которых располагались кружки размером с пятикопеечную моне-

ту. При большом воображении, внимательно приглядевшись, можно было в этих кружочках отыскать нечто, похожее на свиные огузки, а при очень развитом воображении — на женские тела. Но с фантазией у меня всегда было плохо, и я с негодованием вернул владельцу «порнографию», высмеяв его затею.

* * *

Рассказ о маньяке-трансвестите

Очень давно, когда я только-только начал покупать польские и югославские журналы, в которых мелькали фотографии голливудских кинозвезд, я у газетного киоска познакомился со странным субъектом. Будь я поопытнее и взрослее, я бы точно не пошел с ним домой, но он дрожащим голосом, озираясь, сообщил, что дома у него много порнографии, и он ее дешево продает. Сквозь круглые выпуклые очки на меня лихорадочно смотрел некто, которому, конечно, тогда не было определения... Жил он на Большой Дмитровке, чуть ли не в доме, где был магазин «Чертежник». Войдя в квартиру, он повел меня коридором куда-то вглубь. В первой комнате лежала старуха, встретившая нас стенаниями, с анекдотическим акцентом:

— Ты опять пгивел? Я тебе говогила! Опять! Ты плохо кончишь!

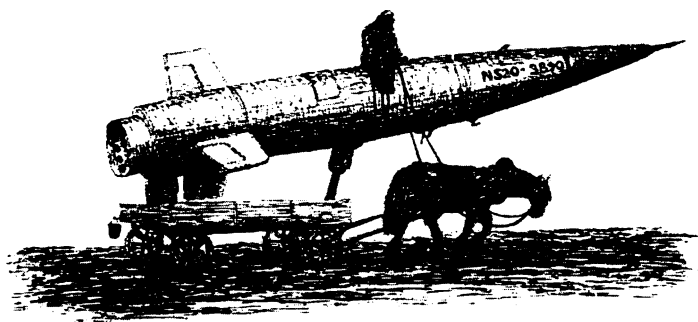
Прошли мимо и оказались в другой комнате, видимо очкарика.

Дрожащими руками он вынул ключ и открыл платяной шкаф. На газетке лежали сырые мутные фотографии. Судя по всему, это были копии каких-то французских открыток начала века. Там были ню, и только — такая там была порнография. Я заплатил, и очкарик вдруг разоткровенничался:

— Ты ко мне еще приходи! Я скоро такое наснимаю... Я уникальный способ придумал. Знаешь, внизу, у входа в

метро «Охотный ряд» туалет есть? Я туда часто хожу, присматриваюсь. Скоро уже, скоро! Я в женском отделении несколько раз был. Женщиной переодевался. У меня и парик есть. Сядешь в кабинку и ножичком в стенке, пониже, дырочку сверлишь. Мне теперь и осталось, что пленку чувствительную купить, да выдержку и диафрагму правильно выставить!

Быстрее лани бежал я оттуда, а вслед мне неслись проклятия старухи на неизвестном мне языке!



В УЧЕНИКАХ

Я работал мальчиком в подвале. До этого мне и в голову не могло прийти, что во второй половине двадцатого века, в стране, что давно освободилась от крепостного права, может быть такое.

Вообще-то меня взяли учеником в макетную мастерскую. Мастерская наша помещалась в подвале — в переулке рядом с улицей Горького. Ученичество началось с того, что бригадир Василий Васильевич сказал:

— Запомни, что здесь хозяин — я. Что ты видишь в углу?

В углу я увидел метлу и совок.

— Это твой инструмент. Пока. Остальному научишься.

Моей главной обязанностью стала уборка мусора. Каждый день я выносил на помойку два китайских бочонка с отходами производства. Рабочий день в бригаде начинался стандартно: сотрудники собирали по рублю (иногда по два), я брал кошелку и шел на улицу Горького. Водка тогда продавалась с открытия магазина. И брал я всегда пару бутылок «Московской» и бутылку красного. «Красное» — это любой напиток слабее 20 градусов. Однажды кассирша магазина, где постоянно брал я зелье, пожалела меня:

— Такой молодой, а уже алкаш...

Но я не пил. Удивительно, но за три года своего ученичества я не спился. Три года я ходил в мальчиках. Чтобы не соврать, скажу, что я стал все-таки макетчиком, а не просто уборщиком. Василий Васильевич и его помощник Аркаша ко мне хорошо относились. Аркаша — это пожилой интеллигентный еврей. Во время войны он был танкистом, горел вместе с танком. Сам смеялся: еврей-танкист — не может быть такого!

Будучи по возрасту намного моложе всех макетчиков, я прислушивался к их разговорам. Удивительно, как это люди, всю жизнь жившие при культе, сумели так быстро распуститься. После обеда бригада обычно бросала работу... Начинались воспоминания о жизни при культе.

Вступал Василий Васильевич:

— Помню, у нас в Мытищах баловали по ночам. Грабили и убивали. Я — мужик-то здоровый, но думаю — от греха надо бы уберечься. Сделал себе железный прут с кочегу, загнул ручку — и во внутренний карман пальто повесил, дырку прокрутив. Однажды иду домой с поезда — двое подходят:

— Снимай пальто.

— Пальто? — говорю. — Сейчас... Расстегнул я, это, пальто, а сам за прут. Выдернул его и — хрясь! — одного по башке! Так и расколел.

— А второй?

— Второй-то? Сбежал...

Тут кто-нибудь вспоминал вдруг, что видел вчера Никиту по телевизору. Вообще разговоры о Никите Сергеевиче были ежедневные. Никто не упускал случая посмеяться, передразнить или лишний раз обругать нашего премьера.

— Вчера-то, вчера... Я чуть не об.....ся! Вылезит этот м..... на трибуну и несет: «Уважаемый, можно сказать, друг, Джавухулар Ньюру!...»

— А рожу-то видели сегодня в газете? Со своей бл...щей снят! С похмелья не обдр...шь...

И так каждый день. Потом Аркаша ударялся в воспоминания о том, что случилось при Сталине с его знакомыми. И, обращаясь ко мне, говорил:

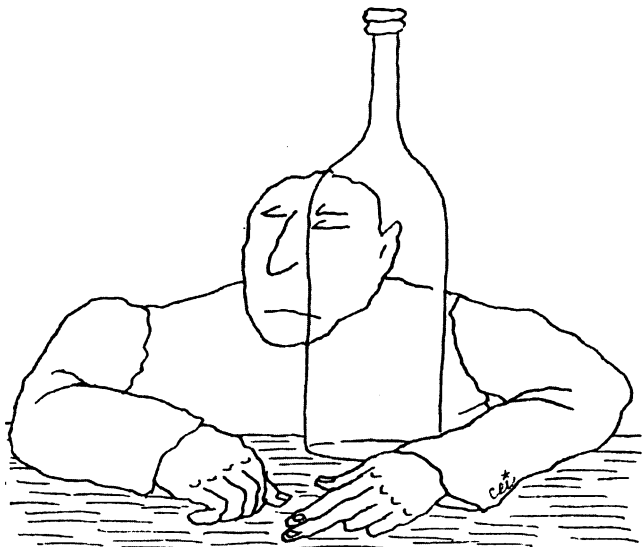
— Эх, жизнь-то прошла, себя не жалко. Что с ними-то будет?...

Однажды в подвал зашел мой отец. Газета «Труд» была в десяти минутах ходьбы от подвала. Встретила его бригада очень доброжелательно. Даже перестали на время материться. Разговор повернул от мелких наших макетных дел к государственному. Вдруг все буквально набросились на отца и стали ему выкладывать все, что наболело. И о кукурузе, и о планировании, и о кубинцах, и о египетских хлебниках... Видимо, считали, что журналист Сысоев может как-то помочь...

Точно такую же сцену я увидел лет двадцать спустя по телевизору. Была передача о недостатках. Говорили, что в одном отдельно взятом поселке, в одной области в Бурятии, в магазинах иногда чего-то нет. Вое это снимало московское телевидение. И вот на экране видны взволнованные лица бурятских жителей. Торопясь, как бы не отвели от них камеры, они громко рассказывали, чего у них нет. Сзади подлезают другие и говорят уже не только о магазине. И все торопятся, торопятся. Видимо, это телевизионное око казалось им чем-то вроде архангела с пылающим мечом, возникшего в их глухом поселке, чтобы творить суд...

Вера в печатное слово до сих пор огромна. Напечатанное типографским шрифтом завораживает и вселяет веру: ну, если пишут, значит... К десяти утра в Москве в киосках нет свежих газет. В метро, в автобусе, дома, на работе — все читают газеты. Повышающие свой идейный уровень граждане подписываются сразу на несколько газет. Дети читают «Пионерскую правду». Те, кто не выписывает ее, спокойны: «Пионерскую правду» читают в школе. Называется это — политинформация...

К сожалению, та беседа макетчиков с отцом-журналистом не принесла результатов. Отец прекрасно знал все, что ему могли сказать эти грубые представители класса-гегемона. Редакция «Труда» была затоплена хулительными письмами и жалобами. Но мог ли он вслух согласиться с Василием Васильевичем и другими, когда они ругательски ругали власть?



* * *

Отец был редактором отдела культуры. В «Труде» была внутренняя библиотека, для служебного пользования. Он мне сказал, что там есть книги, которых никто не видел, что они нужны для идеологической работы... Я долго уговаривал его принести что-то такое почитать. Наконец он принес, и, в лучших советско-диссидентских традициях, на одну ночь! Книга была на серой бумаге. На синей обложке белыми буквами было напечатано: Рене Маккол «Только что из России». Стоял порядковый номер. Книга была довольно убогая. Журналист ездил по России, где несколько лет назад был сталинский террор, посещал Украину и Грузию и делился своими мыслями об ужасной жизни советских людей и как за ним следило грозное КГБ. Никаких особых откровений и чего-то потрясшего мое воображение я там не обнаружил, о чем и сказал отцу. Он обрадовался, что мне не понравилось это пронумерованное издание. Но больше подобной литературы не приносил. Зато он принес мне книгу «Санин» Арцыбашева*, которая перед революцией произвела скандал своими сексуальными откровениями. На самом деле мне эта книга не понравилась тоже, потому что там *ничего такого не было*, а было лишь описание страстных желаний не помню кого — то ли гимназистки, то ли дамочки одинокой... Самой непристойной фразой, считавшейся, видимо, и самой смелой в те годы, была такая (цитирую, естественно, по памяти): «Хотелось еще и еще этой боли, этого бесстыдства, этого наслаждения»... Естественно, в те годы не только смутное описание дефлорации считалось верхом неприличия, но и обычные медицинские термины. В библиотеках были вырваны или замусолены до дыр страницы в энциклопедиях на словах «аборт», «беременность», «половые органы».

Шли годы, страна все более удалялась от сталинской эпохи, а отношение к сексу оставалось таким же. Гондоны, которые ученые люди называли «кондомами», лежали

в аптеке в уголке (подходить и даже смотреть было стыдно!). Рядом лежали блестящие колпачки. «Маточные колпачки», — прочел я однажды на этикетке. Рядом находилось что-то матерчатое, с ремнями. Называлось это пугающе — суспензорий. Еще из запретного — вождельного. Среди школьников тогда ходила легенда, что во французской комедии «Скандал в Клошмерле» были вырезаны какие-то сверхпорнографические куски. В трофейном же немецко-австрийском фильме «Девушка моей мечты» с Марикой Рокк якобы лично по указанию самого Сталина, были вырезаны порнографические кадры: Рокк купается в бочке.



Заявляю со всей определенностью: клевета и домыслы. Приехав в Германию, специально полтора часа глядел на Марику Рокк в этом фильме и не обнаружил того, о чем мы мечтали когда-то! Мечта была, бочка, может, тоже была, но, чтобы такая кобыла залезала с такими ляжками в бочку — не было такого! Прекрасно, кстати, понимаю, почему Марика Рокк пользовалась такой любовью и популярностью сначала в Германии и Австрии, а потом в России! Потому что, товарищи, и солдаты и офицеры любят в бабе

тело, чтобы было за что взяться! Комплексы, товарищи. Фрейд.

* * *

Настоящей порнографии в художественных фильмах быть не могло. Ну, а если фильм делался по порнографическому произведению — тогда да. Но фильм уже не был художественным.

В закатные годы «изъема», перед появлением видео, в Москве стали организовывать просмотры абсолютно запрещенных фильмов. Делалось это за деньги, естественно, и впоследствии организаторы просмотров доблестными чекистами были схвачены и осуждены.

На одном из таких просмотров я побывал. Фильм назывался «Тихие дни в Клиши», экранизация книги Генри Миллера. Просмотр шел в небольшом клубе. Недалеко от меня сидели какие-то женщины из клуба, обслуживающий персонал.

Когда переводчик перевел в микрофон первые слова песни, звучащей с экрана, женщины сзади охнули.

«О, эти тихие дни в Клиши, когда в природе все цветет и ликует, а воздух пахнет женскими половыми органами», — прогундосил он. Вслед за этим во весь экран были показаны две жопы, раскачивающиеся причиндалы и процесс соития. Переводчик в темноте зрительного зала гундосил специально — чтобы, в случае чего, не могли опознать.

Дамочки сзади стали громко восклицать:

— Боже, что это!

— Ой!..

— Нет, это невозможно!

Я думал, что они сейчас встанут и уйдут. Не тут-то было!

Весь фильм анонимные актеры трахались, менялись, снова трахались, в ванной, в постели, на природе, и весь фильм сидящие сзади своими выкриками высказывали свое отрицательное отношение к сексу на экране. Они так

и не ушли. Советское ханжество, как справедливо отметил в своем отчетном докладе Борис Ельцин, не имело границ (шутка).

Мать купила в своем министерстве брошюру популярного профессора-сексопатолога — об извращениях и принесла ее мне. Я так и не понял — в целях профилактики, что ли? Потрясение у меня вызвали первые страницы этой книги...

«Коммунистическая партия и Советское правительство делает все, чтобы здоровье советского народа»... И далее — «Н.К. Крупская, беседуя в 1921 году с женщинами-работницами...»

Переходя к самим извращениям, например гомосексуализму, профессор предупреждал: «...В нашей стране, победившей неграмотность, болезни, темноту, нет места массовым фактам половых извращений, в том числе и гомосексуализму. Другое дело на Западе. Массовая безработица, безудержная эксплуатация, расовое неравенство толкают людей на...»

Процитировал приятный отрывок, и сразу вспомнился текст из брошюры о подрывных действиях ЦРУ, о Радио «Свобода». Там было сказано: «Время от времени, крутя ручку радиоприемника, можно услышать голос на русском языке, который расхваливает жизнь на сытом Западе и рассказывает об ужасах “советского тоталитаризма”. Это, конечно, радиостанция “Свобода”, вещающая на русском языке и других языках братских республик.

Но советский человек, как только на эту станцию настроится, так тут же от нее и отстраивается — невозможно воспринимать этот поток клеветы, инсинуаций и злобы».

Мы часто с Иосифом повторяли эту фразу, после неудачного кадрежа: «Как только настроишься, так тут же и отстраиваешься».



* * *

По младости лет и совковому восприятию действительности иногда я вел себя просто отвратительно. Сколько лет прошло, а помню, как сейчас: пошли с Бириним, моим тогдашним знакомым, прошвырнуться по «Броду». Был теплый летний вечер. Выпили в парадном. Море по колено. Кадриться не хотелось, хотелось подраться. На Манежной у остановки стоял человек в темном пиджаке. Мужик не обращал внимания на наш пьяный хамский гогот. Потом мы стали его задирать. Он стоял, отвернувшись. Еще более осмелев, мы стали его толчками гнать от остановки. Мужик повернулся к нам, и я заметил, что на правой руке у него черная перчатка. Меня буквально пронзил стыд. Я Бирина оттолкнул и стал гладить мужика по правой протезной руке, униженно и горячо прося прощения... Больше я никого в жизни так не оскорблял и не надирался. Чувство стыда за тот вечер и сегодня не ушло.

* * *

У Иосифа никогда не было ни проигрывателя, ни магнитофона. Зато у него всегда был радиоприемник, а иногда и два. Он их покупал очень дешево на Садовой, в радиокомиссионке. Это были старые ламповые гробы, прибалтийские, сталинских годов, и даже немецкие, «трофейные».

Иосиф изучил все диапазоны и знал, где и когда можно выловить что-то интересное. Бывало, найдет место, где радио «Свобода» слышно без глушителя, звонит мне и говорит: «Включи “чачу” на 31,7». Замечательная была конспирация.

Музыку чаще всего он слушал на средних волнах. Самой популярной станцией была «радио Люксембург». Радио «Београд» тоже передавало много западной музыки. Ночью на длинных волнах звучал американский джаз, было слышно очень хорошо, но это была не совсем наша музыка. Все-таки у нас был уклон в сторону рок-н-ролла.

Первым моим рабочим приобретением был магнитофон. Вернее, приставка. Это сооружение ставилось на вертушку проигрывателя, рядом стоял усилитель, и звук шел через радиоприемник. Кассеты были маленькие, минут на 10—15. Свою коллекцию записей я начал с того, что у кого-то переписал самые первые песни Окуджавы. Качество записи было, конечно, очень посредственное. Вслед за приставкой я поменял много магнитофонов. У меня был «Дзинтарис», «Яуза», «Днепр», «Астра», новая приставка «Нота», много позднее — «Маяк». Вся эта техника была ненадежна и выдавала звук, далекий от совершенства.

Году в 1961—1962-м у меня появились первые записи Высоцкого, которого мы слушали, конечно, по многу раз. По нашему тогдашнему бескультурью, мы были уверены, что все песни написаны самим Высоцким. Никаких сведений о нем нигде не было, и только его голос и наша фантазия рождали образ какого-то блатного хрипатога раздолбая, которому море по колено.

Между прочим, уже в те годы существовал подпольный музыкальный бизнес. Лично я несколько раз платил деньги, чтобы иметь записи более-менее приличного качества. Зато и чувствовали мы себя более продвинутыми. Бывало, придут ко мне три-четыре человека, с кем можно говорить свободно, не опасаясь, достанешь бутылку югославского вермута «Неретва», да как врубишь Элвиса! Или Джерри Ли Льюиса, или Армстронга! В компании почему-то больше слушали западную музыку, а на русском — в одиночестве или с дамами...

На русском — это значит пели по-русски, но исполнители были западные. Потряс наше воображение Теодор Бикел*, которого я прокручивал по многу раз, впитывая цыганско-русский фольклор американского происхождения. Мама однажды, услышав его голос, спросила: «Что за пьяный мужик поет?» Я обиделся, конечно. Но у родителей своя дорога...

* * *

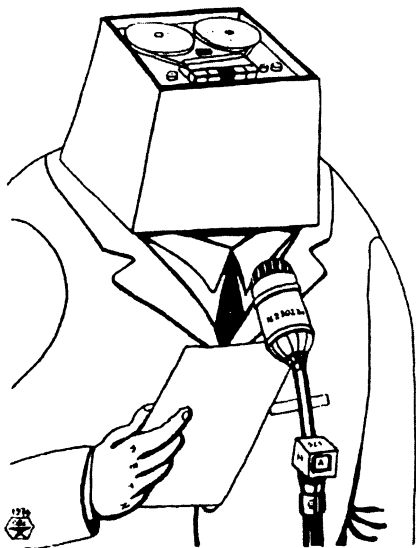
Голос и песни Высоцкого я услышал тогда, когда начали ходить его первые «хулиганские» пленки, а самого его живьем видел, кажется, один раз. Я ехал в троллейбусе по Хорошевке. На повороте к Ваганьковскому кладбищу я услышал впереди какой-то шум. Сцена, которую я увидел, запомнилась на всю жизнь. Два мужика по-моему, под градусом, я видел только их затылки — задирали военного, сидящего перед ними. Малиновый от унижения худой военный шипел от бессилия и злобы. Один из сидящих, с вздутыми жилами на багровой от напряжения шее, тыкал в спину военного и громко, на весь троллейбус, хрипел: «Капитан, никогда ты не будешь майором!»

Вид у двоих сидящих был опасный. Пассажиры хранили молчание. Отводили глаза.

Песню В.С. о капитане, который никогда не станет майором, я услышал только через полгода и сразу вспомнил тот случай...

Несколько раз был после этого на Таганке, был на «прогоне» двух премьер, слышал, как Любимов рычал на актеров, но все не попадал на Высоцкого.

Позднее, когда стал общаться с иностранными гражданами, довольно часто бывал в доме у Габриэля Меретика*, корреспондента французского радио и телевидения, где Высоцкий бывал с Мариной Влади, где бывали многие другие полузапретные личности, но и там не довелось встретить В.С. И с Александром Галичем пришлось познакомиться только заочно, в 1989 году, на кладбище в Сен-Женевье-де-Буа.



* * *

Все записи, начиная с самых первых, переписывались по несколько раз. Что-то сохранилось и сопровождало меня всю жизнь. Они и теперь при мне. Некоторые вещи Бикела хранят какие-то загадки, которые я до сих пор не

могу разгадать. Ну, например, он поет «карасо было люблятца» — совершенно очевидно, что это искаженное «хорошо было влюбляться». По-цыгански, что ли? Вся песня по-русски, и вдруг — «карасо». В другой вещи, среди вполне разборчивого текста, вдруг звучит:

«Эх, марксизма, эх, чума
В парня девка влюблена».

До сих пор мучаюсь в догадках — при чем тут основоположник «изма»? По крайней мере, у меня этот кусок всегда ассоциируется с Марксом, а не с влюбленной девкой.

Потом появились другие, те, кого помнили родители и кого мы практически не слышали. У меня появились Лещенко, Вертинский, Козин и Константин Сокольский.

Конечно, Лещенко мы где-то, когда-то на патефоне, у соседей, по несколько вещей слышали, но тут дело было серьезное — это уже была какая-никакая коллекция, пусть и примитивная. Между прочим, мне, оказывается, уже столько лет, что могу кое-чем гордиться: я в сознательном возрасте был на концерте Вертинского.

Юра Фонштейн, мой приятель с детских лет, сосед по Большому Каретному, позвал меня на разрешенный, но неафишируемый концерт. Год был 1954-й или 1955-й. Сталин умер, но дело его жило. Никаких объявлений на здании клуба, где-то за Новослободской, конечно, не было. Зал был полон. Я обратил внимание, что публика была какая-то... ну, скажем, отличавшаяся от той, что лузгала семечки. Это невооруженным взглядом было видно. Вместе с тем не было там истеричек, так называемых «козловитянок» и «лемешисток», которые рвали своих кумиров на части в Большом театре.

Вертинский пел в абсолютной тишине, и только после того, как смолкал последний аккорд, раздавались благодарные аплодисменты. Лет через десять я увидел в кино, кажется, старшую дочь Вертинского, красавицу Марианну*. Чувство гордости охватило меня! Знаете почему? Ни за что не догадаетесь. Когда Вертинскому, после много-

численных унижительных просьб к советскому правительству, было разрешено вернуться в СССР, у его жены, родившей девочку, пропало молоко. Мать, работавшая тогда в Минздраве, помогала достать для Марианны грудное молоко.



* * *

Первая жена Людочка (по-милицейски — сожительница) появилась у меня в 1960 году. За давностью лет уже не помню подробностей знакомства. Помню, что девушка была из подмосковного поселка. Часто приезжала в Москву, и, конечно, ей очень понравилось у нас на Ленинском проспекте. Людочка была первая девушка, которую я фотографировал в обнаженном виде на пленку.

Фото было сделано на гэдээровском диване, застеленном клетчатым пледом. Девушка она была вольная, то у меня жила, с молчаливого согласия родителей, то уезжала, по ее словам, домой, в поселок, к маме. Я Людочку довольно много фотографировал и, конечно, не мог уследить за всеми фотографиями, которые тщательно прятал, чтобы они не попались на глаза родителям.

Однажды, в отсутствие моей жены (сожительницы), к нам в дом явился участковый. К папаше, как к человеку правильному, он относился с полным доверием, звал его Числав Михалыч. Он показал отцу пачку фотографий, и я, к своему ужасу, разглядел из-за плеча свою продукцию — сожительницу Людочку, снятую на гэдээровском диване на клетчатом пледе. Диван стоял у милиционера за спиной.

— Числав Михалыч, вы сожительницу сына узнаете?

— Да.

— Вот ведь сука какая!

— А у вас откуда эти снимки?

— Да из области прислали, из ее поселка. У нее брат младший, он с ней пособачился, а перед этим снимки нашел, стырил, значит, и в милицию принес — чтобы насолить.

Участковый спросил:

— А как вы думаете, где ее могли сфотографировать в таком виде и кто?

— Понятия не имею, — ответил отец.

Посетовав на упадок нравов, милиционер распрощался и ушел. Мне он не задал ни одного вопроса.

Зато я задал несколько вопросов своей жене (сожительнице), когда она вернулась неизвестно откуда, заявив, что приехала из поселка, где жила, и ничего не знает ни о каких фотографиях. История эта кончилась ничем, и это хорошо. Это значит, что я остался тогда вне всяких подозрений, как честный и порядочный сын уважаемого Числав Михалыча.

С Людочкой мы позже расстались. Я ее объявил персонай нон грата, мне не нравились ее неуверенные ответы на вопрос, где она ночует. У нее была подруга из поселка, Нина, которая несколько раз была у нас дома вместе с Людочкой. Нина, я думаю, тоже не всегда могла ответить на вопрос, где она ночевала.

Однажды она с Людочкой передала мне в подарок набор своих фотографий в обнаженном виде. Я их внима-

тельно рассмотрел и пришел к выводу, что мои фото лучше. Не пойму, в поселке этом тогда центр секс-индустрии был, что ли?

Все фото Нины я честно вернул жене (сожительнице), когда она уходила. А что сделал с фотографиями Людочки — не помню. Может, уничтожил в целях конспирации?

* * *

Как раз тогда, когда я был перманентным учеником у Василия Васильевича, случилось мне познакомиться с Маргаритой. Замечательная была девушка — волоокая, большая, белая, мягкая, общительная. У меня было первое чувство второй любви. Наши встречи происходили на нейтральной территории, поскольку в хрущевской стране, казалось, все делалось, чтобы молодые люди не могли полностью расслабиться. Пусть это и не специально происходило, но бесконечные проблемы с укрытием от посторонних глаз отравляли жизнь. Выход из положения нашелся неожиданно. Вечерами я встречался с Маргаритой в центре, мы покупали что-то в магазине «Грузия» и шли через дорогу, в переулок, в подвал. У меня был ключ от мастерской. Тщательно занавесив окна и приперев ломом дверь, мы сидели за верстаком, выпивали и закусывали. Утром, за час до работы, я приводил все в порядок, уничтожая следы разврата от бдительного ока Василия Васильевича, и выводил Маргариту на улицу. Так длилось довольно долго. Однажды меня чуть не застучали. Я еле успел выйти из подвала и тут же столкнулся с кем-то, кто раньше пришел на работу.

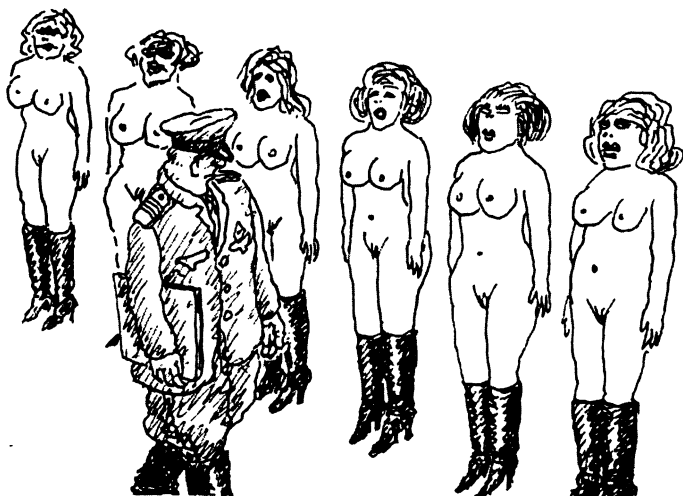
В общем, однажды я привел Маргариту домой и объявил родителям, что это моя жена. Время я выбрал не совсем удачное. Я пришел домой около часа ночи. Родители давно спали. Они вышли из своей комнаты и увидели меня с большой белой женщиной. Я объяснил, почему оказался дома с ней.

Папа, будучи в нижнем белье, патетически протянул в сторону Маргариты руку и произнес:

— Катя, он привел проститутку!

Я страшно обиделся и в первый (и последний!) раз покрыл родителей нецензурной бранью. Это произвело на них такое впечатление, что они ушли к себе.

Через несколько месяцев они уже души не чаяли в Маргарите. Мама утверждала, что я недостоин ее. Маргарита, действительно, была хорошая, добрая, покладистая. Верная подруга, она бы меня никогда не выдала, не стала бы кричать, как некоторые другие жены, что расскажет, чем я занимаюсь...



Пришел однажды к Чайнику, а он мне говорит, зная, что я сейчас временно свободен, то есть скорблю по брошенной жене, еще не найдя ей эквивалент:

— Поехали на Лодочную улицу.

Я говорю:

— Это же на другом конце, на берегу Москвы-реки вроде. Чего туда ехать?

— Там бабы хорошие. Я недавно закадрил одну ночью на Горького, сегодня ей звонил, она с подружкой нас ждет. И бутылок не надо. У них все есть.

Ехали мы туда с Иосифом бесконечно долго. Метро, потом трамвай, холодный и пустой.

Наконец добрались. Звоним. Открывают. На пороге две шмары. Я никогда не видел настоящих профур, ну таких, как в советских фильмах выводят, — в революционной, мол, Одессе собирались налетчики и их шмары...

Челюсти у них были щучьи, зубы железные, а лица...

Нет, давайте о чем-нибудь другом...

«Девушки» пригласили нас за стол.

Там действительно стояла выпивка и закуска.

О чем мы говорили и говорил ли я вообще — не помню. Иосиф быстро наклюкался, как малопьющий человек, стал хохотать, ходить по комнате, громко говорить.

Я его сумел на секунду в другую комнату втащить:

— Слышишь, Иосиф, гадом быть, отсюда лянть надо. Таких красивых мне не надо. Добром это не кончится. Ты их зубы видел? Это зечки вчерашние. Они с нами такое сделают... Главное, как в коридор выйти незаметно и пальто взять...

В этот момент Иосиф увидел на письменном столе штурманские авиационные часы и стал немедленно записывать их во внутренний карман пиджака.

— Ты что делаешь? — зашипел я. — Вычислят, найдут и зарежут!

Иосиф сник, поставил часы на стол, и нам незаметно удалось свалить из дома.

Много лет потом, когда кто-то из нас говорил «Лодочная улица» или «Штурманские часы», мы начинали криво улыбаться.

* * *

Сегодня выяснилось, что все не любили советскую власть и всех она преследовала. Это заметно по мемуарам знаменитостей — от балерин до поэтов-лауреатов. Странно как-то слышать подобные заявления. Если бы мы были какими-то беспмятными алкашами — одно дело. Но как в это поверить, если прекрасно известно, и есть тому документальные свидетельства, как эти самые страдальцы от советской системы вовсю пели ей песни любви, причем пели, как акыны: постоянно, громко и сладко.

Меня, дорогие товарищи, больше как работника идеологического фронта волнует вопрос — за что мы в нашей компании не любили советскую власть. По прошествии стольких лет я должен внести уточнение: мы ее, скорее, презирали. Видимо, в первую очередь за ее хамские попытки влезть в душу к каждому, потоптаться своими сапожищами по нашим неокрепшим душам. Поскольку советские партийные хамы не имели никакого представления о свободе, они с наивностью дикарей навязывали свои «изьмы» всем, будучи по-советски уверенными, что их беспрекословно послушаются или, на худой конец, испугаются. Почему-то мы должны были любить советское убожество во всех его видах — в фильмах «оттепели», в полотнах «соцреалистов», в стихах о Родине и партии, в песнях советских композиторов и в моделях советской обуви, штанов, пальто, уродливой мебели.

Лично я, дорогие друзья, поддавшись по молодости лет на провокационные призывы, ходил в кино на советские фильмы. В сталинские годы я пересмотрел многие советские фильмы. Я оправдываю себя тем, что был молод, глуп и неотесан. Но вот наступила пора взросления, и что же? Я, хотя и не так часто, еще иногда продолжал ходить в советское кино, просматривая попутно перед очередным шедевром еще и тошнотворные «Новости дня». Все их выпуски начинались одинаково: партийные упыри встречали в

аэропорту какого-нибудь верного сына каннибальской партии труда. Потом показывали тех же упырей, которые на том же аэродроме, махая шляпами, провожали какого-нибудь Верного сына и Мужественного борца в цветастой юбке.

Когда я увидел потрясший советскую интеллигенцию своей «искренностью» и «глубоким идейным содержанием» фильм «Сорок первый», чувство тошноты стало моим шестым чувством. Эти советские актеры с молодыми и красивыми лицами вызывали только сострадание. Я никак не мог понять — почему я должен был восхищаться советской дурой, которая сначала спасла белого офицера, а потом убила его. Точно так же и белый офицер — Стриженов был для меня воплощением соцреалистической гадости. Собственно, по-советски, все это и игралось — с патетикой, с советским надрывом — порывом. Нет, наше настоящее кино было другое.

...Мы с Чайником сидели в кинотеатре «Москва» на «Земляничной поляне». Треть зала минут через пятнадцать вышла, ругаясь и оглушительно хлопая откидными сиденьями. Остальные сидели в оцепенении, вот это и запомнилось тогда на всю жизнь. Иногда идеологи партии давали какие-то промашки, и мы смотрели настоящее кино — молодого Феллини, Бергмана, фильмы с Фернанделем, Тото, Альберто Сорди. Москвичам вообще везло гораздо больше, чем всей стране. Достаточно сказать, что у нас на Котельнической набережной был «Иллюзион». Он, кстати, и сейчас существует. Ну, а если кто не знает, что это такое, то и расшифровывать бесполезно.

Книжки (не самиздат и не тамиздат!) тоже можно было «достать», причем любые, были бы деньги. Поскольку отец вышел на пенсию, он перестал получать список книг для советских чинов, мне приходилось крутиться среди книжных жуков. Обитали они по воскресеньям в центре Москвы, передвигаясь почему-то между Лубянской площадью и памятником Первопечатнику. Часто происходили ми-

лицейские облавы, и в следующее воскресенье книжники вдруг оказывались где-нибудь на Ленинских горах, скача по склонам от милиции, будто горные козлы, или где-то в Сокольниках, на каком-то пустыре.

Странно, но факт: в Москве было одно место, где можно было совершенно свободно купить альбомы с «абстракционизмом» и «модернизмом», которые так громили партийные дубы. В букинистическом на улице Качалова можно было купить и Поллока, и Дали, и других мэтров. Стоили эти настоящие западные издания немалых денег, но они были в свободной продаже.



В МАИ я проработал года два, официально — чернорабочим.

Странное это было место. Я работал во втором, моторном, корпусе. Работа заключалась в том, что я должен был делать вид, что чем-то занят. Делать было абсолютно нечего. Я маялся от безделья, искал себе применение. Курилки

были полны с утра. Рабочие, техники, инженеры, аспиранты и прочие, обитавшие в этом корпусе, покурив в одном месте, часто переходили в другое. Начальство курило в ином, недоступном месте. Вся работа в этом корпусе считалась «секретной». Бралась подписка о неразглашении. Я спросил однажды у рабочих, в чем заключается секрет. Мне пояснили:

— Секрет заключается в том, что профессор Кошкин хочет стать членом-корреспондентом. Он сейчас занят важным изобретением: устанавливает, сколько можно воды в керосин добавлять, чтобы двигатель работал.

— Ну и как успехи?

— Отличные! Скоро моторы на одной воде будут работать!

Одновременно с разгильдяйством и полнейшим пофудизмом царил культ доносительства и стукачества. Я свои взгляды не очень-то скрывал, чего мне было терять, работая за 69 рублей в месяц?

Мастер, которому я подчинялся, постоянно одним ухом был повернут в мою сторону. Вывод был сделан однажды, и вывод горький:

— Не наш ты человек, Сысоев!

Ну, не ваш, не ваш. Я после шекспировских интриг и внутренних склок перевелся в фотолабораторию. У меня появилась своя комната с красным фонарем, в которой я и проводил большую часть времени. К этому времени через знакомых был приобретен самый хороший советский приемник тех лет — «Спидола». Он стоял у меня в лаборатории, и целый день я слушал то музыку, то Биби-си, которое тогда, кажется, временно не глушили, то «Свободу» — если сержанты, как в нашей компании шутили, опять нажрались и спят, или сапоги чистят...

Кончилось все это счастье в один миг. Молодой партайгеноссе, начальник Дима, которому необходимо было проявить рвение, решил всех «ненужных» отправить по разнарядке «на картошку». Естественно, я оказался в их числе. Я

ему объяснил, что моя зарплата — это не та сумма, из-за которой стоит выполнять такие требования начальства. Я тут же написал заявление об уходе, которое было подписано, и через несколько дней я был свободен.

Так я и не понял душу советского человека. Все эти аспиранты, работяги, техники, над кем беспрерывно издевались, затыкая ими всякие дыры в советской экономике, они же получали, ну, на 10, 20, в лучшем случае, на 40 рублей больше меня. Чего они так тряслись? Почему никогда не отказывались от субботников с воскресниками, от поездок «на базу», «на картошку», «на капусту»? Боялись вообще потерять работу? Но в СССР не было безработных.

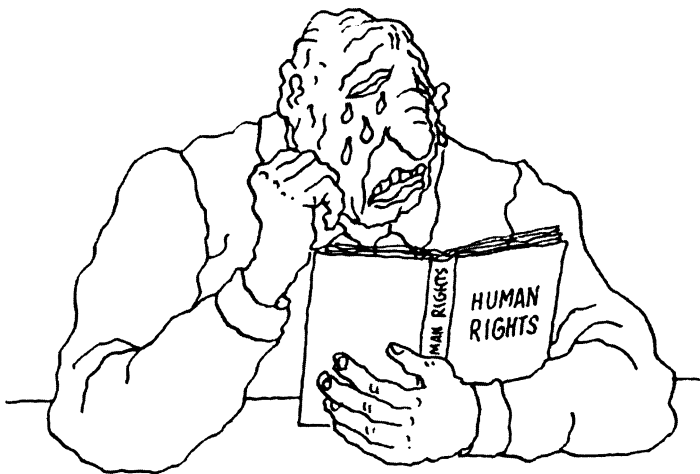
* * *

Я, товарищи, хотя и являлся военнообязанным, в армии не служил. Был освобожден по причине слабости. Потом, однако, после хрущевской эры, в военкомате усомнились, что я такой слабый. Военком вызвал меня к себе, с омерзением посмотрел на меня, на мою прическу, на «белый» билет и разорвал его. Вскоре я загремел на сборы. Определили меня в химики-дегазаторы, в часть, которая была где-то за Царицыно.

На сборы было собрано человек сто, со всей Москвы. Были случайные клиенты, вроде меня, были те, кто сознательно косили от армии, были сумасшедшие. Остальные были отсидевшие уголовники.

Замечательное, друзья, было зрелище, когда сержант весь этот московский сброд выстроил в шеренгу, чтобы товарищ майор мог с нами познакомиться. У кого-то вылезал живот. Кто-то был с бодуна. Блатари переговаривались друг с другом, синяя наколками, выясняя, кто где «отдыхал» и какой он масти. На следующее утро сержант появился со здоровым фингалом — видимо, кто-то из наших поучил его, чтобы не возникал. А он и не собирался — наоборот, вечерами стал пить водку с блатарями. Я быстро

сошелся с Лешей Немчиновым. Леша — художник, надежный, замечательный человек. Мы с ним записались в гарнизонную библиотеку и брали читать что-то умное. Старшина наш сразу это заметил и заподозрил, что мы евреи.



— Все люди как люди, — с досадой говорил он мне, — а вы ходите все, трясете своими книжечками... Не русские, что ли?

Понятное дело, с такой репутацией мы карьеру сделать не могли, и нас регулярно посылали в наряды на кухню — мыть посуду. Вдвоем мы должны были вымыть посуду на весь полк. Я придумал рационализацию, как быстро проворачивать миски в теплой воде. В результате стопки мисок выглядели на вид чистыми, но были такими липкими, что, перевернув, их можно было поднимать, прижав к ладони.

В те годы, которые из нашего смутного времени кажутся счастливыми и беззаботными, в армии процветало такое же воровство, как и сейчас. Своими глазами видел,

как дежурный по кухне офицер с красной повязкой заходил в кладовку и отрезал огромный кусок от беззащитной говяжьей туши. Другие товарищи офицеры приходили на кухню «снимать пробу» — делали они это регулярно, с удовольствием и не из общего котла. Поскольку мы были для них рабочей скотинкой, они сурово учили нас жить, но только словами — поскольку мы были не салаги, а молодые мужики, и Лешина мускулатура и кулаки не оставляли сомнений, кто кого может по-настоящему «поучить».

Товарищи офицеры жили рядом с частью, держали свинок и, поскольку отходов было много, неукоснительно требовали от нас сбрасывать их, отходы, в огромное свиное корыто. Мы приказы начальства честно выполняли. Нам было гораздо приятнее находиться на кухне, чем изучать противогаз и защитный костюм.

Для полного кайфа офицерским свинкам мы подбирали ржавые советские лезвия «Нева», которых много валялось на территории части. Может, это кажется варварством, но, во-первых, мы знали, что лезвия эти схавают персональные офицерские свинки, и, во-вторых, мы были твердо убеждены, что желудок советских свинок переварит и не такое. Нам очень не нравилось пребывание в рядах советской армии. Советские офицеры презирали нас, случайных двухмесячных солдат, и мы отвечали им тем же. Перебирая площадки, я напевал Леше текст песни «Товарищ Сталин» и других замечательных песен, которые пел молодой Высоцкий. Леша, тонкий, образованный человек, от восторга бросал миски в потолок и потом пинал их ногами.

По воскресеньям приезжали наши жены, красивая жена Леша и волоокая белая Маргарита. Привозили с собой литровую бутылку болгарского вермута «Винпром» и домашнюю еду. Все это тут же, в леске недалеко от части и уничтожалось.

Позже, уже к концу сборов, наш майор, узнав, что мы рисуем, засадил-таки меня с Лешей за работу. И мы рисо-

вали поучительные, апокалипсические картинки о радиации, дегазации и дезактивации. Картинки делали цветные, используя тушь и акварель, а сверху бумагу покрывали подсолнечным маслом. На просвет это выглядело как старый раскрашенный пергамент. Очень это понравилось майору, и он с большой неохотой с нами расстался.

* * *

История, говорят, не знает сослагательного наклонения. Кто его знает, хорошо это или плохо? Судите сами. После военных сборов мы с Лешей подружились. Нашлось много точек соприкосновения: нелюбовь к советской власти, интерес к запрещенным книгам, к кино, любовь к живописи. Леша в свое время был исключен из тбилисской академии художеств за «преклонение перед импрессионистами».

Встречаемся мы как-то с Лешей, и он начинает спрашивать меня о новостях, что, мол, в мире нового, кого посадили, сослали, у кого из диссидентов устроили шмон. У Леши, несмотря на то, что из Тифлиса уехал очень давно, не было радио, по которому можно было, приложив ухо, слушать врагов мира. Ухо надо было прикладывать, чтобы разобрать что-то сквозь глушители.

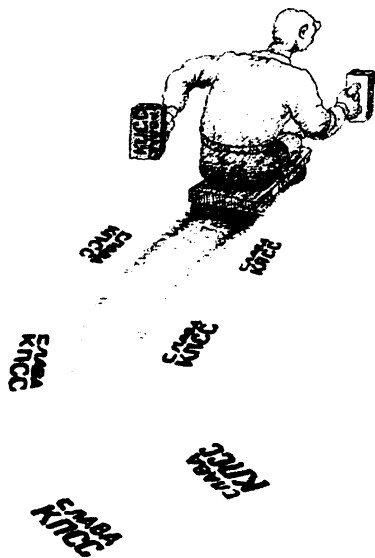
Иосиф однажды сочинил:

Гудят, гудят глушители,

Свободы удушители...

Так вот, Леше ухо не к чему было прикладывать, да и, вообще, слушал он классическую музыку на ужасном советском проигрывателе, любил свою жену Элю, импрессионистов, но, несмотря на высокие эстетические запросы, интересовался все же окружающим миром. Я ему выкладывал полную информацию, соединив клевету Би-би-си и «Свободы» в одном лице: был суд над Синявским* и Даниэлем*, они сделали то-то и то-то, их нашли, сатрапы, разоблачили, они вину свою не признали, их все равно

осудили. В газетах бешеная советская кампания: уничтожить гадов! «Я их пасквилей не читал, но знаю!» Ожидается всплеск выступлений на Западе антисоветчиков. Можно ждать провокаций ЦРУ, власовцев и недобитых полицейев. Диссиденты могут активизироваться. И так далее.



Вдруг Леша хватает меня за рукав:

— Синявский?!!

— Синявский. Кажется, Андреем зовут, отчество забыл.

— Я его спасал!

— Как — спасал?!

Леша рассказывает:

— Поехал с женой на Оку, расположился на берегу, палатку поставил. Только ужинать сели, с реки истошный крик:

— Помогите!

Леша работал в литейном цехе завода Войкова, толкал вагонетки с раскаленным шлаком. Спортивный, физи-

чески очень крепкий и смелый, рабочий Леша Немчинов бросился в реку и через какое-то время оказался на берегу с позеленевшим бородатым интеллигентом. Они долго сидели у костра. Уходя, профессор сказал, кто он и где работает. Профессор литературы. Леша несколько раз с ним встречался, потом по неизвестным мне причинам общение кончилось.

Леша вспомнил, как они беседовали о литературе, и понял: судили того, кого он спас.

Представим все-таки, что история вернулась в тот день, в который все случилось.

Ну, не приехал Леша с женой Элей на берег реки Оки. Или приехали бы они чуть позже. Или остановился выше по течению. Или дома, скажем, заслушался Вивальди и опоздал на поезд. Так и захлебнулся бы Андрей Донатович. И Юлий Даниэль, может быть, не стал бы передавать свои произведения куда *не надо*. Тогда и дело заводить было бы не на кого, и сажать некого! И Владимир Буковский не стал бы писать лозунг «Свободу Синявскому и Даниэлю!». И его не посадили бы потом в лагерь и в дурдом и не выслали бы в дальнейшем из страны, поменяв на неведомого Корвалана. И диссидентское движение, которое тогда, после ареста двух писателей, выросло как на дрожжах, как будто декабристы не только разбудили Герцена, но и напоили его самогонкой, могло пойти в другую сторону.

И не было бы Александра Галича, самиздата, может, все ограничивалось бы чтением стихов Анны Ахматовой, и не было бы Польши и Чехословакии, и даже агрессивные силы НАТО не стали бы такими агрессивными, и Брежнев не сажал бы диссидентов в дурдома, и не пришел бы Андропов, дрожащей рукой успевший только взяться за гаечный ключ, и Миша Г., его протеже и надежда, не стал бы во главе ЦК...

Но все было, как было. И почти все советские люди вели себя хорошо и правильно. Я, например, никогда бы не вышел на люди с плакатом — было стыдно. И страшно. По-

этому я тихонько рисовал. А папа мне вскоре после осуждения двух писателей рассказал, как он сидел в проверенной компании *правильных* людей, и гебешник ему поведал, как их вычислили.

Рассказ из вторых рук:

Долго не знали, как подступиться. Никаких следов не было. Сначала думали, что вообще все выдуманно и делается где-то на Западе. Подключили лингвистов. Те ознакомились с материалом и обратили внимание следователей на цитату, взятую из какого-то редкого литературного труда. Поехали в Ленинскую библиотеку, нашли книгу. И по формуляру, где было 2—3 фамилии, вычислили потенциального врага.

* * *

В нашей компании почему-то никто никогда не был комсомольцем, а уж членство в рядах КПСС могло привидеться в дурном сне. «На службу», то есть на восьмичасовую работу, ходили только Маленков и я, никто не носил ни перстней, ни усов, ни бороды, ни галстука. Самым ругательным словом было «большевик», которое впоследствии было заменено на слово «кобовик» — гибрид коммуниста с большевиком.

Водку, за исключением Владимира Ильича Маленкова, мы не пили. Когда было время и деньги, мы с Иосифом совершали обход хороших винных магазинов, заходили в Столешников, в «Российские вина» на Горького, в магазин «Таджикистан» у Белорусского, в высотку на площади Восстания, в фойе ресторана «Будапешт», в «Пекин», в «Ванду» на Петровке. За много лет мы перепробовали разные напитки, которые случайно «выбрасывались» неболь-

шими партиями в различные торговые точки. Мы пробовали «Джонни Уолкер» с черной этикеткой, а также с красной, мы пили итальянский «Чинзано» четырех сортов, мы пили много югославских вермутов, которые по вкусу почти не отличались от итальянских. Мы пили китайский мандариновый ликер, и китайскую рисовую водку «Мотай», и зеленую китайскую «Хонжу» из слив, мы пробовали замечательные чешские ликеры фирмы «Корд» и венгерский травяной ликер в пузатой бутылке «Уникум», мы пили вермут советский «Экстра», на этикетке которого было написано «изготовлено на экстракте и по рецепту итальянской фирмы “Riccadonna”». Мы пили болгарское черносмородиновое и малиновое вино, польскую «Зубровку», польский «Трианон», «Виньяк люксусовы», польский медовый «Крупник» и «Сливовицу», «Вишневку» и «Злату воду», в которой плавали золотые блестки, пили купленные в гастрономе выетки «Украина» «Зубрівку» и «Горілку з пірцем». Мы пили «Оранж Кюрасао», давились гадостной водкой «Falcken-Jaeger» из ГДР, пили кубинский ром «Баркарди», а также ром «Матусалем» 15-летней выдержки, пробовали английский «Гордон джин», французский коньяк «Реми Мартэн», датский ликер «Cherry Heering», «Токай шамородни», роскошный югославский ликер «Мараскино». Кроме того, мы пили вьетнамский лимонный ликер, от которого потом раскалывалась голова, завернутый в мешковину прекрасный кубинский «Triple Sec», прибалтийские ликеры «Кянну Куук». «Паланга», «Старый Таллин» и «Rigas Melnais balsamas», болгарский ликер «Мастика» крепостью в 47 градусов, китайское белое вино «Шефу», белый и красный румынский вермут «Zarea», 50- и 56-градусную советскую водку.

Однажды мы пили коллекционное французское вино 1941 года... Все это стоило не очень дорого, даже по тогдашним деньгам, но мы не спились! И это несмотря на то, что никакого контроля над нами не было... То есть: выпивали (что попроще), скажем, советский итальянский вер-

мут где придется, а хорошие напитки употребляли исключительно дома, под Элвиса Пресли и бесконечные рассказы Чайника о его похождениях. Можете себе представить, как я относился к *сотрудникам* на работе, которые употребляли только напиток за 2.87, стоивший потом 3.62?

Однажды, в свой день рождения, я решил научить коллектив макетчиков, как надо правильно пить. Купил две больших бутылки уникального датского ликера «Cherry Heering» и вечером, после работы, разлив понемногу по стаканам, пытался прочесть краткую лекцию. Слушать меня не стали, долили стаканы доверху и выпили одним махом. Посмотрели на меня, обматерили, обозвали евреем...

Для объективности замечу, что два раза в жизни я был пьян до беспамятства и ничего хорошего в этом не нашел...



Этот рисунок был сделан за
несколько месяцев до смерти Хрущева

* * *

У нашей компании были разные творческие замыслы. Хотели снять авангардистский фильм, я даже купил любительскую камеру, Леша Немчинов написал сценарий для Иосифа как для главного персонажа, но расхлябанность и лень вынудили нас эту идею похерить. Потом мы с Маленковым решили делать журнал, но и тут не вышло. Может, это и к лучшему. Мы как-то разговаривали с Игорем Губерманом* о тех годах, и он сказал мне:

— Старик, ты был не единственный, который хотел это сделать. Хорошо, что ты эту идею не воплотил, а то неизвестно, где бы ты был после...

Так что я занимался рисованием, выклеиванием альбомов по современному западному искусству и фотографированием нехорошей литературы, которую приносил в избытке Ленька Прудовский.

А Леша Немчинов потряс нас своим трудолюбием — он *от руки* переписал весь «Раковый корпус», который уместился в двух амбарных книгах.

Вопрос: почему мы не выходили на других людей из параллельных миров? Боялись? Не знали как?

Одна попытка кончилась ничем. Наш знакомый, только что кончивший МГУ, рассказал о каких-то интересных сборищах в здании старого МГУ и предложил туда поехать. Мы и поехали вместе с Чайником и еще одним знакомым. В одном из корпусов сидела шумная компания, которая, как нас заверил знакомый, знала, что мы придем. Вместо того чтобы послушать для приличия хозяев, а потом уже сказать что-то умное, мы с порога начали нести околесицу. Называли мы с Иосифом друг друга «товарищем капитаном» и «товарищем майором», молили чушь про диссидентов, в общем, выпендривались как могли... Наверное, свое смущение хотели скрыть. Ну, и результат, конечно, был обратный — студенты хмуро на нас смотрели, переглядывались, и мы, чувствуя себя лишними людьми, гордо

удалились. Не всем нравятся шутки про «товарищей майоров», не все адекватно такое воспринимают.

ГРЯЗНЫЕ ХАЛАТЫ

В своей жизни мне приходилось встречаться с великими людьми. Беда в том, что гении эти до сих пор не знают, с кем они общались. Общение было односторонним. Всегда в грязном серо-черном халате, в гипсе и стружке, я представлялся перед великими зодчими и скульпторами. Никто из них не запомнил меня, не знал фамилии. Да и действительно: стоит ли запоминать работяг, что подворачиваются под руку?

Вот наступает утро трудового дня. Я — в макетной мастерской ВПХК (Художественного комбината). Открыв дверь собственным ключом (я бригадир, мне положено иметь ключ), окидываю взглядом помещение. Все ясно. Вчера, уходя домой, предупреждал своих — пейте не на работе, что у вас, места нет, что ли? Ничего не помогает. На самодельной циркулярной пиле стоят улики: бутылка из-под водки, три бутылки из-под красного. В свертке аккуратно завернуты кусочки хлеба, сыра, колбасы. Убираю все это в огромный шкаф. Появляются по одному сотрудники. (Подозрительное слово — но как еще назвать тех, с кем бок о бок работаешь много лет?) Хмурые. Я чувствую, правда, что им легче здесь, чем где-нибудь в других макетных мастерских. Можно громко орать, давая выход сдерживаемому напряжению. Можно выпить и уйти. (Я вычеркиваю в таком случае несколько часов работы из табеля.) Можно делать так называемую халтуру, то есть то, что нужно для дома, или то, за что получаешь деньги на стороне. Кроме всего, полная свобода высказываний: можно плести все, что угодно! Такая свобода, что и в Гайд-парк ехать не надо. Включаю приемник. Ловлю поляков. Де-

вать утра. В Варшаве семь часов, музыка только западная. Польское радио очень помогает проводить рабочее время. А в 15 часов кто-то настроится на «Голос Америки», и до конца работы время пройдет незаметно.

Итак, сегодня нам надо закончить два маленьких макетика. Только-только начинаем работать, только завизжала циркулярка, плюясь осколками оргстекла, изрыгая дым и вонь, как открывается дверь и вбегает скульптор Никогосян*. Рев смолкает. Все приготавливаются смеяться. Не в лицо, конечно. Никогосян — великий человек. Великий армянский московский скульптор. Он давно понял, что кавказский акцент незаменим как в общении с администрацией художественного комбината, так и с рабочими — прокладчиками, формовщиками, макетчиками. Всегда, когда нужно, можно сделать вид, что чего-то не понял. На улице зима, поэтому Никогосян вбегает в распахнутой дубленке. Под нею свитер, ярчайший, и синие американские штаны в обтяжку, они же джинсы. На голове седые кудри. Никогосяну лет шестьдесят. Глаза горят. Гений, что с него взять?! Прямо сейчас из «Жигулей» — и сразу к Сысоеву. Сколько я раз видел до этого Никогосяна? Раз двадцать. И каждый раз он меня путает: то я Вова, то Коля, то Витя. Не то что фамилию, имя не знает. Да и зачем ему?

— Слюшай, Игор, дарагой, горю, панимаешь?

— Что случилось, Николай Багратович?

— Завтра парасмотр, сикульптур исделать надо, пастамэнт надо! Сикульптуру внизу делают, а ты пастамэнт сделай, да?

— Николай Багратович, у нас много работы.

— Все знаю, Коля, все панимаю. Завтра камыссий придет из министерства, панимаешь? Горю! Ну, дарагой, исделай, пажалуйста. Все заплачу, как надо, панимаэш?

Кто может отказать в такой страстной просьбе великому скульптору? Договариваемся. Откладываем свою работу. И (вот мы какие молодцы!) — завтра уже наступило — мы тащим сооруженный постамент наверх, в какой-то за-

пасник, где сейчас состоится просмотр. Господа в иностранной одежде, чиновники министерства культуры, члены комиссии, наше начальство... В грязных своих одеждах, уверенные в себе, мы бойко ставим постамент на тумбы, устанавливаем на нем очередную гипсовую модель Вождя, изваянную Никогосяном. Смотреть на все это страшно. Я искоса наблюдаю за гением. Он ничуть не тушется. С уважением глядит на свое детище. Рядом крутится молодая смазливая бабенка. Все обтянуто, что нужно. Так и чувствуется, что под одеждой она совсем голая. Кто-то из начальства спрашивает у нее: «А вы откуда, уважаемая?» Никогосян подбегает: «Это со мной! Мой сэкретарь!»



Секретарши и натурщицы меняются у Никогосяна очень часто. Те из нас, кому приходилось работать в роскошной двухэтажной мастерской Никогосяна, видели его гарем. Наложницы по одной, а то и несколько сра-

зу, обслуживают гения на его Парнасе. Только что пальм не хватает. Рассказывали мне, что один этаж занят у великого Нико скульптурами и бюстами вождей собственного изготовления. Вводя посетительниц, он небрежно бросает: «Это для дэнэг!» После ведет на второй этаж, где стоит все остальное. «А это для души, понимаешь?» — объясняет он, нежно обнимая за плечики очередную наложницу...

Мы скромно уходим к себе, в предвкушении «халтурной» мзды. Часа через два вбегает Никогосян.

— Приняли, Николай Багратович? — любезно интересуюсь я.

— Канэчно, приняли, — кричит он. (Пусть попробуют не принять!) — Слюшай, Сэргей! (Это мне.) Ты энаэшь, сэмя у меня какой?

— Какая же, Николай Багратович?

— Сэмя у меня большой, дачу рэмонтировать надо, внук забалэл, понимаешь?

— Нет, Николай Багратович...

— Дарагой Игор, денег сейчас нет, понимаешь? Совсем нет, горю! Вот тебе, только нашел!...

И Николай Багратович сует в карман моего засаленного халата... три рубля. В присутствии всех.

Надеюсь, не надо описывать реакцию сотрудников. Их выражения...

А вот встреча с еще более великим... В сопровождении свиты администрации нашего комбината — уверенно и напористо входит к нам сам Лев Кербель*. Почему-то кличут его в народе Парафиновый Нос. Администрация угодливо разворачивает принесенные Кербелем чертежи.

— Кто главный? — спрашивает деловито Парафиновый Нос.

— Вот, Слава, — показывает на меня начальник.

— Посмотри чертежи, Слава.

Я смотрю.

— Справишься?

— Отчего же не справиться...

- Понял, что это?
- А как же. Будущий памятник на Малой земле.
- Понял, кто смотреть будет?
- Понятно...
- Чтобы все было, как конфетка, понял?
- А как же...

И мы сооружаем крутой берег, и море, и маленький постамент с крохотным бюстом. Одним словом, Малую землю в том виде, в каком она будет потом восславляться в прессе, по телевидению. Несколько раз приезжает Кербель. И даже помнит, что бригадира зовут Слава. С каждым его приездом я чувствую, что он все более доволен. Наконец все готово — вылизано, покрашено, протерто. Кербель приезжает с несколькими «дубленками». Все в восторге! Есть из-за чего: кто-то наговорил, что тут работают дилетанты и алкаши, — и вдруг все видят прекрасно выполненный макет! Кербель благодарит всех. Жмет руку. А через несколько дней от него приезжает мальчик и привозит бутылку коньяка...

Приходит Исаак Бродский*. Это очень тихий, вежливый, воспитанный и застенчивый человек, скромно одетый. В большом скульптурном зале, рядом с нашей мастерской, всегда стоят его фигуры вождей. Они зеленые; их делают (или прокладывают) из глины — в натуральную величину. Исаак всегда имеет прекрасные заказы. Он подходит ко мне, и мы договариваемся, что за неделю наша бригада сделает ему макет. Тоже для какого-то просмотра. Макет сделан. Бродский очень доволен. Сотрудники договариваются с шофером, перевозят в мастерскую Бродского желанную игрушку. И там происходит следующее. Макет сгружают. Бродский жмет руку и говорит:

- Спасибо, ребята. До свидания.
- А деньги? — говорят плохо воспитанные ребята.
- Видите ли, ребята... Сейчас у меня нет. Через неделю я приеду к вам и все отдам. И очки я сегодня свои потерял, вот несчастье...

Бродского все знают как очень порядочного человека. Спокойно работаем неделю. Вдруг кто-то из наших видит его в коридоре. К нам он почему-то не заходит. Посылаю сотрудника спросить о сумме, да не в лоб, а как-то так, исподволь. Возвращается гонец.

— Вот сволочь какая!...! — матерится он.

— Что случилось?

— Да говорю ему, как с долгом, не забыли? А он мне отвечает:

— Я же вам отдал, когда макет привозили, вы что, ребята?

Опускаем руки и разеваем рты.

Видел я у нас и Эрнста Неизвестного. Надеюсь, Эрнст мне простит, что я помещаю его в галерею самых известных советских делег. Эрнст получил возможность участвовать в конкурсе. Пришел в Художественный комбинат. Несколько недель мы делали Эрнсту макет: рельсы, рельсы, полосы — все висит в воздухе, а над этим парит какая-то фигура. Макет был сделан для конкурсного просмотра памяти 1905 года.

После того как все было закончено, Эрнст щедро выложил своей здоровой пятерней солидную сумму. Кто-то тут же слетал в магазин. И вечером, когда комбинат опустел, мы всей бригадой сели с Эрнстом пировать. Эрнст разошелся и, когда все осушили, послал в магазин еще раз. А после — плакал, жаловался, кричал, что жизни нет, что Никита все ему поломал... Проект Неизвестного не прошел, конечно.

Может, кто-то подумает, что симпатии и антипатии рабочих прямо равны той сумме, которую выдают на выпивку великие? Ничуть не бывало! Сколько раз я слышал, с какой издевкой и матерщиной отзывались о щедрых гениях сотрудники! Беда всех этих дубленочных гениев в том, что они не хотят спуститься до нас. Они искренне верят, что своими многометровыми побрякушками войдут в историю... Впечатление о персонажах, здесь описанных, мо-

жет сложиться не очень лестное. Заметна некоторая ехидность автора, может, даже цинизм.

Совсем другой пример. Вот к нам входит Слава Буякин. Его так и зовут — Слава. Всегда, когда он заходит в мастерскую, мы бросаем работу. И не потому, что он сейчас даст на бутылку (на две, на три) — это всегда происходит. Просто этот человек вызывает расположение своей улыбкой и нормальным отношением. Слава как-то рассказывал нам о памятнике, который обули... Он сделал для Тулы Льва Толстого. Нормальный соцреалистический памятник. Идет граф Толстой по пашне. Босой. А руки засунул под веревку, что толстовку перепоясывает. Государственная комиссия смотрела памятник и осталась довольна. Все выдержано в духе. И вдруг кто-то спросил: а почему он босой? Объяснили. Комиссия посоветовалась и решила — нет, нельзя! Необходимо обуть! И обули. В сапоги.

Слава Буякин умер в 1975 году от разрыва сердца. Я не буду больше писать о скульпторах. Их другая жизнь мне неизвестна. Можно, конечно, вспомнить многое. Как Вучетич из ревности разбил свой огромный аквариум. Как Томский* делал модель саркофага... Я остановлюсь. Не буду обвинять гениев в зазнайстве. Им свойственно все, что свойственно смертным: и гордыня, и жадность. Да и рабочие, что постоянно трудятся над их заказами, не святые. В конце концов, никто не обязан поить кого-то за счет своего гонорара. Правда, на этот счет мне вспоминаются слова одного остроумного камнереза. Он всегда спрашивал у заказчика перед началом работы:

— Вам как сделать — хорошо или бесплатно?

Не я один, в своем грязном халате, так болезненно воспринимал отношение к нам со стороны великих мира сего. По отдельным замечаниям, репликам и жестам я видел, что все всё понимают и чувствуют. Может быть, желание не делать ничего бесплатно, требовать за все мзду — и есть то, чем пытаются уравнивать себя в социальном плане грязные халаты? В конце концов, они нас заставляют чув-

ствовать себя где-то на нижней ступеньке, так пусть за это и расплачиваются. Хотя бы деньгами.



Комментарии 20 лет спустя

В жизни я совершил три нехороших, подлых или трусливых поступка:

В Доме пионеров на Петровке я украл катушку от детекторного приемника. Был тут же пойман и изобличен. Захлебываясь слезами, я умолял, чтобы позвонили бабушке. Она пришла быстро, благо Страстной бульвар был рядом, и увела меня. Больше я никогда не ходил в Дом пионеров.

Когда я стал взрослым и обзавелся женой Маргаритой, я вел себя грубо, некрасиво и неблагородно. Я постоянно подозревал ее в измене, вел себя ну просто как Сталин с Аллилуевой и через восемь лет выгнал ее из дома. Уходя, она сказала: «Не будет тебе с новой счастья».

У нее был ребенок от другого человека, и мне было совершенно плевать на девочку, я абсолютно не интересовался, как она живет, что ест. Денег я Маргарите не давал. Работала она чертежницей в КБ.

В 1968 году, за месяц до вторжения в Чехословакию, администрация Художественного комбината согнала всех на митинг. По бумажкам партийцами зачитывались какие-то речи об угрозе контрреволюции в Чехословакии. Приняли резолюцию: гневно осудить, отвергнуть, не допустить!

Я сидел в рабочем коллективе и покорно, как баран, проголосовал со всем стадом за «гневно осудить и не допустить!».

Придя домой, от бессилия, позора и ненависти нарисовал несколько картинок, дав выход эмоциям.

Больше я никогда не ходил на подобные митинги.

* * *

Так получилось, что мы с Чайником никогда не отмечали дни рождения, мало того, именно в эти дни, а также на все большевистские праздники я звонил ему и специально говорил всякие гадости, чтобы испортить настроение. Исключением был, пожалуй, Новый год и День Победы, 9 Мая. Ко мне, понятно, он не имел отношения, но и доводить приятеля не имело смысла. Мы с Иосифом пошли как-то в этот день погулять, как мы говорили, на блядей поглядеть, себя показать. Народу на улицах почти не было. Гремела музыка из репродукторов, все было красно от флагов и транспарантов. Никакого веселья не наблюдалось. Люди шли в гости с тортами в руках. Настроение у нас было так себе, мы бесцельно пошатались по улице Горького, свернули к «Детскому миру», спустились к площади Ногина. По пустынной площади неслись, отдавая эхом, марши и песни советских композиторов. На самой пло-

щади была сооружена эстрада. Она была ярко окружена прожекторами. На эстраде некто, кого называли тогда мас-совик-затейник, а теперь, по-моему, кличут ди-джей, орал что-то веселое в микрофон.

Какие-то темные тени одиноко стояли под эстрадой, не реагируя на призывные вопли веселиться. Шульженко в репродукторе запела про синий платочек... Перед эстрадой, в лучах прожектора возникли две тетки. На пиджаках у них были приколоты награды. Обе были поддатые. Низко пригибаясь и почти упершись лбами, распластав руки, как крылья, они толклись на месте, подпрыгивая и приседая. Настроение у нас было окончательно испорчено. Мы ушли, и я сел в метро. А Иосиф пешком, как всегда, пошел домой.

* * *

Иосиф по натуре человек добрый. Любит делать подарки. Однажды, заметив, что мне нравится его девушка, блондинка, остроумная и любящая *это дело*, подарил ее мне. Конечно, это было сделано не как на Кавказе.

Спросил меня:

— Она тебе нравится?

— Да.

— Ну и возьми ее, а то я устал от нее. А я лучше Дылдой займусь.

Девушка Иосифа периодически со мной общалась и не отвергала мои ухаживания. Да что там, не отвергала!..

Она имела на голове старательно уложенную прическу по имени «Бабетта», происходящую, понятное дело, от единственного фильма с Брижит Бардо, который показали советским людям, — «Бабетта идет на войну». Эта прическа укреплялась при помощи лака для волос. Иосиф возмущался:

— Слушай, она такая дура! Ложится в постель, а голову над подушкой держит и вообще о том только и думает, чтобы прическу не попортить!

Я при Иосифе, однажды, потрогал ее за «Бабетту» со словами: «Мне сказали, что вы туда чулки для формы за-пихиваете, дай проверить!» Проверка не вышла, я чуть по морде не получил! Целомудренные, товарищи, были тогда времена! Девушка живет с Иосифом, скоро будет со мной, а до головы дотронуться не дает! Я придумал и сказал Иосифу, как это ханжество преодолеть. Всего-навсего надо было незаметно подкрасться к жертве сзади, когда она начинает расслабляться и снимать верхнюю одежду, резкими движениями взлохматить прическу, впиваясь сзади губами в шею. Тут и крики и ругань и пощечины не помогут — пропала «Бабетта», а с ней и целомудрие! Эту идею воплотил в жизнь Иосиф, а в дальнейшем и я.

О Боже, бедные мои жены, бывшие спутницы жизни! Чтобы случайно не травмировать их, не буду писать, когда это было...

* * *

Когда мы с Чайником шли гулять, у нас была как бы цель — закадрить кого-то. Это была игра, чтобы прогулки были осмысленные.

Иногда все-таки эти игры воплощались во что-то реальное. Помню, в Александровском саду мы подошли к двум девушкам и начали разговаривать. Девушки оказались братскими иностранками, чешками. Сказать честно, дурами они советскими оказались, набитыми. Дело было после августа 1968 года, и все было бы ничего, если бы мы не стали ругать большевиков и спрашивать, как у них в Чехословакии дела. Тут они страшно перепугались, это было очень заметно. Обещали на следующий день прийти и, конечно, не пришли.

В один прекрасный день мы с Иосифом пережидали дождь в метро. Я заметил невероятной импозантности девушку. У нее были голливудские черты лица, платиновые распущенные волосы и удивительной красоты ноги. Я на

спор познакомился с ней за пять минут, что для меня было рекордом. Ни до, ни после я с такой скоростью не знакомился. Светочка была такая красавица, что все мужики на улице оборачивались на нее. К счастью, она не стала моей женой. Я к ней захаживал, и все было хорошо — она не предъявляла особых требований, и меня это устраивало. Бывало, заглянешь к ней с бутылкой вина и после всяких приятных моментов сидишь расслабленный, а она вдруг скажет:

— Может, в кинишко смотаемся?

— А что идет?

— Я не помню, что-то индийское, — говорила она, лузгая семечки.

Тут-то и наступало отрезвление, будто по морде мокрой тряпкой нахлестали.

Так продолжалось долго, до тех пор, пока Света не переехала в однокомнатную квартиру. Я помогал ей перевезти вещи, после чего она и высказала мне то, что вынашивала:

— Я, наконец, переехала и теперь собираюсь вить гнездышко... Выбери — ты со мной или нет. Если нет — до свидания. — В этом благородном начинании я был ей не попутчик. Вить семейное гнездышко, склеивая его сладкой индийской слюной, — это было выше моих сил. И я сказал: «Прощай».

* * *

Вот и наступил, дорогие друзья, славный юбилей — столетие со дня рождения Ленина. Очень пышно все отмечалось. Меня вместе с работающей женщиной Тасей отправили от Художественного комбината в Музей Ленина, на реставрацию.

Замечательное это было место в Москве, друзья, должен вам сказать! Во-первых, музей был бесплатный. Там

было очень чисто. Были замечательные, что в твоей Германии, чистые, ухоженные туалеты. Был буфет, правда, не бесплатный. Был траурный зал, где можно было наслаждаться ужасающей и завораживающей симфонией смерти. Зал был оформлен в черно-красном стиле, просто экспрессионизм какой-то. На подушечках лежали гипсовые кисти рук, отдельно лежала посмертная маска вождя. В другом зале в режиме нон-стоп крутили документальный фильм о Ленине.

Комар* и Меламид* меня впоследствии уверяли, что голубые из скверика у Большого театра избрали кинозал в Музее Ленина местом романтического уединения — благо тепло, темно и менты не достают.

Мы с Тасей работали совсем в другом зале. Сначала стирали пыль с каких-то экспонатов. Я обратил внимание, что ни в одном зале не было ни одного оригинала — сплошь муляжи и копии. Потом перешли в зал, где хранились экспонаты, якобы из Разлива, где Владимир Ильич скрывался от преследований Временного правительства и Надежды Константиновны Крупской. Под огромным стеклянным колпаком лежали грабли, которыми Ильич для конспирации ворошил сено, жерди и рогульки, казанок, в котором он как будто варил уху.

Мы с Тасей протирали жерди. Рядом стоял главный художник музея. Ему надоело смотреть, как мы осторожно обращаемся с историческими реликвиями. Он нам сказал:

— Чего вы так возитесь?

— Да вдруг мы повредим что-то.

— Да что тут повредить можно? У нас этого добра полный запасник.

У меня будто от сердца отлегло — слава тебе, Господи, подумал про себя. А то я и впрямь стал думать — уж не настоящее ли это все...

В один из дней, закончив работу, я вышел из музея и двинулся на Красную площадь. Я дефилировал туда и обратно и увидел красивую девушку, направляющуюся с ог-

ромным чемоданом в сторону гостиницы «Россия». У нее была красивая фигура, длинные русые волосы, большие наивные глаза. Она была одета в голубое мини-платье. Разбежавшись, я с ходу познакомился с девушкой. Донес до «России» ее чемодан и узнал, что она из Риги, зовут ее Галочка и ей заказан номер в гостинице.

Мне бы призадуматься, как могут останавливаться в гостинице одинокие провинциальные девушки, но меня буквально понесло по волнам. И мы пошли гулять, а потом оказались в ее номере, где наше общение продолжалось.

Мои знакомые, узнав об этой связи, просто места себе не находили — взывали к моему разуму, пытались логически доказать, что порядочная одинокая девушка, которая приехала в Москву *просто так*, никак не может поселиться в такой гостинице. Говорили, что, если она сирота, родившаяся, по ее словам, на хуторе, и до сих пор нигде никогда не работала, тем более надо подумать...

— Да вы все мне завидуете, у вас такой бабы никогда не было и не будет! — гордо сообщал я.

Я летал на самолете (!) впервые в жизни в Ригу, заходил к бедной девочке в дом. Что-то там было странное — пятиэтажная халупа, и там какая-то ободранная квартира, набитая разным бабьем. Кончилось все скромной московской свадьбой. Не было поездки на «чайке», с лентами и пупсиками, битья посуды, не подрались мои знакомые на свадьбе. Отметили скромно появление еще одной москвички. Галочка стала полноправным членом семьи. Папа однажды увидел, как Галочка ухаживает за своим лицом, делает маникюр и педикюр. Он сказал матери (об этом я узнал после развода):

— Катя, она проститутка.

Мама страшно удивилась:

— Что ты такое говоришь, почему?

— Сейчас на дворе зима, так?

— Так.

— Зачем порядочной женщине зимой делать педикюр? Значит, она где-то бывает, кому-то ноги показывает.

Я не знаю, зачем женщины делают педикюр, особенно зимой. Но, с точки зрения советского человека, папа был, видимо, прав. Если ног не видно — зачем ногти красить? Я, кстати, так и не разгадал тайны ее рижской квартиры и ее пребывания в гостинице «Россия». Из сегодняшнего 2002 года, из другой, жестокой реальности мерещится, что Галочка была тогда валютной проституткой, советской шпионкой...

Прочь, прочь эти мысли! Ездить или летать из Риги в Москву для занятия валютной проституцией — не слишком ли накладно? А рижская нищая квартира с бабьем — разве похожа на пристанище валютных путан или шпионское гнездо? В 1989 году, в Париже, сидели мы с Галочкой в кафе. И она спрашивала моего совета, что делать: в перестроечной, но советской Риге, куда она приезжала, уже будучи французской гражданкой, ее приглашали в любимую Организацию и детально интересовались, как идет бизнес у ее французского мужа, каков заработок, на какой машине ездит, и даже какой номер машины. Естественно, я, как патриот, мог посоветовать ей только одно — немедленно обратиться во французскую контрразведку. Кажется, она так и поступила...

* * *

Галочка имела хорошую фигуру, была лишена многих совковых комплексов, поэтому мне не надо было уговаривать ее сфотографироваться на природе в обнаженном виде. Тем более что это была моя законная жена, и никого, казалось, это не должно было волновать, кроме нас.

Хорошим жарким летним днем мы оказались на берегу реки Москвы, довольно далеко от города. Только я приготовился к съемке, по старой шпионской привычке, вниматель-

но оглядевшись окрест, как неизвестно откуда явился мент. Я еле успел спрятать фотоаппарат, а Галочка накрыться полотенцем. Глаза мента горели, он жадным обыскивающим взглядом смотрел на полуобнаженную женскую фигуру.



— Тут находиться не положено,— наконец промолвил он, потя.

— Почему?

— Запретная зона. Водоснабжение...

Мы быстро собрали манатки и ушли. Собственно, что оставалось делать? Так я и не сделал «порнографические» снимки своей жены. Все случая не было, не представилось.

Интересно, что через много лет, в лагере, меня познакомили с клиентом, тянувшим срок по моей же статье, 228-й. Я поздоровался с интеллигентным, лет пятидесяти, ленинградцем профессорского вида. Знаете, как можно

было сесть за порнуху без всякой политики? Профессор у себя дома фотографировал свою жену обнаженной в разных позах. Кто-то стукнул — пришли с обыском, изъяли фото, возбудили уголовное дело, и, пожалуйста — на север, на природу, на общие работы... — исправляться.

* * *

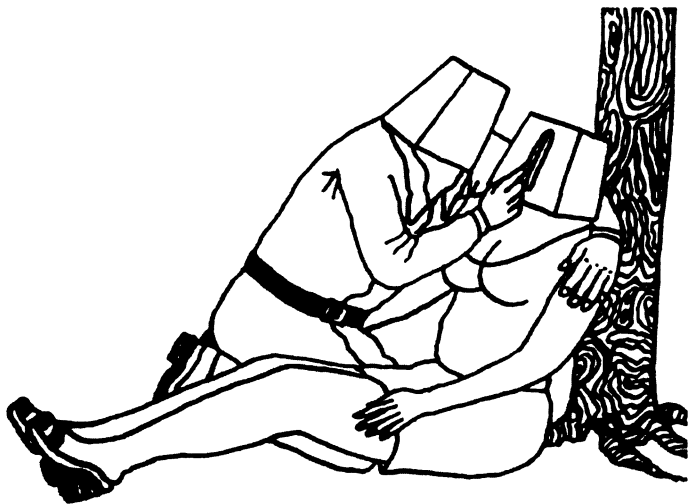
В 1970 году к столетию вождя ВОСР (это сокращение я впервые услышал от Маленкова — Вел. Окт. соц. революция) Художественный комбинат получил почетное задание: сделать модель новой гробницы для самого человеческого из вечно живых. Задание было почему-то полусекретным, якобы об этом не должны были знать посторонние. Всем, конечно, было известно, что бригада Олежека Смирнова (где я проработал много лет) выполняет ответственное задание. Главной нашей целью было создание модели для хрустального колпака и нижней части, то есть самого постамента для гробика и деталей символики: знамен, звезд, серпов-молотов, дубовых листьев с желудями, герба СССР и другой муры. Руководил этой частью работы известный скульптор Томский*, которого все звали Конским. Верхнюю часть, которая представляла собой прозрачный пуленепробиваемый монолит толщиной 50 миллиметров, отливали на каком-то секретном заводе. Нижнюю часть, отлитую в бронзе по нашей модели, увезли прямо в какую-то секретную лабораторию, где все вместе было собрано и проверено в действии, то есть во второй экземпляр бросали гранаты и поливали огнем из «Калашникова».

Изделие это под названием СЛ-70 было представлено членам ЦК КПСС и военным. От изготовителей были приглашены начальники и бригадир Олежек, от которого мы и узнали обо всем.

Его пригласили в какое-то помещение, судя по расположению, где-то под Красной площадью. У стены стояли два колпака. На одном были легкие следы от пуль. Брон-

зовая нижняя часть была отполирована до блеска. В помещение вошли упыри из ЦК (бригадир Олежек, как человек верноподданный, их фамилий не назвал), генералы охраны Кремля и Мавзолея, еще какие-то дяди в штатском. Выслушав отчет о проведенных испытаниях, все остались довольны: враг не добьется своей цели и не уничтожит мощи!

За месяц до столетнего ататуйя (помните, у Галича — «...полный, братцы, ататуй, панихида с танцами...») бригаде макетчиков дали грамоты за подписью Фурцевой* — «За выполнение специального правительственного задания СЛ-70» и небольшие премии. Бригадире дали орден, но премии не дали, чем он был очень недоволен. Томский получил очередное звание и звезду.



* * *

В нашей бригаде работал Вовка-Спортсмен, с которым у меня были приятельские отношения. Он был большой поклонник слабого пола и любил рассказывать о похож-

дениях. У метро был киоск «Овощи-фрукты», Вовка как-то после работы проходил мимо и увидел там смазливое круглое личико. Немедленно ее через окошко закадрил. Работница советской торговли мгновенно оценила его физические данные и затащила в киоск. Закрывает окошко фанеркой с надписью «учет» и тут же отдалась клиенту, упираясь лбом изнутри в фанерку. Спортсмен рассказал, что иногда пользовал работницу прилавка в киоске, а иногда на дому. Попросил меня однажды пойти с ним.

— Я у нее дома забыл документы, а один идти не хочу, давно хотел слинять от нее, ну, теперь уж точно все, только свое бы забрать.

Дверь открыла хозяйка с высокой лакированной прической, в ярком парчовом халате. Кругом были ковры, хрусталь, полированная мебель. Сверкала югославская люстра. Мы оказались без обуви, таково было требование, и подсели к богатому столу. Потом Спортсмен под благовидным предлогом вышел куда-то, а вернувшись, подмигнул мне: все взял, линяем! Зазвонил телефон, хозяйка сняла трубку, и мы, воспользовавшись моментом, бросились в прихожую. Едва успели надеть ботинки, даже не успели зашнуровать, как появилась хозяйка.

— Вовка, куда? Мальчики, вы что?

Схватив куртки, мы бросились вниз по лестнице. Фу, кажется, все! Выскочили на улицу. Только принялись завязывать шнурки, входная дверь хлопнула за спиной:

— Мальчики! Куда, а?! Стойте! Куда бежали, а?

На нас стали оборачиваться прохожие. Мы подхватились и рванули в темноту. Работница торговли в развеваемом парчовом халате и в арабских золотых тапочках бежала за нами. Но победила мужская сила, конечно. Мы скрылись в темноте, под неутешные горестные восклицания;

— Вовка, вернись! Мальчики, вы куда?! Обманщики, да?

* * *

Производство у нас было вредное — нитрокраска, гипс, ацетон. Раз в год мы проходили профилактический врачебный осмотр.

Для этого все являлись в определенную поликлинику и ждали, пока вызовут. Ждать приходилось долго, потому что каждый врач сидел в своем кабинете, а ожидающих было много — сотни работяг с других вредных производств.

Я и до этого врачей не любил, после всех детских испытаний, а тут, увидев этих хануриков, совсем заскучал.

Еще бы не заскучать: они сами были какие-то снулые, равнодушные. Мне кажется, они ничего и не проверяли, вид делали, бумажки заполняли.

Как будто дело было не в столице времен победившего нас «изма», а где-нибудь на сталинской шахте в Воркуте.

Меня вызвал невропатолог. Я вошел в кабинет, там сидела очередная серая равнодушная тетка. Спросила фамилию и задала стандартный вопрос, ожидая такой же ответ:

— На что жалуетесь?

Рука ее уже начала писать «жалоб нет», но остановилась.

— На автобус.

Рыба оживилась, что-то осмысленное мелькнуло в глазах.

— В каком смысле?

— На автобус жалуюсь. На котором на работу езжу. Невозможно сесть. Ужасная давка. Пока доедешь, а ехать всего несколько остановок, все кишки выдавят.

— А, — сказала она. — Других жалоб нет?

Что, я должен был сказать, что есть жалобы на советскую власть?

«Жалоб нет», — записала она. И попросила меня позвать следующего.



* * *

Во внутреннем дворе Художественного комбината постоянно стояли скульптуры из зеленой глины. Приезжали партайгеноссе — чтобы утвердить готовое изделие или обязать начальство комбината переделать каких-нибудь вождей, героев мифотворчества, прежде чем их будут отливать в металле. Смешно было смотреть со второго этажа, где была наша мастерская, как это происходило. Сначала во двор въезжал членовоз, а сопровождающие рыла шли через проходную. Из кабинетов спешили мелкие партшестерки. Прихрамывая, шел директор Косарев. Надменное мурло вылезало из членовоза и оказывалось министром Демичевым*. Рядом было много всякой срани, в том числе мелькала лысина подонка Сысоева*, какого-то деятеля от культуры, типа академика. Этот персонаж ходил в сандалетках, наверное, 47-го года выпуска. Все выходы во двор были перекрыты. У окон, внутри, в помещениях, дежурили надежные партийцы. Во время визита министра Вовка-Спортсмен пошел в туалет, расположенный на первом этаже. Тут же возник «шкаф».

— Куда? Назад!

Спортсмен посмотрел ему в глаза и сказал:

— Пошел бы ты в жопу.

«Шкаф» оценил это высказывание, взглянул на мышцы и промолчал.

Вокруг самого главного упыря бесконечно кругами сновала охрана — делала вид, что все очень серьезно и вот-вот кто-то покусится на жизнь охраняемого объекта. Сам объект что-то говорил, водил рукой, и все покорно следили за ней, кивали, что-то записывали. Потом все это, как у Гоголя, рассыпалось в прах, и во дворе по-прежнему стояла одинокая зеленая фигура. Приезжал какой-нибудь Никогосян, который эту зелень ваял и что-то кричал рабочим — делал «культур-мультиур». Те залезали на леса, лупили киянкой фигуру по зеленым щекам, плечам, лбу — чуть меняли форму.

Монументальная пропаганда, одно слово. В Художественный комбинат было трудно устроиться. Рабочие и техники хорошо, даже очень хорошо, по советским меркам, зарабатывали. Но гораздо труднее было получить заказ в Художественном комбинате скульпторам и архитекторам — по очевидным причинам конкуренции.

* * *

Мама много лет проработала в российском Минздраве. У нее была должность цербера: будучи секретарем-референтом министра, она по роду службы отшивала ходяков, просителей и сумасшедших. Работа была суточная. Все, что происходило в столице, немедленно докладывалось наверх, в том числе и ее министру. К сожалению, мне она почти ничего не рассказывала — секретность, подписка! Что-то все-таки становилось известно. Москва всегда, наверное, притягивала сумасшедших и камикадзе. Мать рассказала три случая, связанные с Мавзолеем. Один псих решил за какие-то обиды отомстить советской власти: укрепил на теле не-

сколько толовых шашек, детонаторы и вошел в Мавзолей. Рвануло так, что от обиженца осталось мокрое место, были еще жертвы и много раненых. Мать как раз в эту ночь дежурила, организовывала переправку запасов крови в Институт Склифосовского. В другом случае некто по фамилии Крысенков заложил взрывное устройство в гармошку. Прогуливаясь по Красной площади, подошел поближе к «мавзику» и растянул меха — эх, мол, пропадай моя телега! Естественно, он скончался на месте, а на святых мраморных плитах появились оспины от взрыва.

В третьем случае, мать тоже была дежурной по министерству, какой-то приезжий, возможно с Кавказа, пришел к Мавзолею, облил себя бензином и поджег. В тяжелейшем состоянии был доставлен в реанимацию, где и скончался.

Мать была просто незаменимым работником. Идеино выдержанная, пунктуальная, как немецкий трамвай, всегда все помнящая. Она работала и тогда, когда давным-давно могла бы быть на пенсии.

Когда у меня стали бывать иностранцы, у нее взяли в первом отделе вторую подписку о неразглашении. Когда пришли со шмоном, у нее взяли третью подписку. Когда меня забрали, ей предложили уйти на пенсию.

У Иосифа, кстати, мама была копией моей. Она работала в Президиуме Верховного Совета СССР. В секретариате. Она начала работать еще до войны, почти девчонкой, работала там в войну и после, до старости. Она видела всех упырей Советского Союза — от Сталина до Брежнева, всех их прихлебателей и лизателей. Надо полагать, что Тамара Дмитриевна обладала теми же необходимыми для работы качествами, что и моя мать. Когда Тамара Дмитриевна ушла на пенсию, выяснилось, что жить ей с Иосифом не на что. Ее пенсия превратилась в ничто, а Иосиф получал ничтожно мало за свое сумасшествие.

Когда я после долгого перерыва пришел к ним, то был потрясен откровенной нищетой. Старое, уютное кресло

было продано. Вместо люстры начала века сверху спускалась голая лампочка. Черный шкаф для посуды был заколочен сбоку фанеркой.

Потом мы с женой Ларисой оказались на Западе, и я не знал, как там дела с нашими знакомыми. Ленька Прудовский с оказией прислал мне пленку с программой «Сегоднячко». На пленке была Тамара Дмитриевна, она сидела совершенно потерянная на плохо застеленной постели, и вокруг нее копошились кошки, несколько ее кошек, которых она так любила... Это была криминальная хроника. «Сегоднячко» не показывает просто так нищих пенсионеров с кошками, это не их стиль...

В тот вечер к Иосифу пришел его приятель, пьяный и раздраженный. Он посидел немного в комнате и потом пошел на кухню. Вскоре раздался оглушительный выстрел. Знакомый принес с собой замотанный в тряпье автомат Калашникова. Следователь потом сказал, что автомат был куплен на Тишинском рынке. Вся кухня была забрызгана кровью. Тамара Дмитриевна после этого случая совсем сдала и скоро умерла.



* * *

Один приятель из нашей компании, будучи большим п...страдальцем, рассказывал, что он познакомился с девушкой, которой немедленно дал кличку Рысь. Якобы, будучи приглашена в дом, она немедленно возбуждалась от запаха холостяцкого одинокого дома, вспрыгивала на шкаф и оттуда бросалась на хозяина, похотливо урча и терзая его когтями.

Рассказ Рыси

...Однажды иду по центру, вдруг черная «Волга» останавливается, меня приглашают сесть. Я сажусь. Чего мне бояться? Спрашивают, хочу ли завтра поехать за город, на дачу, к одному большому человеку. А мне чего? Утром меня сажают в машину, едем по шоссе, вроде по Рублевскому. Мне рядом сидящий косынку дает, просит глаза завязать. Приехали, проводят в дом. Повязку снять разрешили. Я снимаю, а там за столом... не скажу кто, боюсь. Меня предупредили. Ну, все ушли, мы поели и выпили, потом он меня в спальню пригласил. Долго я с ним мучилась, потом он заснул, а я задремала.

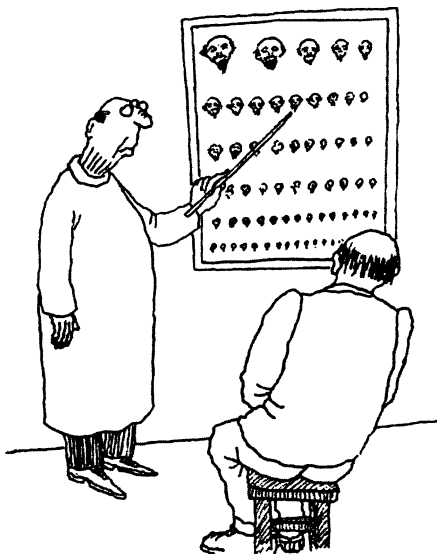
Утром меня отвезли, снова косынку на глаза надели. Сказали, чтобы дома в сумочку заглянула. Я заглянула — а там конверт с деньгами. Сколько — снова не скажу. Мне не разрешили. С тех пор не звонили ни разу. Я жду, может, еще объявятся?

* * *

Меня точно испортил квартирный вопрос. Из-за моих жен родители опять были вынуждены меняться.

На этот раз переехали на улицу Островитянова. Какое-то время Галочка оставалась моей женой, несмотря на бесконечные жалобы, что она ходит буквально голая и у нее

нет денег на одежду. Насчет голизны она была права — мини у нее были действительно классные, но мода менялась, и она требовала клеши. Вот они, неизвестно где и как добытые, лежали на диване, ярко-оранжевые и невозможно широкие внизу — просто писк провинциальной моды. В придачу рядом лежала огромная, как у Олега Попова*, клетчатая кепка. Бедную девочку я объявил нежелательной персоной в 1972 году, изнемогая от ее интеллекта.



Права, права оказалась волоокая Маргарита, напроорочившая мне это!

Родители мои, сердобольные, благородные люди, каким-то образом устроили Галочке комнату в квартире в Сокольниках. Бедная брошенная жена долго страдала, даже хотела, как она призналась позднее моей матери, броситься под поезд метро. Но тут подвернулся французский красавец бизнесмен, и Галочка забыла обо всем на свете. Примерно через год, после издевательств и мытарств по ЗАГ-Сам и ОВИРам, счастливые молодожены отбыли в Париж.

Я устроил дома настоящую фотолабораторию. До этого Галочка не давала мне развернуться, ревновала меня и к самиздату и к бабам на фото. Наконец-то мне в руки попал настоящий там- и самиздат. Одной из первых типографских книг, которую я переснимал, была «1984» Оруэлла. Я сделал несколько копий и раздарил знакомым.

* * *

Надежда Константиновна была следующая после Галочки жена. Поскольку она является матерью моего сына, я воздержусь от подробностей нашей совместной жизни. Скажу только, что она не лишена была язвительного чувства юмора.

Бывало, позвонит Владимир Ильич Маленков, а жена трубку снимает.

— Слушаю.

— Здравствуйте, Надежда Константиновна.

— Здравствуйте, Владимир Ильич!

Ничего больше не говорится, кроме этих ритуальных фраз, а мы просто стонем от смеха.

Кстати, товарищи, вы знаете, что никто никогда в советских кинофильмах своего героя не называл Владимиром Ильичом? Кроме, конечно, случаев, когда снималась Лениниана. Ну, еще какие-нибудь латиноамериканские красные патриоты называли своих детей-бандитов Владимиром, Ильичом или Лениным.

Я переехал к жене на Щелковскую и каждое утро изо дня в день добирался до метро Преображенская в битком набитом транспорте. Оттуда еще час я ехал до работы. Позже мы переехали в Беляево, на улицу Островитянова. И через пару лет на этот раз уже жена объявила меня персоной нон грата.

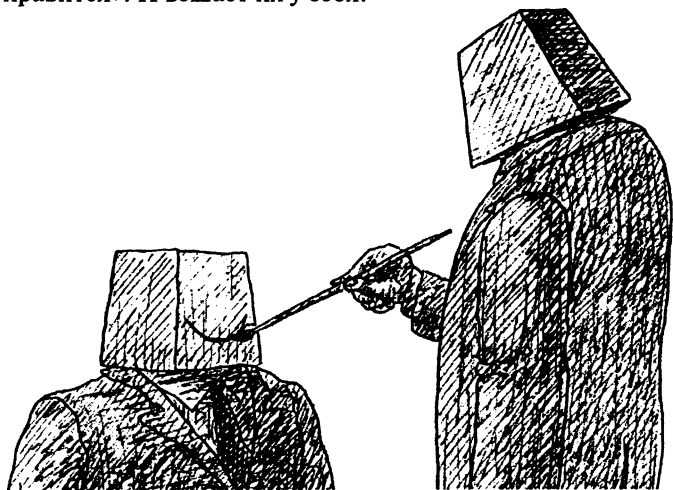
Наступал 1974 год, который многое изменил в моей жизни.

ЗНАМЕНИЕ СВЫШЕ, ИЛИ КАК СЫСОЕВ СТАЛ НОНКОНФОРМИСТОМ

В воскресный сентябрьский вечер 1974 года я пришел домой. Включил приемник. И услышал небывалое: несколько часов назад у моего дома, на Беляевском поле, произошел бульдозерный погром! Громили художников, как было сказано по Би-би-си, абстракционистов. Я тут же спустился вниз, перешел шоссе и оказался на поле. Ничего. Никаких следов. Лишь милицейская машина стоит недалеко. Тогда я впервые узнал, что модернизм существует и сегодня в России. Уже много лет назад я собирал репродукции по современному искусству. Покупал, когда мог, альбомы Кандинского, Дали. Сам что-то рисовал. Какие-то абстрактные и сюрреальные картинки. И никогда не слышал, что сейчас, сегодня, рядом, в Москве, есть художники, которые продолжают делать то, что прекратилось, как мне казалось, в тридцатых годах! Собственно, стоит ли особенно удивляться, что я ничего не знал? Выставок нашим модернистам не устраивали, в газетах о них не писали. А круг моих знакомых был совсем иной, не связанный никак с художниками. В те сентябрьские дни по западному радио впервые прозвучали вслух фамилии российских художников, «абстракционистов», как их почему-то называли. Узнаю, что есть Рабин*, Эльская*, Рухин*. Чувствую, что меня затягивает неведомая пучина... По радио сообщают, что готовится какая-то квартирная выставка. Случайно узнаю адрес Оскара Рабина. Приношу на работу две маленькие картинки. Твердо решил для себя: сегодня вечером еду к Рабину, будь что будет.

Конец рабочего дня. Переодеваюсь в пустой раздевалке. Беру работы под мышку и тут же с размаху падаю на скользком кафельном полу. Возвращаюсь назад, чтобы почиститься. Снова беру работы и... Искры сыплются из глаз! Со всего хода врезаюсь головой в какую-то железку надо

мной. Кровь в волосах. Меня как ударяет: это знак, символ — не ходи к Рабину, не ходи... Еду на Преображенку. У Рабина полно народу. Выставка открылась. Хозяина дома я не знаю, не могу найти. Не тот ли, с лысым черепом? С необычным, запоминающимся лицом? Несколько раз, сквозь толпу в комнатах, я чувствую на себе его внимательный, испытующий взгляд. Спрашиваю. Оказывается — он самый. Вот какой Оскар... Мне как-то неловко показывать свои картинки... Я мнусь, долго и косноязычно что-то объясняю. Оскар говорит, чтобы я пришел завтра, днем, когда не будет народа. На следующий день снова еду к Оскару. В доме никого. Можно спокойно посмотреть картины на стенах. Мне запомнилась работа Оскара — Надя Эльская в черных перчатках. Я смотрю на картины, и мне страшно неловко показывать то, что я принес. Наконец разворачиваю сверток. Прислоняю картины к стулу. Оскар, человек, как известно, сдержанный, говорит: «Мне нравится». И вешает их у себя.



Так Сысоев стал «нонконформистом». Мне никто ничего не сулил. Меня никто никуда не заманивал, не рас-

ставлял мне никакие ловушки. Я впервые в жизни пришел к Оскару, и мои картинки были повешены в его квартире. Видимо, кто-то будет думать, что я кривлю душой. Что я с этого *что-то имел*. Клянусь, что все мои действия были совершенно спонтанны. Я и представить себе не мог, что все это приведет к таким последствиям.

Когда прошло два года и я стал заходить к Оскару просто так, как многие друзья, я увидел, что его квартира открыта для всех, буквально. Но тогда, в первый раз... Мне казалось, что я чего-то удостоен. Наивное, пожалуй, даже мальчишеское чувство сопричастности к чему-то великому?



Однажды, после того как у Оскара состоялась очередная пресс-конференция (для западных корреспондентов), меня вызвали в милицию. Это так было принято. Разрешать неофициальные выставки и держать в поле зрения устроителей. Собеседник мой, внимательный гражданин в штатском, вкрадчиво спросил меня, сверля взглядом:

— Скажи честно, сколько вы за пресс-конференцию у Рабина от них получили?

Не поверил он мне, этот человек, что мы ничего не получаем... Впрочем, на его месте я тоже не был бы доверчив...

Комментарии 20 лет спустя

С отцом всю жизнь вел дискуссии на тему сов. действительности. Не оставил это занятие и после его болезни. Все донимал его, разоблачал «изъмы».

В январе 1975-го купил у надежного, проверенного человека «Архипелаг», в первом имка-прессовском издании*. Прочел, конечно, взалхлеб за несколько вечеров. Утром, перед работой, дал книгу отцу. Вечером возвращаюсь, он мне с кислой миной протягивает опасный документ:

— Ничего нового, мы все это знали, все тенденциозно подобрано...

Слава Богу, хватило ума не спорить, не дискутировать.

* * *

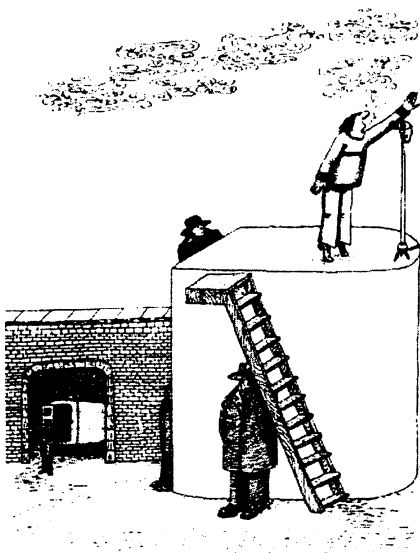
Дом наш стоял лицом прямо на Беляевское поле. Был бы в тот день дома — видел бы, как все происходило. Но — не было меня!

Через 2 недели, под аккомпанемент бесконечных сообщений о позорище на Беляевском поле, художники смогли выставить свои работы без скандала, на огромной поляне в Измайлове. Оповестили москвичей об этом «Голоса», конечно. Интересно было смотреть, как сотни людей с таинственным видом куда-то целеустремленно шли по тропинкам от станции метро. На самой поляне обстановка была благостная: никакой милиции, сотни людей ходили вдоль шеренги мольбертов и разглядывали работы. Художников было много, работ — еще больше. И на этот раз я ни с кем не познакомился. Через год, в годовщину «бульдозерной» выставки, когда я уже перезнакомился со многими «абстракционистами», как их упорно называл «Голос Америки», решили, что надо отметить юбилей скандала. Но поскольку у художников появилась возможность выставляться, московское начальство, и Моссовет, и милиция

заявили, что они «пресекут» и «не допустят» провокаций на пустыре. Художники продолжали игру, угрожая выйти на поле, — цель у них была одна: добиться твердых гарантий, что будут разрешены другие выставки.

В день годовщины, к 12 часам дня, я посмотрел с балкона вниз и увидел, что между нашим домом и Профсоюзной улицей, где росли кустики, расположились «алкаши» и разливают на троих. Таких оперативных троек было много. Я вышел на улицу и, перейдя дорогу, пошел вдоль поля. Потрясла меня фантазия устроителей «празднования Годовщины»: если на той — моей стороне в кустах копошились по трое, то тут, рядом, прогуливались парочки — мужского пола. Их тоже было много! Навстречу мне шел мужик с коляской. Я подумал, что он-то хотя бы нормальный прохожий, ну не пулемет же у него в коляске? И спросил:

— В лесу гуляли?



Лес был за полем.

— Гулял

— Ну и что там?

— Да дежурят...

Мы понимающе улыбнулись.

Я двинулся вниз, в сторону метро «Беляево». Остановился на перекрестке, чтобы оценить обстановку. Тут стояло несколько мужчин с портфелями. Дальше был проделан смешной трюк. Поскольку я не уходил, а продолжал смотреть на пустынное поле, трое граждан подошли ко мне. Двое стояли спиной, а один вытянул неизвестно откуда фотоаппарат и стал меня снимать. Художники никаких действий в этот день не предпринимали. Только один из них, ленинградец, побрился наголо и, спрятав картину под куртку, приехал на поле. Кстати, на каком-то расстоянии от поля стояли на всякий случай машины иностранных корреспондентов, но достаточно далеко. Художник, пройдя вдоль поля, дошел до машин, потом, как эксгибиционист, распахнул куртку и быстро показал картину...

СОН

В шестистах километрах от Москвы, на берегу прекрасной и тихой речки П. приснился мне удивительный сон. Случилось это тогда, когда ходил еще я свободно по нашей земле, гордо нес голову и беспечно показывал представителям власти свою краснокожую паспортину.

Сам по себе факт, что мне приснился сон, — не имеет особого значения; согласно указаниям свыше и в свете решений, каждый гражданин имеет право видеть сны. При чем — и это еще одно свидетельство демократичности нашего общества — сны могут сниться черно-белые, цветные, идеологически выдержанные, невыдержанные и вредные. Могут даже сниться сны сексуальные, вещие и антисоветские. Дело в том, однако, что сившиеся мне сны я не за-

поминаю. Не знаю, что это: отклонение от нормы или защитная реакция организма. Но в ту ночь, в зеленой палатке, когда в ночном воздухе вдруг раздавался бешеный птичий крик и где-то вдали на реке бухали браконьерские взрывы...



Снилась мне огромная площадь. Это была какая-то странная площадь. Вроде бы я оказался на ней в первый раз, но, с другой стороны, я чувствовал, что бывал там уже. Я стоял среди тихо волнующейся толпы. Сверху толпа эта была четырехугольная. Я то ощущал себя в этой толпе, то будто бы парил над нею. Невидимыми барьерами толпа эта сдерживалась и оставалась на месте. Совсем рядом с нами стояли пионеры. Они стояли стройными шеренгами, и шеренги эти были бесконечны и терялись где-то в перспективе. Белые рубашки и блузки юных пионеров, красные галстуки, взволнованные детские лица. Шеренги слегка колышутся — то переступает от волнения наше подрастающее поколение. Все чего-то ждут. Что-то должно

произойти. Скоро что-то произойдет! Но что? Никто не знает. Мы не спрашиваем друг у друга. Вдруг, нарастая, какая-то волна движется по площади. Прорывается вдруг чудовищный металлический голос:

— Колонны-ы-ы-ы-ы! К выносу знамени имени славной пионерской организации будьте готовы-ы-ы-ы-ы!

Эхо разносит по площади: товы... товы... товы... Замерли шеренги на площади. Застыла толпа, напряглись и сжался я, стиснутый сотнями тел.

Внимательно смотрю на пионеров: их руки приподняты в пионерском салюте, не шелохнутся. Вижу крупно лица пионерки и пионера: белые от внутреннего напряжения. У пионера плачущее лицо — я знаю, бывает так, когда человек предельно волнуется. Обычно за этим следует обморок. Но все стоят?

Вдали слышится какой-то шум, не шум даже, а будто бы шарканье и мерный топот. Что-то движется сюда, на площадь. Все окаменели. Какая-то масса, колышась, придвигается к нам. Ближе, ближе... И вот уже можно разглядеть. Идут какие-то люди в серых пальто, в такого же цвета шляпах. Пальто и шляпы как бы взяты из сундуков, они какие-то — нет, не старые, — скорее не модные, не современные. Похоже, что владельцы носили их лет тридцать-сорок назад... Вот масса шествующих равняется с нами. Они идут, разбившись на группки человек по десять в ряд. Что-то сейчас будет! Прошли. Все стоят окаменело. Это что-то не то. Не может быть, чтоб это было все. Чувствую, что и стоящие рядом это понимают. Главное еще впереди... Стоим молча. Не чувствуется ни дуновения. Гробовая тишина над площадью.

И вот снова вдали какое-то колыхание и топот. Снова идут сюда, на площадь. Все чувствуют, что вот теперь, вот сейчас, идут те, из-за кого мы здесь собрались.

Видим, видим! К нам приближаются те, кого мы ждали!

Впереди идет какой-то человек в темно-сером, в шляпе. За ним одетые в такие же серые одежды мужчины. Лиц

не видно. Впередиидущий виден хорошо, походку его мы узнаем, чувствуем, что это кто-то хорошо знакомый. Но кто? Кто? Лица не разобрать. Все ближе они подходят к нам. И вот поравнялись. Идут мимо! Вот этот момент! Сейчас! Сейчас что-то будет!

Но что это? Они... проходят?!

Впередиидущий вдруг оборачивается к нам, и мы ясно видим улыбку на его лице, но лица, лица не разобрать! И вдруг говорит он, довольно громко, и голос его так знаком нам, по телевизору, по радио мы слышали его не раз:

— Подождите!

Голос его вдруг фамильярно возвышается, какие-то клоунские, олего-поповские интонации слышны в нем:

— Да подождите же! Потерпите исчо, таварыщи!

И это все! Толпы я не чувствую. Я знаю, что это слышали все, но сейчас, в эту секунду, я чувствую — это для меня сказано! Уходят люди в серых пальто и шляпах. Обманул радио-голос, не было никакого выноса знамени имени организации. Несколько оживают окаменевшие шеренги пионеров. Толпа переводит дыхание. И я просыпаюсь.

Великолепное утро, река, солнце, небо без облаков, трава!

Птицы! Лес! Свобода!

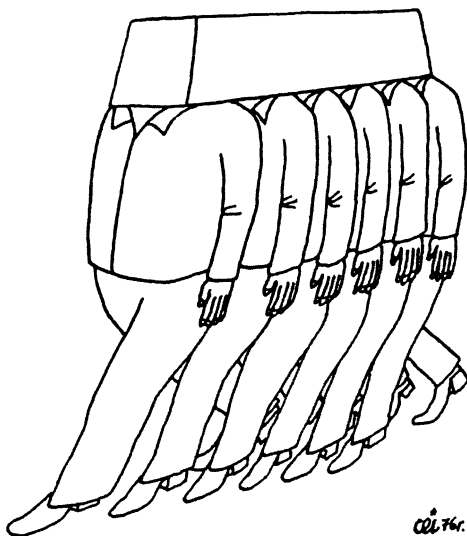
Почему я запомнил этот сон? Что это? Предостережение? Ясное видение? Потерпите, товарищи!

Комментарии 20 лет спустя

Сон сбылся! Через семь лет, если считать концом советской эпохи приход Горби, и через тринадцать лет, если концом большевистской власти считать свержение памятника Железному Феликсу и появление на здании ЦК КПСС таблички «Здание опечатано». Но вот теперь, кажется, все снова вылилось в очередной фарс и позорную комедию. Вновь рыла, пусть и новые, с той же знако-

мой партийной спесью, наперегонки бегут к высокому трону, чтобы успеть лизнуть у *самого* до чего язык дотянется. Причем ведут себя абсолютно бесстыже, как в публичном доме. Процесс, товарищи, пошел заново, а Россия, конечно, страна непредсказуемая. Президент у нас молодой, здоровый, спортивный. Никаких прогнозов делать не собираюсь — образование не позволяет, да что людей смешить?

Только и остается, что патетически воскликнуть:
— За что боролись?



* * *

С Еленой Сергеевной, моей предыдущей женой, в первой книге выведенной под романтически-таинственным именем «ОНА», мы познакомились на скандальной выставке на ВДНХ в 1975 году. История с Мао Цзэдунами, о которой речь впереди, произвела на Е.С. неизгладимое впечатление.

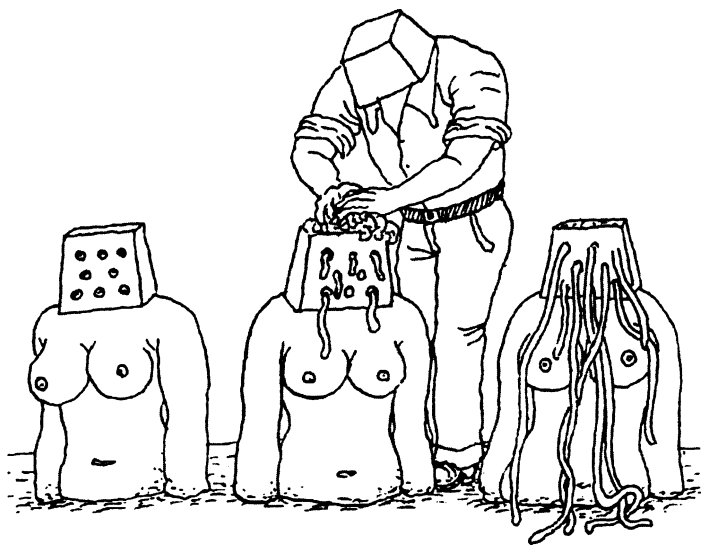
Круг общения мой к тому времени изменился. Появились знакомые художники. Первые иностранцы приходили домой, в Беляево, дивились работам. Особенно много вокруг было французов — корреспондентов и посольских. Мама была в ужасе. Всех иностранных гостей я приводил в свою комнату, тем не менее мама их отслеживала и выказывала им крайнее пренебрежение. Она звала их «кривляками» и снова и снова повторяла: «Плохо это все кончится!»

Много времени я проводил на Преображенке, у Е.С. Иногда, поругавшись с нею, я уезжал к себе, в Беляево. Где-то в час ночи раздавался звонок. Я снимал трубку и слушал, как Е.С. пытается навести мосты. Она никогда не считала себя виновной — о чем я немедленно ей и говорил, и продолжал долго скандалить по прослушиваемому телефону. Что это не мания преследования, доказали сами товарищи прослушиватели. В одном случае это был женский голос, который прервал мою часовую ругань по телефону восклицанием: «Да сколько же можно хамить и оскорблять женщину!» Какие благородные были бойцы невидимого фронта! Они всегда были на стороне слабых.

Вторая история вообще напоминает бред.

По Москве тогда ходили упорные слухи, что гебисты умеют слушать квартиру через микрофон в телефонной трубке, даже если трубка лежит на рычаге. Чтобы не заикливаться и не думать постоянно — слушают, не слушают, — я сделал простейшее приспособление. Развинтил телефон и поставил размыкатель, который напрочь отсоединял микрофон, когда трубка лежала, и включал его, когда трубку поднимали. С чувством выполненного долга я проверил все и забыл об этой маленькой антигебешной хитрости. Через несколько дней, в субботу днем раздался звонок: «Это с телефонной станции. У вас телефон плохо работает. Ждите, в течение часа будет монтер, не уходите». Поразительный сервис! Посмеиваясь, я немедленно снял размыкатель. Монтер, вежливый молодой человек, что-то

покрутил в аппарате и сказал, что «теперь он будет хорошо работать». Поскольку у меня и так все «хорошо работало», я развернул аппарат и под лупой рассмотрел все детали. Признаков жучка я не обнаружил, но вероятность какой-либо пакости от товарищей была большая. И я для себя постановил: никогда и ни при каких условиях в своей квартире не говорить вслух то, что ты хочешь скрыть. А все остальное — ради Бога, пусть слушают, ругань с Е.С., матерщину по адресу художников, анекдоты про Леонида Ильича, а также мои переговоры с иноземцами о встречах.



Советская власть была при последнем издыхании, примитивно подла и жестока. Методы устрашения и воздействия использовались самые простецкие. Зачастую хулиганские. Даже центральный аппарат ГБ действовал примитивно. Представляю, какие туфтовые отчеты отправляли они начальству о проделанной работе. Ну, а издевательства над Е.С. во время моего долгого отсутствия — это по какой графе проходило? Профилактическая работа?

В девять утра на Преображенке раздавался звонок:

— Николая Ильича попросите.

— Таких здесь нет.

Звонок.

— Валентина Сергеевича попросите.

— Вы не туда попали.

Звонок.

— Сергея Владимировича позовите.

— Такой тут не проживает.

Звонок.

— Анатолия Петровича, пожалуйста.

Такие звонки были весь день и заканчивались в 18 часов. Вся эта гадость длилась несколько лет, начиная с момента, как я ушел в бега. Когда Е.С. первый раз рассказала мне об этом, я посоветовал ей варьировать ответы.

Звонок.

— Попросите, пожалуйста, Дмитрия Яковлевича.

— А кто его спрашивает? ... Приятель? Дмитрий Яковлевич умер, к сожалению.

Звонок.

— Петра Дмитриевича попросите.

— Он вышел. Что ему передать?

Звонок...

Очень все это было остроумно, правда?

Предъявить бы сейчас счет всем этим расхитителям социалистической морали, да где их найти?

По сравнению с настоящими диссидентами, я скромная и незначительная персона, но паразитировали на мне товарищи как на большом! У меня подозрение, что я целую группу кормил: они слушали, делали вид, что ищут, писали отчеты, проводили «оперативные разработки», то есть гнали беззастенчивую туфту начальству, демонизируя мою личность. Проморгали главное! У них под носом целое новое поколение выросло, ироничное, не желающее петь революционные песни, а они все пытались с завываниями впихнуть страну в идеологический гроб, да еще

крышкой придавить! У них и тогда-то ничего не вышло, поэтому на что им сейчас рассчитывать?! На идущих вместе по пути к очередному «изьму»? Только для начала интернет придется изничтожить.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МАО — ВАНЬСУЙ, ВАНЬСУЙ, ВАНЬВАНЬСУЙ!

Прошел год, как я познакомился с Оскаром. Я вошел в новый круг. Знал уже многих так называемых «нонконформистов». Вместе с другими сидел в подвале у Миши Одноралова*. Там шли горячие дебаты — что делать дальше. Дебаты с криком, матом и смехом. Наступала первая годовщина разгрома. За этот год я несколько раз выставлся на квартирных выставках. Меня немного узнали. Свою сопричастность я ощущал и стремился делать что-то, что дало бы мне дальнейший толчок.

Каждое утро, как и много лет, я приходил на работу, в макетный комбинат. Все шло хорошо. Я делал макеты. Меня хвалили. В 5 часов 15 минут вечера, когда все уходило, начиналась моя вторая жизнь. Боже, если бы знало начальство, какую змею они пригрели на своей груди! Я запер дверь. Занавешивал окна. Доставал спрятанный на день огромный загрунтованный лист оргалита и начинал делать Мао! Этот портрет, если позволительно так будет сказать, я делал больше двух месяцев. Собственно, на поверхности размещалось семь стандартных одинаковых портретов великого кормчего. Семь Мао — семь цветов спектра. По бокам шли надписи на китайском языке: Да здравствует председатель... и т.д. И все это — в колючей проволоке. Свеженамалеванный Мао убирался сохнуть — от любопытных глаз. А я шел домой. И там рисовал. Одновременно делал еще несколько работ. Все это готовилось к грандиозной выставке. Модернисты вели переговоры с властями об устройстве официальной выставки «отвер-

женных». Наконец, после отговорок, ухищрений, угроз, обманов, взаимообвинений нам разрешили выставку. И где?! На ВДНХ, в Доме культуры! Правда, говорят, смотреть там неудобно, и колонн много, но это успех, победа! Везут художники, везут на ВДНХ свои работы! Увеличивается гора того, что будет висеть! Прибавляется работы нашим организаторам, инициативной группе. И ухо приходится держать востро. Художники сами себе устраивают цензуру — ведь нам обещали, что официальной цензуры не будет! Сами для себя решают, что выставить, что нет — но ведь народ-то все бесшабашный, сумасшедший! Им дай руку — совсем сожрут!

В макетном комбинате о моем участии не знает почти никто. По крайней мере, мое начальство и не подозревает, что вскоре произойдет.



И вот — открытие. 12 часов дня. Я, естественно, ушел с работы. Что это? Полно милиции, барьеры, машины. Толпа! Я никогда не предполагал, что живопись... Это я сооб-

разил позднее, что не живопись, а любопытство, подогретое сообщениями иностранного радио, двинуло на ВДНХ многих из собравшейся толпы.

Открытие! Мы входим, вернее, врываемся. Что это? Все ясно! Опять нас нагрели! Половины работ нет, одни веревки висят! Они пришли ночью и сняли! Сделали свою цензуру! Раздается клич: «Срывай все!». И в отчаянии художники рвут оставшиеся картины с веревок. У меня из семи работ висит три. Рву их, бросаю у стенки. Потом помогаю другим. Милиция наполняет Дом культуры. Слышны мегафонные команды:

— Граждане, покиньте залы! Выставка закрыта! Граждане, разойдитесь!

Нас выпихивают на улицу. Вы хотели все сделать тихо? Так вот вам скандал! Мы не расходимся. Мы стоим перед домом, где нас так ловко надули. Кто-то все время приносит какие-то новости. И все оказывается блефом. Но вот правдивая новость: только что в Ленинграде арестован на 15 суток Эдик Зеленин*. Толпа движется чуть в сторону, к мусорным ящикам. На один из них влезает Оскар. Он в синем, хорошо отглаженном костюме. Это не «Тупик им. Богородицы». «Помойка № 7»! Оскар на помойке. Все правильно! Где же ему еще быть? Оскар говорит тихо. Все замерли. Внемлют. Надо действовать и не уступать. И требовать освобождения Зеленина.

Прошло шесть часов. Мы стоим. Торговля с властями продолжается. Мы окружены милицией, отгорожены барьерами. Наконец какой-то компромисс: выставка откроется завтра, но семьдесят работ не повесят. Спрашивают поочередно у каждого, что он хочет выставить. Все, видите ли, нельзя. Нельзя и двух Мао Цзэдунов. (В придачу к большому Мао я сделал еще и рисунок — сидит Мао Цзэдунчик в московской квартире, смотрит по телевизору футбол.)

Нет, Мао нельзя — категорически!.. Ну и что, что карикатуры? Нет! Когда я поздно, с гудящей головой, являюсь домой и включаю радио, на меня обрушивается град

сообщений: скандал... провокация властей... запрещено столько-то работ... среди них два карикатурных портрета Мао Цзэдуна. Вот это да! Фамилии автора не называют, да и в ней ли дело!

Выставка действительно открывается на следующий день. Огромные толпы любопытствующих, кордоны милиции и непрерывно звучащий в залах Дома культуры металлический голос:

— Граждане, проходите! Проходите, не задерживайтесь! Граждане, вы так долго стояли и теперь стоите — проходите, не задерживайтесь! — без конца, без перерыва. Видимо, так надо. Нервозность, очевидно, полезна для восприятия модернизма.

Сколько эмоций вызывает у зрителей наша выставка! Тут и наивное восхищение, и ярость (так долго стояли — и такая чушь), и усмешки мэтров соцреализма... Они побывали там, я знаю. Масса иностранцев. Их, конечно, живопись не интересует — то ли они видели. А вот толпа, реакция милиции, художники...

Две недели идет наша выставка. Толпы желающих увидеть «абстракцию» увеличиваются. Я почти каждый день на выставке. Сложно отпрашиваться на работе, но что делать? Впервые в жизни, в официальном зале! Спрашиваю у девушки, выходящей из зала, сколько времени она стояла в очереди. Шесть часов! В это время ко мне подходит художник Лева Бруни*. Он представляет меня двум восточным людям: «Вот это и есть тот самый Сысоев, что сделал Мао». Восточные люди в черных костюмах, со старой «Лейкой» вежливо улыбаются и протягивают мне руку:

— Агентство Синьхуа, здравствуйте.

Веду китайцев в зал. Первое интервью. Собирается толпа. Меня ослепляют вспышки. Китайцы знают только, что запрещен Мао. Какой Мао, они не знают. Осторожно отвечаю на их вопросы — где учился, почему решил сделать портрет председателя... Один из китайцев спрашивает: «Можно ли увидеть ваши снятые работы?» Я отвечаю, что

об этом знает только администрация Дома культуры. Китайцы уходят искать администрацию и Мао.



Часа через два, когда я сидел среди художников у входа на выставку, вдруг кто-то крикнул: «Сысоев, твои друзья!» Действительно, из Дома культуры вышли корреспонденты Синьхуа. Лица их были бесстрастны. Я сунул кому-то свой аппарат — сфотографируй, мол, уникальный случай, а сам подошел к желтолицым гражданам.

— Давайте сфотографируемся на память, — предложил я.

Оба китайца сделали инстинктивное движение в сторону. Один из них улыбнулся (так надо) и сказал:

— Спасибо, мы бы этого не хотели.

— Но почему? — возмущенно пропел я.

— Мы видели ваши работы, извините.

Так Сысоев стал не только нонконформистом, но и первым советским неофициальным художником, давшим интервью Синьхуа. Коллекционер Леонид Талочкин* клялся мне, что он сам, лично, в те дни слышал китайское радио. И якобы диктор сказал: «В Москве состоялась большая выставка работ неофициальных художников. В знак протеста против запрета показать портреты Мао Цзэдуна художники сорвали все свои работы».

Интересно, что комментарии «Голоса» относительно запрета Мао были такие: «Сатирические портреты Мао

Цзэдуна были запрещены из опасения осложнить и без того натянутые советско-китайские отношения». Так маленький, никому не известный макетчик Сысоев вдруг чуть не стал причиной войны с китайцами.

Начальство мое очень скоро узнало о моем соучастии в преступной выставке. И я поплатился за все. За Мао, за сионистскую, как мне было сказано, выставку, за связь с «абстракционистами».

Меня просто взяли и выгнали с работы.

Комментарии 20 лет спустя

В последние дни перед тем, как окончательно расстаться с Художественным комбинатом, я приходил туда каждый день, хотя мне говорили, что работы для меня нет. В столярке работал мужик, который любил поддать (а кто, собственно, у нас не любил?). Повадками, фигурой, носом он походил на пиявочника из советского фильма про Буратино. Его так все и звали — Костя-Пиявочник. Углубленный в свои мысли, я шел по коридору, а навстречу мне попался Костя-Пиявочник с каким-то работягой.

Костя показал на меня пальцем:

— Это единственный человек, который в этом гадюшнике не побоялся правду сказать. И его завтра отсюда вышвырнут.

Очень мне стало грустно.

Очень не хотелось себя чувствовать единственным, но не было, не было на работе сообщников, а те, кто тайно сочувствовали, — молчали.

Меня пригласил к себе в кабинет парторг Художественного комбината. Товарищ Попков, который приходил до этого в наш коллектив исключительно с целью отремонтировать на халяву бытовую мелочевку, запер дверь и задумчиво, но по-партийному строго спросил:

— Слава, ну на хуя ты с этими жидами связался? Хочешь, мы тебе выставку в столовой организуем?

Не согласился я с этим заманчивым предложением. Обидел партбюро.

* * *

Неизвестно почему, от бессилия, наверное, я записался на прием в райком партии Черемушкинского района. Принял меня товарищ Гриднев, помощник первого секретаря. Я сдержанно изложил ситуацию, пытаюсь быть объективным. Вкратце обрисовал ему историю нонконформизма на Руси. Товарищ Гриднев внимательно слушал, что-то отмечал в блокноте, сам задавал какие-то вопросы. Потом левой рукой оперся о подбородок. Манжет задрался, и я увидел на руке товарища помощника роскошные часы с кнопками «Ориент». Он смотрел на меня с обаятельной улыбкой. Тут я понял: еще шаг, и я пропал! Теперь мне нечего опасаться, отступить некуда! И я ушел из ИХ мира навсегда.

Разошлись пути наши — дороженьки,
И никто не станет плакати.
Я вам не воздам хвалы,
От вас дождуся только хулы.
Как от вас пойду прочь,
Так все по кочкам-буеракам,
Направо пойду — ничего не обрету,
Вы мне спуску не дадите,

Вы меня с потрохами съедите,
А до того будете гнать и ловить,
И травить, и на мозги давить.
Но и вам не долго парить,
Красными соколами себя мнить,
Еще 10 лет и 5
Царствие ваше будет длиться,

А после придется посторониться.
Научитесь генсеков своих хоронить,
А потом сами будете хорониться,
Будет красной власти вашей конец,
Да не вам, соколам, увы, пиз...ц.
Видно, нам того не дожидаться,
Скорее мы пойдем по белу свету скитаться.
Вам все дорожки открыты влево, влево,
Как вам ваша партия велела.
А вправо-то вы не пойдете,
Чуете — там смерть свою найдете!

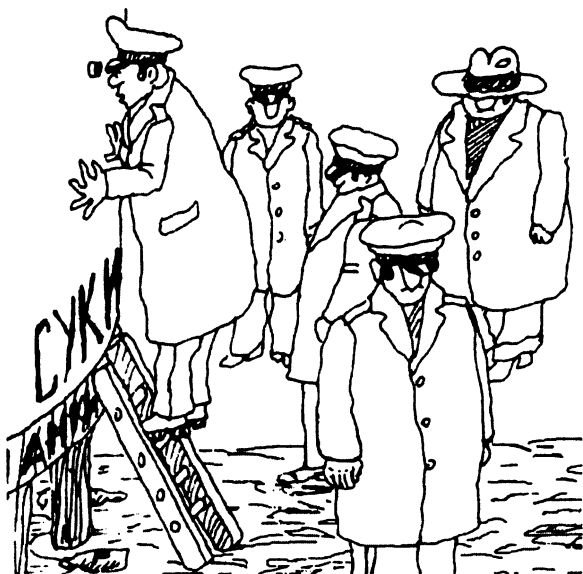
Так думал я, выходя из райкома...

Это я написал через 25 лет. Конечно, ничего подобного в былинном жанре я тогда не думал, но на подходе были первые лубки, уже сделанные в эскизах.

* * *

Евгения Рухина я видел у Оскара Рабина пару раз, он привозил свои работы из Питера в Москву, на продажу. Высокий, красивый, с бородой, он был любимцем баб, божьим человеком. Из Питера позвонили Оскару и сказали, что в мастерской Рухина ночью был пожар, все гости спаслись, а он задохнулся от дыма. В это не верили — скорее гости должны были задохнуться, чем выносливый Женя Рухин. Никаких подробностей не было известно. Из Питера сообщили, что «товарищи пасут» квартиру и сгоревшую мастерскую Рухина. В Питер поехали целой делегацией. Впервые я оказался в Колыбели трех эволюций. Пришли в квартиру, которая была расположена на набережной. Дом был изящный, внутри сохранилась вся лепнина. Комната была набита художниками, конечно, под градусом. Мне тоже поднесли. Я вышел, не стал сидеть и слушать пьяный галдеж. Гулял по набережной, потом куда-то сворачивал, так прошатался полночи. На следующее утро были похороны. На автобусе все доехали до

церкви. Когда батюшка закончил панихиду, гроб вынесли на улицу. Меня что-то толкнуло, и я оказался спереди, с правой стороны. Потом ехали в автобусе, потом шли, и я снова был справа и впереди, помогал нести.



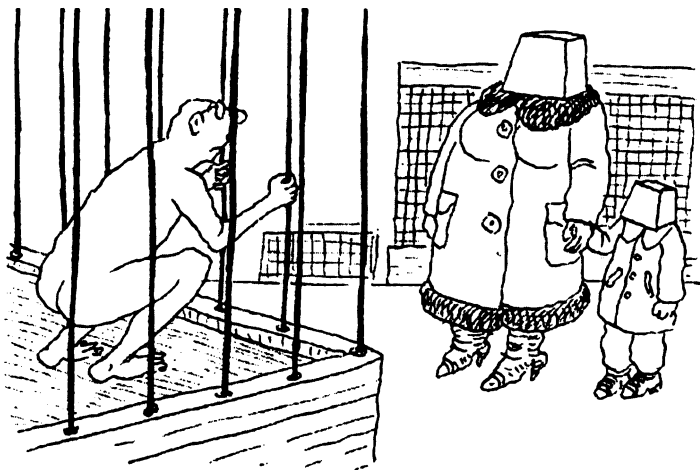
У открытой могилы гроб поставили, и он стоял какое-то время открытый. Рухин лежал красивый, таинственный и чужой. Питерский художник прочитал молитву. Все молчали. Оскар не проронил ни слова. Из-за всех кустов, дальних могильных плит и памятников выглядывали свиные и кувшинные рыла, вылезшие, будто зомби из-под земли. Так, не проронив ни слова, мы вернулись в квартиру. Все в той же тоске и унынии прошел вечер, и ночью мы вернулись в Москву.

Аналогичный случай, когда меня кто-то будто подталкивал вперед при выносе гроба, был и позже, когда хоронили Надю Эльскую. Надя, подруга Оскара, красивая, веселая и заводная художница, душа компании, внезапно

скончалась. Говорили, что ее будто бы избил муж, но почему-то никто не мог узнать, идет ли следствие. Ходили очередные слухи о мести КГБ, но кто это мог проверить? В церкви, за метро «Новослободская», где Надю отпевали, я видел ее в гробу. На лице ее были явные синяки и кровоподтеки, которые нельзя было загримировать. Надю привезли на Ваганьково, где были похоронены ее родители. И опять я шел впереди и справа до могилы.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ

После того как меня выгнали с работы, мне оставалось только одно — идти дальше по пути, намеченному карикатурами Мао,



Я принимал участие во многих квартирных выставках. Художники рвались к известности. Не исключено, что многих толкало к участию в неразрешенных выставках чувство неполноценности. Представилась возможность — пусть в обычной квартире, но повесить свою работу, дать ее на всеобщее обозрение. Публика ходила на наши неофици-

альные выставки большей частью непритязательная. Все кушала, что ей давали. Все, казалось, были причастны к какой-то тайне...

Нечистая сила меж тем не дремала. В кои-то веки раз было принято разумное решение: если художники хотят выставиться, хотят числиться официальными — пожалуйста. Им надо пойти навстречу, и они моментально приобретут цепи, которые будут сами подкрашивать, и с удовольствием будут сидеть под колпаком, лишь бы на них смотрели.

Через год после ВДНХ почти все «модернисты» Москвы стали официальными! У художников появилось три зала в Горкоме графиков — два в подвале и один с окнами, где стало возможно показывать работы. Самоцензура возникла сразу — всем хотелось выставиться. Помимо этого, полупьяный и наглый председатель Горкома*, в темных очках и на копытах, ходил вечерами по залам и тыкал пальцем в то, что необходимо было убрать. Художники очень быстро смирились с этим, как будто не было ни беляевского поля, ни Измайлова, ни ВДНХ. Были отдельные попытки бунта, которые немедленно подавлялись. Помогало нечистой силе и то, что художники зачастую враждовали между собой. Было несколько «гениев», которые упорно лезли наверх. Художники соединялись в группировки, между ними происходили постоянные столкновения.

Я пишу обо всем этом в прошедшем времени, но уверен, что и сегодня, сейчас, там происходит то же самое. Модернисты, чьи работы продаются и выставляются на Западе, чьи фамилии широко известны, не участвуют в сваре, они как бы выше всего этого. Впрочем, когда они вдруг понимают, что их репутации и исключительному положению что-то грозит, тоже принимают свои меры.

Никогда в жизни не думал, что профсоюзное собрание может быть интересным. Куда там, захватывающим! Наверное, ни на одном профсоюзном собрании нашей страны не бывает такого... Зал в Горкоме графиков. Президиум на сцене. В президиуме председатель Горкома (в очках, на

копытах), так называемый «Совет секции» (что-то лагерное?), который состоит из 8—10 человек. В зале — человек 200 художников. Некоторые — выпивши.

Ведущий собрание художник К. встает.

К.: Товарищи! У нас сегодня на повестке дня много вопросов... (*перечисляет*). Выступающих сегодня также очень много...



Голоса из зала: Не всех записали! Впишите Г!
(*После шума Г. вписывают*).

К.: Слово предоставляется председателю Горкома.

Пр. Гор.: Я хотел бы сразу приступить к делу... За отчетный период проведено шесть коллективных и две персональные выставки... показали возросший уровень... на встречу годовщине, которой мы посвящаем очередную выставку... Возросший уровень мастерства... Борьба с идеологически вредными влияниями... Единство рядов мастеров социалистического реализма...

(Художник Л. встает, подняв руку).

Л.: Разрешите спросить?

Пр. Гор.:?

Л.: Вы сказали, что у нас повысился идейный уровень и что наше творчество является соцреалистическим...

Пр. Гор. *(торопится)*: Что-нибудь непонятно?

Л.: Непонятно, какое отношение наши работы имеют к социалистическому реализму. Объясните, пожалуйста.

Пр. Гор. *(переходя на «ты»)*: Я понял, Л., садись. *(В зале шум, все прислушиваются.)* Дело в том, что понятие «соцреализм» стало теперь настолько емким, что включает в себя и такие направления, как экспрессионизм, сюрреализм... И вообще, Л., не перебивай! Я еще не все сказал... *(говорит еще).*

После этого выступает З., руководитель секции.

З.: Я хотел бы сделать несколько замечаний...

Голоса из зала: Кисти обещали, салон обещали, где все?

З.: Замечаний о нашей секции... порядка никакого у нас нет. Художники приходят пьяные... Кто там в предпоследнем ряду курит?

Голоса: Сам ты пьяный! Никто не курит!

З.: Взносы не платят...

Г. *(вскакивает)*: Какие взносы?! Деньги откуда?! Ты картины продаешь, может, а я нет! Устрой меня в салон!

Вскакивает сразу несколько человек.

Все сразу: Салон обещали! Продажу обещали! Денег нет, жить не на что!

Г. *(кричит)*: Ничего нет, зачем три года обещали?! *(Чувствуется его восточный акцент.)*

Д. *(встает)*: Ты здесь не шуми. Г., понимаешь? *(Говорит тоже с восточным акцентом.)*

Г.: Это кто не шуми, я?

Д.: Ты.

Г.: Да ты кто такой мне рот затыкать?

Д.: Сейчас из зала вылетишь за хулиганство, понял?

Г.: Это кто вылетит, я?

Д.: Ты, ты, понял?!

Г.: Сам ты хулиган!

Д.: Это кто хулиган, я?

Г.: Ты хулиган!

Д.: Ах ты, сволочь такая, я тебе сейчас покажу, какой я хулиган! (*Направляется к Г.*)

Е. (*вскакивает*): Ты, Д., перестань орать! Ты всегда скандалы устраиваешь!

Пр. Гор. (*вскакивает и начинает лупить кулаком по столу*): Молчать! Хватит! Д., прекрати! З., наведи порядок, ты же ведущий!

(*Всеобщий шум в зале, оживление.*)

Д. (*продолжает кричать*): Я вам покажу всем «замолчи», сволочь такая! Я тебе устрою. Г., помнишь, как устроил? Сидят все, слушают, да? Как выставки устраивать, так Д., да? Вот ты скажи, Ж. (*обращается к одному из «китов»*).

Ж.: Не хочу говорить, оставь меня.

Д.: Нет, скажи, скажи! Ты боишься, да?

Ж.: Отстань, прошу.

Д.: Боишься, я вижу! Картины на Запад продавать не боишься, а сказать боишься, да?

Ж. (*вскакивает*): Заткнись, сволочь! Я ничего нигде не продаю!

И. (*вскакивает и кричит*): У меня жена беременная! Квартиру не дают, денег нет, салона нет!

Голоса из зала: На каком месяце жена?!

К., В., Е. (*кричат*): Хватит!

Д. (*визжит*): Рот не заткнете! Я вас породил, я вас и убью! (*Всеобщий шум, крик и ругань.*)

И.: Жена беременная! Сообщу в Кремль, пожалуйюсь корреспондентам!

Г. (*кричит, захлебываясь*): Шизоид, стукач!

И. (*наливаясь*): Кто стукач?

Г. (*сквозь крики и рев*): Ты, ты стукач! Ты уже пятую жену меняешь!

И. (*пробираясь сквозь ряды*): Я тебе сейчас устрою, падло! Сам стукач, сам г...но!

Пр. Гор. (*стучит в бессильной ярости*): Молчать!

(*Художники понемногу покидают зал.*)

Пр. Гор. (*перестает стучать, устало*): Объявляю перерыв.



После перерыва все возобновляется. Не стоит описывать дальнейшее. Все повторяется. Председатель Горкома обещает, как и три года назад, персональные выставки, салон, мастерские, поездки за рубеж, колонковые кисти... Обнадеженные и возбужденные художники расходятся.

ДЖОКОНДА В ПИТЕРЕ?

Три художника решили поехать в Ленинград. Там на квартире очень милой женщины — коллекционера Натальи Казариновой открывалась выставка современного искус-

ства. Вечером на перроне Ленинградского вокзала стояли три человека в черных дубленых полушубках. Художник К. (Иосиф Киблицкий* — *Примеч. В.С.*), один молчаливый модернист из Одессы и автор. Мы ждали Оскара и Сашу* Рабиных. Около нас громоздились упакованные полотна. Суетливость и нервозность вокзальной обстановки влияла и на нас. Мы поминутно озирались, смотрели на часы, курили. Объявили посадку на наш поезд. Рабиных не было. И тут мы увидели, что к нам бежит жена Оскара — Валя* (В.Е. Кропивницкая. — *Примеч. В.С.*).

— Оскара и Сашу арестовали!

— За что, как, когда?!

— Только что! Они вышли с работами, хотели сесть в такси. Подошло несколько человек в штатском, посадили в «газик» и увезли. Я — прямо к вам...

Что делать? Решаем быстро: ехать втроем. Валя остается. Только вошли в тамбур — поезд тронулся. И мы увидели: оскользаясь по обледенелому заснеженному перрону, бежит за вагоном человек в форме, с рацией.

Полночи не спали — рассказывали тихому одесситу о бурных буднях московских «нонконформистов». В Питер прибыли в семь утра. Подождали, пока все выйдут. Надели полушубки, взяли картины и услышали в коридоре, перед нашим купе:

— Вот они, родные.

Перед нами — люди в форме.

— Выходите, выходите, с приездом вас! — ласково улыбаются нам встречающие.

Выходим. Перед вагоном видим художника Виталия Длугия*, он приехал на выставку за день до нас, пришел сегодня встречать. Усы у Длугия топорщатся, глаза, как у дикого кота: его держат трое людей в форме. Один в штатском, проверяет документы. Немедленно вокруг нас образуется оцепление. Людей в форме человек пятнадцать. Половина — с рациями. За их спинами маячат фигуры в штатском.

— Что случилось?! — возмущаемся мы.

Старший по званию коротко объясняет:

— Вы задержаны для опознания. Предлагаю следовать за нами.

Длугий тоже в черном тулупе. Прямо тулупный заговор какой-то! По перрону Московского вокзала в городе на Неве движется удивительная процессия: четыре черных личности с картинами в окружении построенных в каре людей в форме. Люди в штатском неотрывно идут рядом. Мне подумалось, что со стороны мы похожи на служащих Лувра, переносящих «Джоконду»...

Нас довели до отделения железнодорожной милиции. Там оставили в комнате, разрешив курить. Окна зарешечены. Телефон, стоящий на столе, — без диска, внутренний. На стене — большое зеркало. На нем написано:

**«ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ДЕЖУРСТВО ПРОВЕРЬ
СВОЙ ВНЕШНИЙ ВИД».**

Проверяем свой внешний вид. Не очень... Спросонья мы даже не совсем понимаем: что это? Почему мы сидим здесь? Не спим ли? На стене — диаграммы развития народного хозяйства, памятка для сотрудников, стенгазета. Все это называется — «комната политинформации». Входят два человека в штатском. Молодой — весел, напорист, ему очень хочется поспорить о чем-то с нами. Сдерживается в присутствии начальства. Начальник — уверенный, спокойный. Глаза суровые, внимательные, толковые. Говорит коротко, рубит фразы. Когда не говорит, на скулах играют желваки. Перед таким человеком приятно каяться даже в тех грехах, которые не совершал...

Начальник четко и сжато объясняет, не давая нам возможности вставить слово:

— Мы знаем, для чего вы сюда приехали. Приехали вы незаконно. Выставка у Казариновой — незаконна. Сбор от выставки пойдет в пользу политзаключенных. Ваше по-

явление у нас — провокация. Предлагаем добровольно вынуть деньги. Мы купим вам билеты, и вы уедете в Москву. Десять минут на размышление. Советую не отказываться.

Остаемся вчетвером. Тут и думать нечего! Мы приехали в гости — какое право имеет кто-то запрещать это? Какие сборы? Какие политзаключенные? Да их вроде бы и нет?



Входит молодой. К. сразу набрасывается на него:

— Что за порядки в Питере? Что произошло?

Я тоже не выдерживаю:

— Говорят о хваленном питерском гостеприимстве, и тут такое!

Молодой несколько растерян. А тут еще К. начинает читать ему лекцию о международном положении. Через короткое время мы беседуем уже впятером. Молодой говорит нам, что он понимает наше положение, что он, собственно, ничего не имеет против модернизма, но приказ... Тут входит начальник. Мы ему заявляем — добровольно из

Питера не уедем. Пусть сообщит своему руководству. Начальник идет звонить. Желудки у нас просто подводит. Просим разрешения сходить поесть. Выводят по одному. В сопровождении охраны. В этом, правда, есть свои преимущества: не надо давиться в очереди в вокзальном буфете. Снова приходит начальник. Лицо его нахмурено. Получил за нас нагоняй.

— Итак, вы едете?

— Нет.

— Это ваше последнее слово?

— Да.

Я пытаюсь воздействовать на него. (Он нас знает по фамилиям, мы же о нем — ничего, даже в какой организации работает.)

— Разрешите нам хотя бы по Ленинграду походить. Мы оставим в залог картины.

— Нет.

Снова уходят люди в штатском. Сонливость наша прошла. Мы держимся хорошо. Еще раз проверяем наш внешний вид. Лучше, чем раньше... В 11 утра входят двое опекунов и несколько человек в форме.

— Встать!

Мы встаем.

— Вынимайте деньги. Если вы сейчас этого не сделаете — мы вас ошмонаем (так заявлено дословно), а за сопротивление получите пятнадцать суток.

Что остается делать в такой ситуации? Вынимаем деньги. Нам приказывают собраться. Этап на Москву? Выходим с картинами. Провожающих меньше, чем встречавших. Двое наших начальников — рядом. В здании вокзала молодой быстро идет с нашими деньгами к дипломатической кассе, показывает какое-то удостоверение... Сопровождающие в форме, увидев, что мы не собираемся разбежаться, теряют бдительность. Они не видят, что К., стоявший только что рядом, незаметно, по стеночке, крадется к телефону-автомату. Мы развлекаем охранителей разговорами о мо-

дернизме. К. набирает номер Казариновой. Выстреливает одну фразу: «Мы здесь на вокзале нас забрали сейчас отправляют в Москву!» Подбегает один из охранителей и моментально бьет по рычагу. Но — дело сделано. Нас выводят на перрон. Поезд — с сидячими местами. Что мы видим?! Нам подают... пустой вагон! Там только трое людей в гражданском. Нас впихивают внутрь. Появляется железнодорожник. Под присмотром опекунов запирает обе двери на ключ. Двери в тамбуры тоже закрываются проводниками — с двух сторон. Запломбированный вагон? По крайней мере ехать нам всем будет очень удобно: семь человек на огромный вагон. Трое посторонних в салоне вагона — кажется, ничего не понимают.



Дернулся поезд. Поплыли назад провожающие. Начальник и молодой сотрудник вдруг улыбаются и делают нам ручкой... Избавились, слава Богу. До Москвы едем часов девять. За это время мы успели вдоволь наругаться. Трое

пассажиров насаждают на нас, чтобы мы им рассказали, кто мы такие, за что нам оказывают такие почести.

На всех промежуточных станциях, где толпа в панике бежит вдоль перрона, чтобы захватить свободные места, нас встречают. Около нашего вагона — по всему пути следования — наряды людей в форме и в штатском, военные патрули. Двери не открывают. Везем «Джоконду»? Один из пассажиров пытается в Калинин вылезти с чайником. Наружный караул грозит через стекло кулаком... Пассажир потрясен:

— Что же вы такое сделали??

Не говорим мы ему, что мы сделали и что можем сделать еще. К. только многозначительно намекает:

— Слушайте сегодня вечером «Голос».

Прикатываем в Москву. Проводники отпирают двери. Выходим. Тут оцепления нет. К. пытается с вокзала позвонить Рабиным. Внезапно появляется человек в сером и негромко роняет: «Домой». Мы едем к Оскару. Перед домом — черная «Волга». Битком набитая. Оскар, Саша, Валя и Надя Эльская встречают нас объятиями.

— О вас уже сообщили! Вы ехали, а о вас сказали, что вы пропали по дороге!

Саша рассказывает:

— Мы пошли к такси, тут подъехала машина, нас посадили и повезли в какое-то заведение без вывески. Там сказали, чтобы мы не рыпались. В Ленинград ехать запретили. Привезли домой, поставили две машины — под дверь и с обратной стороны дома, приказали не выходить.

А выставка на квартире Наталии Казариновой все-таки состоялась. И наши работы, привезенные раньше, были там. До Ленинграда сумел добраться только художник Жарких*. Для этого он сошел на какой-то станции недалеко от Питера. Ехал он в осажденный город с лыжами, в лыжном костюме, в очках...

Комментарии 20 лет спустя

Московских «нонконформистов» после скандальных выставок оставили в относительном покое. Они даже стали героями, их стало модно приглашать в некоторые посольства. Впрочем, чести такой достаивались далеко не все. Меня, например, ни разу тогда никуда официально не приглашали. А с приглашенными тоже все было не совсем понятно — что это, дань моде, тонкая издевка?

Ну, в японское посольство, кажется, приглашали от чистого сердца. Японка, хорошо говорившая по-русски, по-моему, культурный атташе, рассказывали друзья, выступала с лекциями о современной японской культуре, после чего демонстрировала собравшимся документальные фильмы о японских художниках и каллиграфах. Что же касается американцев... Тогда казалось, что московские и питерские художники достаивались великой чести, будучи приглашены в «Спасо Хаус», где и проходили «презентации».

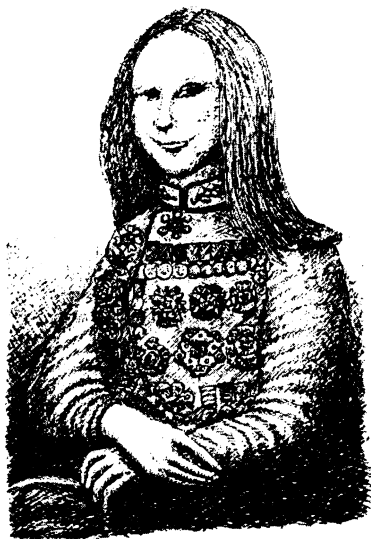
Привожу рассказ одного художника, присутствовавшего на «посольском» вечере питерско-московского художника Юры Жарких. Все было, как и на других подобных приемах. Разнообразная выпивка, легкая закуска, улыбки, непринужденное общение с обязательным вопросом «как вы поживаете?». Вечер состоял из двух частей. Сначала Жарких демонстрировал на киноэкране слайды со своих работ, рассказывал о нелегкой жизни свободного художника и притеснениях со стороны властей. Потом был перерыв, снова неназойливая беседа, и после этого показали документальный фильм о первобытном искусстве каких-то дикарей, где-то недавно обнаруженных американской экспедицией. Не берусь утверждать, что эта подборка была сделана специально. Может, это художническая мнительность? Не знаю.

В те годы меня иногда приглашали в частные иностранные дома, куда я и ходил, поскольку бояться уже было

нечего. Так случилось, что в дом австрийского культурного атташе был я приглашен вместе с диссидентствующей элитой в тот день, когда Оскара Рабина лишили советского гражданства, о чем я и сообщил собравшимся. Никто, оказывается, еще не слушал «Голосов» и не знал об этом.

Квартира австрийского дипломата, как и многие иностранные апартаменты такого уровня, была завешана картинами модных московских модернистов и иконами. Сборы же было то еще — множество богемных представителей всех возрастов, не любящих, как вы понимаете, ни выпить, ни закусить... Я, как человек трезвый, внимательно оценивал обстановку. Хозяин, помнится, был действительно радушен, гости вели себя по-свойски, пили, громко галдели, некоторые почему-то устроились на полу. Атмосфера становилась все более непринужденной. Весь вечер гостей хозяина обслуживали две девушки-горничные. Для сведения тогда не живших или все позабывших: по гуманным советским законам иностранным гражданам, аккредитованным в СССР, разрешалось набирать обслуживающий персонал только через УПДК. (Это не «Упаднический Дом Культуры», а «Управление по обслуживанию Дипломатического корпуса».) Как вы понимаете, эта организация не имеет никакого отношения к КГБ. Просто неизвестно откуда взявшиеся вышколенные горничные со знанием иностранных языков обслуживают иностранных граждан. Две «гражданки горничные» вошли в разгар веселья с блюдами, уставленными тарелками с клубникой и взбитыми сливками. Надо было видеть их еле заметные презрительные ухмылки! Не глядя на собравшихся, они обносили поддавший бомонд продуктами из «Березки». Хозяин-то, конечно, прекрасно знал, чем девушки занимаются в свободное от работы время, а гостям, похоже, было все равно. Но мне было не все равно. Я-то ясно читал в их глазах: «Сволочи антисоветские, на хаяву потянуло? Вам бы стрихнину, а не сливок!»

Когда девушки дошли до меня, я гордо отказался от принесенного деликатеса, за что и был через какое-то время обруган Кирой Сапгир*, тогдашней женой Генриха Сапгира*. Я посетовал через пару дней по телефону, что бомонду надо бы было приличие соблюдать и не напиваться на халяву, а Кира мне сказала: «Оставь ты эту хреновину. Лучше Бога благодари, что все мы живы, да и Оскар тоже, пусть и лишен гражданства, он же в Париже. А ты знаешь, что именно после выхода из дома этого австрийца Костю Богатырева* по голове бутылкой ударили?»



* * *

Елена Сергеевна любила путешествовать, а я нет. Она меня уговорила поехать диким способом на Север. В комиссионном была куплена хорошая надувная чешская

рыжая лодка. Сшита палатка. Запасены продукты. При чем я использовал знакомство с иностранными гражданами, чтобы купить в «Березке» обычные продукты: сухое молоко, консервы и т.д.

На вологодском поезде доехали до поселка Явенга. Там начиналась река Кубена, по которой надо было плыть в русскую старину. Река была практически безлюдна. Думаю, не надо говорить о рыбе и грибах в окрестностях. Через много лет я сидел с женой Ларисой и жуликом-галеристом на берегу Женевского озера. Галерист пригласил нас сюда специально, чтобы угостить изысканным лакомством — какой-то необычайной рыбой из Женевского озера. Официант принес блюдо «с понтами»: в окружении долек лимона и лопухов салата лежало несколько маленьких пескарей. Пришлось улыбаться — делая вид, что этот деликатес нам очень нравится.

Река Кубена текла и текла, и путешествие длилось несколько дней, пока не доплыли до города Кириллова. Был вечер, и решили остановиться в пригороде. Там нас увидел какой-то местный мужик и посоветовал отсюда уходить подальше. Тут, оказывается, у местных существует непреложное правило — бить туристов до полусмерти, поскольку те воруют посаженную картошку. Совет был принят. Утром я впервые в жизни увидел настоящую Россию. Кирилло-Белозерский монастырь стоял уже многие века, и не было силы, которая его могла одолеть. Даже большевики не смогли нанести ему заметного урона: могучие стены, башни, храмы — все стояло намертво и дышало стариной. Интересно, что сам Кириллов — это, вообще-то, не город, а одноэтажный поселок. Только здание горкома партии было пятиэтажное, да милиция и КГБ были в три этажа. В центре Кириллова был парк и рядом, обнесенная железной сеткой, как для диких зверей, дискотека, где местный бомонд вечерами устраивал танцы-шманцы-обжиганцы. Мы шли через парк в торговые ряды, чтобы отовариться какой-то дрянью, как вдруг из кустов показалась

огромная бетонная жопа. Это был то ли Ворошилов, то ли Чкалов, стоявший в листве, как в засаде. Лицо «скульптуры» было повернуто в сторону торжища.

Какое несоответствие наблюдалось между нерушимой русской монастырской мощью и советским убожеством в местных магазинах! Я зашел во все магазины. Ни в одном магазине не было *ничего* хорошего — ни продуктов, ни ширпотреба, ни книг. В магазине «Обувь» стояли чугунные черные ботинки фабрики «Скороход». Хотелось взять изделие за нос и бить, бить, бить до потери жизни директора этого «Скорохода».

В продуктовом магазине не было не только вологодского масла, но также и сыра, молока, сметаны, творога. Была водка и «красное». Вообще, все как всюду. С голоду не умрешь, но рад не будешь. Люди здесь жили обычные, не плохие, даже получше, чем москвичи. Но как-то они у меня не связывались с русской мощью, с размахом русским... За монастырем повстречалась нам девочка, ну просто с картинки — лицо круглое, веснушчатое, глаза голубые, волосы выгоревшие, белые. Что-то я стал у нее спрашивать, показывать карту. Девочка зарделась, застеснялась, а потом без всякой карты сказала, как надо пройти. Абсолютно был чистый непорочный подросток, просто цветок луговой.

Подобные лица кирилловцев, и не только детские, я наблюдал по ящику в городе Берлине лет этак через 25 после описываемого эпизода. Президент России Путин приехал в Кириллов для посещения монастыря. Он прибыл на вертолете на специальную деревянную площадку, от которой по мосткам прошел в монастырь. Я догадываюсь, почему Владимир Владимирович летел на вертолете. Скорее всего, это было сделано для быстроты передвижения, а может, чтобы не травмировать его видом окрестных деревень. Мостки же были проложены специально к приезду Руководителя, чтобы он ноги не поломал — поскольку за все годы большевистской власти не удосужилось начальство проложить нормальных дорог в самом Кириллове.

Люди ждали Путина с утра, поведал ящик. Показали людей, которые наивно, как дети, верили, что, увидев Путина, они будут счастливы. Или это мне по ящику почудилось, что ждали они счастья, а было это одно только любопытство?

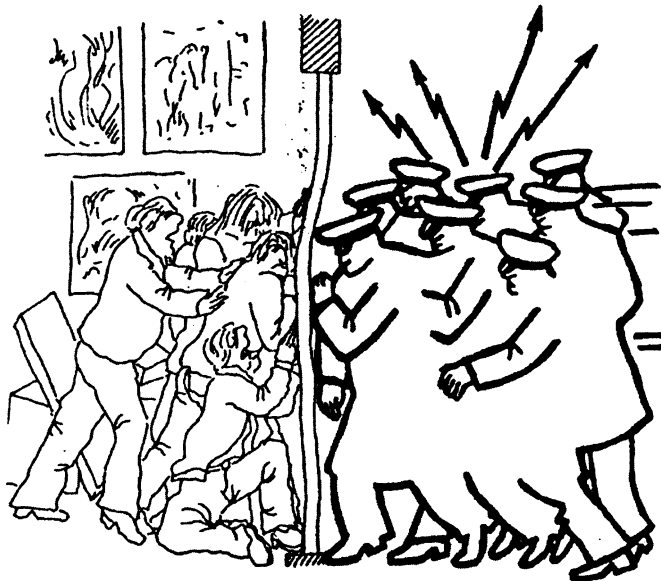
Та девочка, подросток — сегодня это взрослая женщина, со своими хлопотами, детьми, мужем, — она тоже стояла там и ждала счастья от Президента?

По крайней мере одной проблемой сейчас в Кириллове меньше, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад. Елена Кирцова* была в Кириллове несколько лет назад. Теперь, слава Богу, можно хотя бы купить *человеческую* еду — масло, мясо, молоко, овощи, фрукты, а на ярмарке даже бананы и киви. Монастырь реконструирован, такой же могучий красавец, как и прежде.

МОСКВА—ПАРИЖ

В середине семидесятых годов двадцатого века из России уехало много художников. Те, которые считали себя непризнанными гениями, и те, которых просто не признавали. Уехали абстракционисты, сюрреалисты, попартисты и концептуальные евреи, известные своей неуправляемостью. Семья Рабиных тоже уехала, не могла не уехать. Некоторые умерли — неизвестно как. Оставшиеся сидели тихо. Особенно в Москве. В Питере — взбрыкивали время от времени. И сейчас иногда там что-то еще происходит. Но в колыбели революции порядки жесткие. Московские модернисты продолжали успешно красить и подкрашивать свои цепи.

Тихое это времяпрепровождение прервалось в декабре 1978 года. В секции живописи при Горкоме им. Потемкина вдруг пронесся слух, что будут разгонять... Художники всполошились.



Горком в это время был практически без Председателя. То есть Председатель существовал номинально: приходил в свой кабинет, разговаривал по телефону. Зимой Председатель ходил в номенклатурной шапке из волка, в кожаном пальто, в темных очках. По-прежнему выпивал Председатель напитки, что приносили ему из горкомовского бара. Все чувствовали, однако, что дни его сочтены, что он уходит. Наш вождь и учитель оказался замешанным по уши в какие-то аферы со взятками. Какая-то другая мафия враждовала с мафией Председателя. Те и другие взывали к закону, к справедливости — стучали и топтали друг друга как могли. И в этот момент вдруг стало известно, что модернисты опять не нужны.



Может, это другая мафия слух пустила, чтобы гражданина Вождя Председателя Горкома «схарчить», — но художники страшно перепугались. Потребовали собрания в Горкоме. Их собрали. Успокоили. Опять пообещали поез-

дки за рубеж, кисти, мастерские. Слухи меж тем росли, обрастали подробностями. Уже говорили, что есть списки, кого будут исключать. Тогда несколько художников решили привлечь внимание к этой проблеме.

В центре Москвы, на Садовой, жила коллекционер Люда Кузнецова*. Я у нее довольно часто бывал. Люда — женщина самостоятельная жила без мужа и держала салон. Это очень удобно, когда в центре Москвы неофициальный салон. Там бывало довольно много иностранных граждан. И вот художники пришли к Люде и рассказали все.

У меня уже начались неприятности, но я тоже находился на Садовой. Несколько дней мы все раскладывали и примеряли, не хотели никаких повторений пройденного. И нас озарила идея: нужен Фестиваль искусств. Поскольку много народу уехало, но и здесь тоже хватает, надо сделать совместную выставку. Одновременно в Москве, в Париже и еще где-то. Так и назвали все это — Фестиваль «Москва—Париж». Решили сделать здесь каталог всех участвующих с нашей стороны и переслать его туда, чтобы там напечатали. Об этой идее узнали художники из Ленинграда и немедленно присоединились к нам.

НЕЧИСТАЯ СИЛА НА САДОВОЙ

Мартовским утром 1979 года семь художников, дочка одного из художников и сенбернар Дуня сидели у коллекционера Люды Кузнецовой. Под окнами, во дворе, маячили фигуры в серой форме. 10 утра. Мы назначили на сегодня пресс-конференцию. Пригласили, помимо западных, и отечественных журналистов. На столике перед нами — два экземпляра наполовину готового каталога — Фестиваля «Москва — Париж». Наша двухмесячная работа. Там человек 80 художников. Тех, кого не смогли запугать или купить обещаниями.



Появляются гости. Один француз, один югослав, один американец. Этого достаточно. Другие корреспонденты, конечно, не явились. Сообщаем о планах. Югослав откровенно зевает. И действительно, что тут интересного? 80 жителей села Потемкина взбунтовались... Все записано. На все вопросы отвечено. Гости ушли. Мы готовимся заканчивать каталог, еще очень много работы. Надо написать письма и заявления — мы хотим все сделать правильно и официально. Мы законы уважаем, неприятностей не хотим.

Звонок в дверь. Видно, кто-то из художников. Сегодня мы фотографируем участников Фестиваля. Люда пошла открывать. Мы слышим какой-то шум, громкие голоса. Потом доносится крик Людмилы: «Закрывайте дверь!» Бросаемся к двери в коридор и видим: несколько людей в форме волокут хозяйку вон из квартиры, а двое направляются в нашу сторону по длинному коридору.

Захлопываем дверь, баррикадируемся. В окно видно (квартира на первом этаже), как Люду в одном платье бросают в «воронку». Увозят. Во дворе все новые и новые фигуры. За дверью скрежет. Пытаются открыть. Кто-то из нас у окон, другие — у двери. Громко предупреждаем граждан в форме, что, если они попытаются взломать дверь, будет большой скандал. Один из художников уже соединился по телефону с каким-то агентством печати. За дверью притихли. Пользуясь моментом, пока не отключили телефон, названиваем знакомым. За дверью громкий голос: «С вами говорит заместитель начальника отделения С.! Откройте дверь!»

— Не откроем! Отпустите незаконно арестованную хозяйку!

— Она задержана за сопротивление властям.

— Отпустите хозяйку, и мы уйдем.

Как же, уйдем... Все обложено, так просто они теперь нас не отпустят..

— Даю вам полчаса срока. Если не согласитесь, выведем вас насильно.

— Не выведете. Мы остались в комнате Кузнецовой по ее просьбе.

За дверью опять стихает. Мы совещаемся и решаем: никуда не выйдем, пока не отпустят Людмилу. Будем сидеть здесь хоть 15 суток — если хозяйку осудят за мелкое хулиганство.

Голос за дверью:

— Вы открываете?

— Нет, отпустите Кузнецову.

На всякий случай стоим у двери, подперев ее. Внезапно все снова стихает. Серые фигуры исчезают со двора. Нам дали понять, что мы можем безбоязненно уходить — никто нас не тронет. Знаем, знаем...

Поздно вечером начинают появляться под окнами знакомые. Расспрашиваем, что делается на улице, вне пределов нашей видимости. Ничего особенного. Две-три патрульные

машины, люди в штатском и несколько дружинников прогуливаются по Садовой.

Ночь. Сейчас предстоит ответственная задача: мы выпускаем в окно девочку, дочку одного художника, потом девушку-художницу. Труднее всего выпроводить сенбернара. Дуня — огромное животное, килограмм на 40. Под окном наш человек тянет Дуню за поводок, мы сверху пытаемся столкнуть ее. Уперлась, как художники... Еле спрыгнула. Теперь нас шестеро. Иудейское число? Дружно пишем в вазу. В присутствии женщин приходилось терпеть. Вазу тут же опорожняем в окно. Никто не вскрикнул, не выругался — под окнами никого нет! У двери, с обратной стороны, все время какое-то копошение, шорохи, поскрипывание. Смотрим в замочную скважину. Тихо, на цыпочках, по коридору и кухне разгуливают призраки с блестящими пуговицами.

На следующее утро, когда расслабленность наша прошла, принимаемся за работу: начинаем составление писем протеста и жалоб во всевозможные инстанции. Во дворе тихо. Днем прогулялись два человека в серых пальто, взглянули на окна. У арки, что ведет на Садовую, видны иногда одна-две фигурки в форме. Вечером снова переговоры через дверь с представителями власти. Безрезультатно. Иностранных знакомых к нам не подпускают. Один умудрился поговорить с нами через окно.

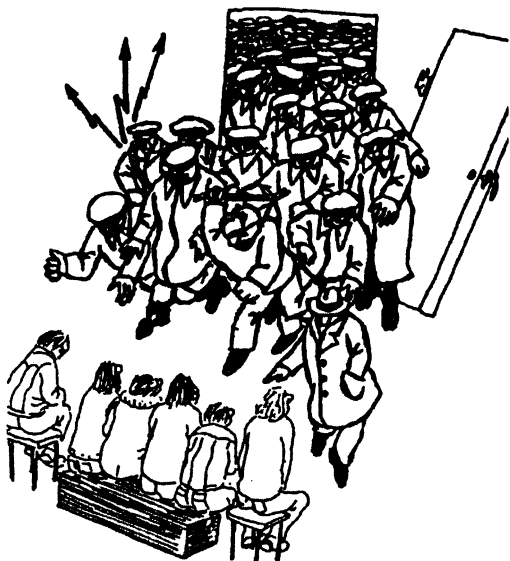
Слушаем радио: еще новость! В пяти минутах езды от нас, в американском посольстве — инцидент. Какой-то человек с гранатой прорвался во двор, на американскую территорию, и милиция застрелила его.

Утро третьего дня. Снова пишем. Телефон то включают, то снова отключают. Через окно подтягиваем авоськи с едой. Нас все время навещают. Фигур в сером не видно... Что это вдруг? Неужели оставили в покое? Но тут является одна девушка и говорит, что на Садовой, у входа во двор, в мастерской металлоремонта, у них целое гнездо: большая, горящая ярким глазом рация, люди в форме, люди в штат-

ском... Но во дворе — ни души. Не нравится мне все это... Телефон опять вырубили. Что-то слишком тихо. И знакомые почему-то не просачиваются во двор. Что там, кордон, что ли? Половина десятого вечера.

— Внимание! — кричит от окна кто-то. — Двигается черная масса!

Видно, как во двор бодрыми шеренгами вливаются люди в форме. Слышен шум работающих моторов, въезжают автомобили! В окнах головы любопытных. Когда же увидишь еще такое! Воплощается булгаковская феерия: идет власть брать нечистую силу! Или же нечистая сила берет художников? Тем более что дом, как уверяет Люда, и есть тот самый, в котором бушевали Коровьев, Азazelло и другие!



ПЕРВОЕ ВОЗМУЩЕННОЕ ПИСЬМО ЭББИ ХОФФМАНУ*

Эбби, ну и смехота у нас получилась! Сидят шесть здоровых жлобов в квартире, в Москве. Кругом все обложено дядями, по-вашему — копами. Сидим и шумим:

— Отпустите хозяйку! Отпустите хозяйку!

Хозяйка-то наша, коллекционерша, в Бутырке, в тюрьге сидит, дали 15 суток. А в квартире у нее, значит, заперлись шесть художников. Копами — кишмя кишит, во дворе, под окнами, на улице, в коридоре.

Иногда за дверью вкрадчиво вдруг вздохнет кто-то, когтями поскребет — но дверь закрыта.

Вот мы сидим так третьи сутки и немного уже шизеть начали. Копы весь третий день, как в тумане — то потухнут, то погаснут. Иной раз пуговичка блестящая где-то перед нашим взором блеснет — и снова все тихо.

Вечером мы пожрали чего Бог послал нам через окно от знакомых, радио послушали, узнали из «Голоса Америки», как мы сидим, и думаем: что дальше делать. Один из нас все время на стреме, у окна. Вот он кричит: «Идут! Во двор входят!» Матерь родная! Выглянули мы в окно — во двор нечистая сила прет, тыща человек! И машины! Эбби, мы поняли, чем дело пахнет. Оделись быстро в пальто, чтобы раздетыми не взяли — холодно; сели у окошка, ручки свесили и ждем. Сели и ручонки опустили специально — не дай Бог, обвинят в сопротивлении власти — такой срок могут намотать! Значит, мы сидим, а нечистая сила возникает из всех щелей: под окном ухают, из парадного кудахчут, под дверью влаивают. А после голос железный раздаётся:

— Слушайте, мы даем вам пять минут, чтобы вы открыли дверь. Не откроете — вам же хуже будет.

Мы сидим молча, переглядываемся. Прошло пять минут. За дверью слышен рев и толчки и грохот, и дверь с петель срывается! И всю комнату вмиг заполняет нечистая

сила! Помню точно, впереди других бежит рыжий опер в зеленой нейлоновой финской куртке. Хавальник разинут, там фиксы мерцают, шапка пыхиковая на брови надвинута, а в руке — наперевес — фомка, ну, знаешь, такой маленький ломик. Ну, Эбби, дела! Они нас у окна попржижали, но стоят в метре перед нами, не подходят! А сзади в дверь их полчища подваливают! Так набилось — у вас, небось, во всем Гарлеме копов не наберется столько!



Один, в сером пальтишке, так, ничего особенного, нос сливой, орет:

— Вста-а-а-ать! Предъявить документы!

А мы ему:

— Вы предъявите сначала!

Тогда этот, со сливой, командует:

— Взять!

И нас берут. Поднимают и поодиночке через их строй на лестницу направляют. Но, скажу честно, Эбби, вели себя нормально. Пальцем не тронули. Запад уже знал о

нас, это и помогло. А во дворе-то, Эбби, что делается! Там все шевелится от нечистой силы! Мигалки на коповских машинах крутятся, рации квакают, все волнуются.

Ну, запихали нас в разные воронки и повезли. Меня с одним нашим посадили и везут. Везут и везут. Время уже ночное. Куда везут?

Наконец остановились. Приказали нам выходить. Вышли. Что-то вроде тюрьмы. Бетон, асфальт, камень. Входим внутрь через железную дверь. Коповская дежурная. А дальше по коридору — вижу — камеры. Ну, нас ошмонали, а после уводят по разным камерам. Меня дежурный ведет, молодой такой коп, с бачками и усиками; из провинции он, Эбби. Лязгнул ключом, потом другим и меня в камеру впустил. Я вошел и огляделся: метра 4 на 4. Во всю ширину — из досок — нары. На нарах человек лежит, пальто накинуто. Все. Больше в камере ничего нет. Туалета нет. Крана нет. Голые нары. Под самым потолком окошко. Знаешь, Эбби, я тебе окошко обрисую: сначала прутья в палец толщиной, потом мелкая сетка, потом форточка, потом прутья снова, потом намордник, а после — небо черное.

Я с человеком двумя словами перемолвился. Он по пьяному делу попал, часы, что ли, снял у кого-то, не знаю. В общем, Эбби, сижу на нарах. Курева нет. И вот человек этот увидел, что я маюсь, и протягивает мне папиросу «Беломор». А после он мне от своей жратвы кусок дал. Вот, Эбби, скажи, в ваших тюрьмах помогают так друг другу? Меня мужик совсем не знает, да и видит, что я не его покроя, а со мною делится. Эбби, полтора суток примерно в камере держали. После вывели, посадили опять в «воронки» и долго куда-то везли. Привезли в центр Москвы, в тихий переулочек. Там такая шарага — товарищеский суд. Но это фуфло все, Эбби. Там сидит настоящий судья. В товарищеском суде смехота одна, судить они не могут, только порицают. А тут — народный судья. Он тебе — раз! — и любой срок припаяет. Но его позвали сегодня только малень-

кие сроки давать. Я уж думал, что 15 суток получу. Стою я, это, перед судьей, а рядом с ним свидетели: копы, которые нас брали. Значит, копыта они прикрыли, когти убрали, стоят ангелочки, чуть не краснеют. И объясняют, как девочки, что они, мол, тихие, а мы, шестеро, буйные. Ну, судья посмотрел на мою небритую рожу и присудил мне денежный штраф. И вскоре меня отпустили.



Эбби, я тебе сжато рассказал. Понимаешь, может, у вас нам в этой ситуации больше бы попало. А такая ситуация может у вас быть? Нас пальцем не тронули. А был момент! Они перед нами прыгали, орали:

— Падлы! Гитлера на вас нет!

Другие ревели:

— Жиды!

Третьи:

— Сталина на вас, суки!

А один все спрашивал:

— Ну что, тебе показать, как делаются несрастающиеся переломы?

Эбби, эта нечистая сила нас не слишком напугала. Скорее, другие художники увидели со стороны, что может быть, если поперек пойдешь, и сами отвалили от нас. Вот, Эбби, какие делишки с московскими художниками-модернистами. А ты говоришь — Соломон Гуггенхейм, Соломон Гуггенхейм...

Комментарии 20 лет спустя

Выставку «Москва — Париж» — явно провокационную, альтернативную подготавливаемой официальной, придумали московские художники. Я тоже помогал. У Люды Кузнецовой были сильные трения с гебистской конторой. Та постоянно натравливала на Люду милицию — то она не работает, то дочку в школу не пускает, то соседи жалуются — шумно в квартире. Когда Люда объявила, что в ее квартире будет делаться каталог выставки, то есть художники будут там готовить материалы, фотографировать участников, милиция стала приходить каждый день — под разными предложениями. И скоро Люда перестала их пускать в дом. А дальше случилось то, о чем я написал 20 лет назад. Вломились, выхватили хозяйку, в чем была, и увезли. Когда мы заперлись и твердо решили не выходить, возник вопрос: как себя от провокаций оградить. Тут я сообразил: надо немедленно любым способом удалить из квартиры дочку Люды Аню, художницу Наташу Елисееву и огромную собаку. Собака могла бы запросто загрызть мента, если бы кто-то вздумал сейчас выламывать дверь. А девочка Анечка была очень красивой, и сами понимаете — что могли менты придумать... Это относилось и к Наташе Елисеевой.

Поэтому мы их в окно и высадили.

Как бы сейчас происходил захват? Думаю, штурмовал бы ОМОН — как положено, с вышибанием двери кувалдой, с автоматами, ревом и, возможно, телесными повреждениями.

А потом в этой квартире «случился» пожар. Его быстро загасили, а тут и художники подоспели. Так что мы присутствовали во время «следственных» действий. Стояла едкая вонь. Следователь УВД и представитель пожарной охраны ходили, что-то рассматривали, делали вид, что ищут причину «возгорания». Совсем это было неумно. Все улики и следы были прямо перед ними, а они их не замечали. Потом нам это надоело, и художники договорились, что я выскажу общее мнение о причине «возгорания».

— Вы прекрасно знаете, товарищ следователь, что в квартире никого не было в момент пожара. Нас, шестерых, задержали, и дверь была опечатана. На стенах перед вами — остатки картин, они обгорели, их пожарники залили водой. Одна картина, как вы видите, сгорела полностью. Это была картина Рогинского «Примус», что легко установить по фотографиям. Теперь обратите внимание на трехлитровую банку на полу, вернее, на ее осколки. В этой банке был резиновый клей, который, как вы знаете, легко воспламеняется и долго горит. Какой-то шутник облил из банки «Примус», и тот вспыхнул. Вот вам наша версия происшедшего.

Их совершенно не интересовало мнение художников. Кураж наш прошел. Сначала осада, потом штурм, потом КПЗ, суд для пятнадцатисуточников — не слишком ли это много для одной, даже провокативной, выставки?

У нас сохранился один наполовину сделанный каталог выставки. К счастью, он хранился у друзей, на окраине Москвы. Поехали туда. Когда подъезжали, Виталий Длугий заметил за нами слежку. Проверились — точно, следят! Пришли в квартиру, где хранился каталог. Зачем он нам теперь нужен, раз выставки не будет? Из чувства оби-

ды, злости и унижения решили — все равно передадим его в Париж, коллекционеру Глезеру*.



Как нам выйти из дома и сохранить каталог, чтобы не отняли? Я придумал как. Нас было шесть или семь человек. Все взяли в руки какие-то сумки, пакеты и свертки, набитые всякой дрянью. И только в одной сумке был упакован увесистый каталог. Тут мы вспомнили, что сейчас в Горкоме графиков идет вернисаж наших художников и там столпотворение — то, что нам надо! На двух такси доехали до Малой Грузинской и оказались в знакомой среде. Буквально в спину нам дышал плотный конвой. Что они ожидали у нас найти? Или их насторожило большое количество сумок и пакетов в руках? В толчее и суетне Виталик Длугий улучил момент и передал мне каталог. Я положил его в синюю наплечную сумку, вытряхнув оттуда мусор. Долго слонялся взад-вперед по коридорам и залам. Вместе со Славой Савельевым* мы заскочили в приемную гражданина начальника Горкома Ащеулова. В приемной была только красивая секретарша Люся. Окна приемной выходят совсем на другую улицу, не на Грузинскую. На глазах изумленной Люси Слава запер входную дверь, а я открыл

окно, встал на подоконник и исчез. Приемная и кабинет начальника находятся на первом этаже. Слава рассказал потом, что девушка Люся сообразила, что мы от кого-то скрываемся. Она закрыла окно и задернула шторы.

Я передал альбом по назначению, и он был переправлен через несколько надежных рук в Париж. Но кажется, так и не понадобился.

ВТОРОЕ ВОЗМУЩЕННОЕ ПИСЬМО ЭББИ ХОФФМАНУ

Эбби, основная-то заварушка у меня раньше случилась. Месяцев за пять до того, как нас, художников, повязали. Это все со мной случилось из-за того, что я рисую чего не положено. А положено у нас рисовать, дорогой мистер Эбби Хоффман, только то, что властями сверху разрешено. А я все никак приноровиться не мог.

Да ничего я такого и не рисую. Ну, подумаешь, болваны какие-то. Ну, человек стоит — босс, видать, шеф. И машина рядом. И около — вертухаи, топтуны. Охрана, словом. А этому боссу (он приехал поглядеть) два болвана из-за пригорка солнце деревянное с лучами поднимают. Вот и все. Так они же думают, что это я их рисую. И решили они мне устроить веселую жизнь.

Я у своей подруги был. Вдруг, часов в восемь утра, резкий звонок в дверь. Подруга дверь раскрывает, а там... правильно, коп, и еще с бабою. Ты, небось, по хлебальнику дал бы, а? Чтоб не будили. Но тут — шалишь! Вваливаются представители власти и чего-то невнятно объясняют. Баба в шубе и меховой шапке все время встречается. Эбби, ты представь: они вваливаются в восемь утра и требуют документы. Тогда я начинаю немного волноваться и говорю бабе: тут банды объявились, ходят, грабят, вы покажите свое удостоверение. Она лезет в сумку и достает

красную книжку. Я вижу написано, — следователь УВД. По-вашему — ФБР.

Тут они мне говорят: вы, Сысоев, сейчас для беседы с нами поедете. Я заартачился было, но они уговорили: сказали, что, если добром не соглашусь, они силой заставят. Это, Эбби, уж точно. Только силой они все и могут. Я оделся кое-как и выхожу с ними на лестницу. Там из ничего вдруг еще один шкаф возникает. Он пальцем ткнул в кнопку, лифт поднимает. Я тут пошутил; сделал шаг к лестнице вниз, в глаза смотрю и говорю:

— А что, если я сейчас... — и движение сделал, что побегу...

Шкаф не спеша руку поднял и ребром мне перед носом поводил:

— Еще раз шевельнешься, и вон там окажешься, — и показал, где именно. Где-то внизу.

После привезли меня в коповский отдел, ошмонали и заперли в пустой комнате. А баба-следовательша исчезла. Я часок проскучал, и вдруг она опять приехала. Объяснила, что одного коллекционера шмонали и нашли будто бы мои рисунки с порнографией. Стала она мне допрос делать. Все чин чинном. Вообще, Эбби, баба ничего. Только вдруг в середине нашего мурлыканья она опрометью срывается и убегает. Один раз, потом другой. А прибегает очень возбужденная. Глазенки горят, смотрит интимно, бюст вздымается. Я усек, Эбби, что она ездит к подруге моей и что там, видно, обыск идет. А возбуждение женщины средних лет понятно: где еще увидишь всякие западные издания? Во время шмона! Альбомы по искусству и все такое прочее. Вот знаешь, Эбби, скажу честно, будь я более испорченный или наглый, надо было эту бабу прямо на столе среди бумаг разложить. Она мне все о порнографии долдонит, а я ее спрашиваю, пусть мне расскажет, что это такое. Тем более что она дверь запирает изнутри, когда допрашивает. Глазками постреливает, все о половом воспитании беспокоится. Потом вдруг говорит, что сейчас обыск идет у подруги, а заодно и у меня дома. Я-то уж подготовился, ничего.

Но выясняется, что нам нечего делить. Любовь не получилась. Она меня отпустила. Я тихонько пошел к подружке пешком. Чего спешить? Там разгар шмона.



Дошел. Захожу. Опять следовательша в квартире. На машине шмыгнула, ясно. Пятеро в комнате орудуют, а подружка сидит за столом, их в упор не видит и делает свою чертежную работу. Мадам, что со мной запиралась, покрутилась и исчезла. Я бухнулся в кресло и часа два сидел, глядел, как профессионалы шмонают. Ничего, грамотно. Ты, наверное, спросишь: а где ж мой адвокат? Зулус ты, Эбби. Не положено тут никакого адвоката. Вот когда тебя захомутают да предварительное признание закончится, тогда только адвоката могут допустить. Да и адвокаты... Ладно, не буду тебя расстраивать.

Копы и двое из нашего ЦРУ все отложили, что им нужно унести из моих вещей. Один, в туфлях-копытах, в финском пиджаке, прошел в коридор и принес здоровенный мешок. Ваши тоже с мешком ходят?

Есть такое выражение у нас: что ты, такой-сякой, будто тебя пыльным мешком из-за угла хряснули? Это когда человек не в себе. Вот я сижу, подружка чертит, а копы в мешок мои невинные вещи кладут. С их точки зрения — все незаконное, все запрещенное.

Вскоре нечистые испарились, оставив нам список изъятого, и мы с подружкой поговорили как следует. Как Божий день ясно, Эбби, они решили меня захомутать. Они все шмонье

разберут, что-то зацепят и будут меня тащить, пока не посадят. Допек я их своими рисунками, Эбби. Упырь не любит смотреть фильмы про Дракулу, как считаешь? Они себя в моих рисунках видят, ясно — я и есть главный преступник. С этого дня, Эбби, все и покатилося, наискось и вниз.

Комментарии 20 лет спустя

На Преображенку, где я жил у Е.С., и по месту прописки в Беляево пришли с обыском одновременно. Стоял ноябрь 1978 года. Каждый шмон длился 8 часов — полный рабочий день. На каждой квартире было по шесть человек, по одному участковому плюс два понятых. Больше всего охотились товарищи за рисунками и за яйцами моего изготовления. Они были сделаны из полистирола, отшлифованы мелкой шкуркой и расписаны так, как я обычно делал — сначала рисунок тушью, потом нанесение тонкого слоя краски. Сверху все покрывалось несколькими слоями прозрачного лака. Я сделал несколько яиц с нехорошими рисунками. Было три Леонида Ильича в виде ваньки-встаньки. То есть положить его было нельзя, он сразу вставал. Мундир, увешанный наградами, шел вкруговую вокруг яйца. Очень товарищей интересовал Леонид Ильич, стукачи проинформировали. Но яиц давно не было в доме, а папка так и не была найдена.

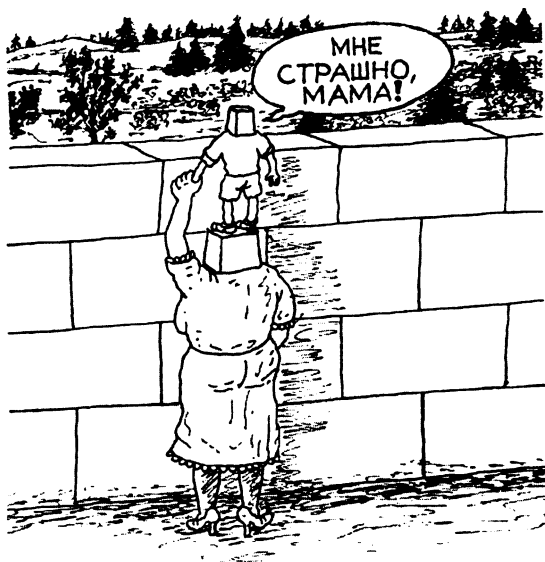
Внимание!

Хочу указать на досадные огрехи в работе следственных органов КГБ. Недопустимые промахи в работе обыскивающих наблюдались в те застойные годы! Накануне вечером я принес огромную папку со своими рисунками и поставил в спальне, около двери, причем тут же забыл об этом. Когда обыскивающие вошли, они, естественно, открыли настежь дверь в спальню, прижав папку к стене. И

не увидели ее. Чему только учили их в школах! Сколько денег народных пущено было на воздух!

* * *

В Теплом Стане мать только собралась на работу в министерство, как в дом вошли обыскивающие. Бывшая жена Н.К., жившая в этой же квартире, тоже собиралась уходить, вести сына в детский сад.



Интересна реакция моей матери и сына. Мать всячески давала понять, что она лояльная, на хорошем счету в министерстве, чуть ли не просила товарищей справиться на ее работе...

Очень им было это нужно. Плевать они хотели на ее верноподданность. Интересовало их другое.

Один из товарищей увидел на стене эскиз маслом Новодевичьего монастыря и стал его разглядывать.

Мама тут же сообщила:

— Это картина Вадима Дементьева*. Он очень хороший художник, член МОСХа...

— Угу, — сказал ценитель искусства, снял работу со стены и внимательно обследовал обратную сторону: нет ли недозволенных вложений.

Четырехлетний сын наблюдал за действиями товарищей, в его голове, видимо, происходила какая-то сложная работа. Он понимал, что ищут что-то мое, чтобы потом взяться за меня. Поразительно, как он все сложил в голове! Вот что значит советские гены! Когда после изнурительного рабочего дня товарищи освободили помещение, сын, видимо, решил, что арестуют не только меня, и спросил у бабушки:

— Баба, а если и маму еще арестуют, я с тобой останусь, что ли?

* * *

Интересная деталь: когда после моего ареста пришли еще раз на Преображенку, а это было через четыре года, то изымать практически было нечего — но исхитрились все-таки, изъяли совсем никчемные бумаги, бросовые эскизы, копиру. В комнате сына Е.С. на стене висел плакат с изображением членов Президиума ЦК КПСС. Сын Е.С. скрупулезно следил по газетам за жизнью номенклатуры и после смерти очередного верного упыря-ленинца обводил его фото черной рамкой.

Товарищи и это изъяли, вписав в протокол изъятия: «плакат с изображением Членов Президиума ЦК КПСС, обведенных черными рамками». В дальнейшем еще были обыски — один на даче, в «Заветах», и несколько — у художников, которых подозревали в том, что они что-то мое прячут.

Когда товарищи планировали операцию со мной, задание, скорее всего, было простое: найти рисованную антисоветчину, яйца с Брежневым или, на худой конец, мои

рисунки с порнухой. Ничего этого дома не нашли. Ограничились какими-то рисунками, взятыми на другом обыске, и двумя рисунками в английском альбоме по искусству.

Что же они изъяли у меня?

О, это был полный диссидентский набор!

ИЗ ПРОТОКОЛОВ ОБЫСКОВ

(Выборочный обобщенный список)

2 листа копировальной бумаги черного цвета.

4 изделия в форме яйца, в коробке с надписью «Яйца Сыроева».

5 коробок со слайдами порнографического характера общим количеством 683 штуки.

Альбом аппликаций на сюжеты истории России — 35 листов.

Альбом самодельный с надписью «Idioti per Idioti».

Альбом самодельный с надписью «Kretini per Idioti».

Альбом самодельный с надписью «Umore per Idioti».

Альбомы с комиксами иностранного производства — 6 штук.

Брошюра Мао Цзэдуна «Почему в Китае может существовать красная власть?». Пекин, 1967 г.

Владимир Набоков «Возвращение Чорба».

Владимир Набоков «Лолита».

Графический рисунок черной тушью с карикатурой на боевые действия размером 450 x 600 мм.

Грэм Грин «Тайный агент», ксерокопия.

Две квадратные бутылки с черной тушью.

Две компактные кассеты с записями зарубежных радиостанций.

Две не проявленные пленки в футлярах.

Две пачки с патронами для стартового пистолета.

Журнал «Магритт», изд. Дэвид Бэркин.

Журнал «Плэйбой» на японском языке.

Журнал с иллюстрациями «Поль Гоген».

Журнал с надписью «Топор — токсикология», изд. Дигоген.

Журнал с надписью «Топор».

Записная книжка в красном переплете (I).

Записная книжка в красном переплете (II).

Записная книжка в черном переплете.

Картина с изображением мужчины, выполненная тушью, с надписью в углу: «Пугачев», В. Сысоев.

Кассеты магнитофонные с записями иностранных радиостанций — 4 шт.

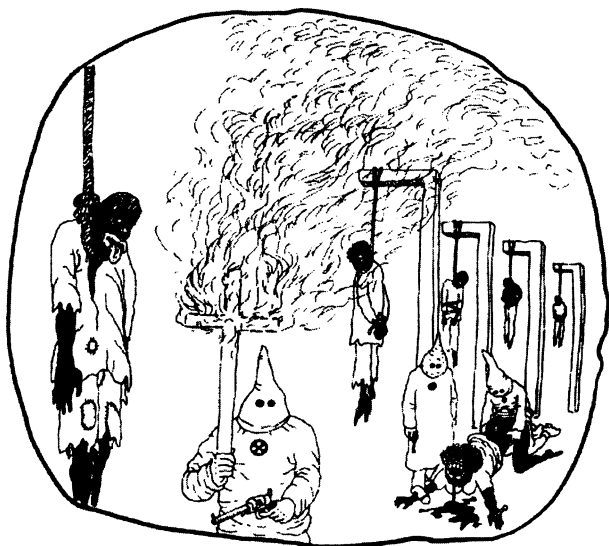
Книга Бердяева «Самопознание», изготовленная на множительной аппаратуре, — 377 стр.

Книга В. Набокова «Весна в Фиалте».

Книга Кузмина «Вожатый».

Книга М. Цветаевой «Лебединый стан».

Костюмаров. Три тома «Истории государства Российского».



Ксерокопия М. Булгакова «Собачье сердце».

М. Цветаева «Неизданное», ксерокопия.

Одиннадцать красителей в тубиках.

Пакет с фотографиями порнографического характера.

Портрет Мао Цзэдуна самодельного изготовления в рамке черного цвета размером 4,2 x 4,5 см.

Приглашение на свадьбу.

Произведение в форме яйца на тему — США — Китай — Россия, выполненное из дерева.

Произведение М. Цветаевой «Молодец». Ксерокопия.

Рассказы о художниках, умерших и уехавших (автор В. Сысоев), на шести страницах.

Рисунок тушью, изображающий цветок, размером 225 x 250 мм, с надписью: В. Сысоев, 1976 г.

Самодельная игра «Мировое господство».

Стихотворение К. Сапгир «Вино и водка товар ходкий».

Тетрадь с произведениями «Совершеннолетие».

Черновая запись записки в пластмассовом футляре синего цвета.

Черновая запись на клочке газеты, с цифрами -8-184 и надписью «Париж».

Как-то обидно даже. Государство так много делало для сотрудников органов, а они так халтурили! Подумаешь, разоблачили! «Кассеты магнитофонные...»

Кстати, в Интернете мне попался

*«Акт об обыске у Ягоды * , 1937 года, апреля 8 дня.*

Мы, нижеподписавшиеся, комбриг Ульмер, капитан госуд. безопасности Деноткин, капитан госуд. безопасности Бриль, ст. лейтенант госуд. безопасности Березовский и ст. лейтенант госуд. безопасности Петров, на основании ордеров НКВД СССР за № 2, 3 и 4 от 28 и 29 марта в тече-

ние времени с 28 марта по 5 апреля 1937 года производили обыск у Г.Г. Ягоды в его квартире, кладовых по Милитюнскому переулку, дом 9, в Кремле, на его даче в Озерках, в кладовой и кабинете Наркомсвязи СССР.

В результате произведенных обысков обнаружено (выборочно. — В.С.):

- 3. Коллекция порнографических снимков — 3904 шт.
- 4. Порнографических фильмов — 11 шт.
- 61. Пластинок зарубежных — 399 шт.
- 62. Четыре коробки зарубежных пластинок ненаигранных.
- 112. Пленок с кассетами — 120.
- 118. Чемодан с разными патронами для револьверов — 1.
- 119. Патрон — 360.
- 128. Пишущая машинка — 1.
- 129. К-р. троцкистская, фашистская литература — 542».

Вот это размах! Масштабно работали при Отце Родном! Какие люди были...

ТРЕТЬЕ ВОЗМУЩЕННОЕ ПИСЬМО ЭББИ ХОФФМАНУ

Эбби, ты попадал в ситуацию, когда бьешься как рыба об лед? Вот ты бьешься-бьешься, а потом начинаешь окостеневать. Хвост примерзает, затем голова. Так я бился с нашими ФБР и ЦРУ. Это довольно бесперспективное дело. Я им пишу жалобы, что они, мол, нарушали закон, что много было несправедливого, когда они пришли и стали все мое шмонать. Книжки-то при чем тут, если я порнограф? Может, ты слышал, в России, помимо самоваров и

водки, были еще поэты и писатели. Ну там, Мандельштамы, Пастернаки, Цветаевы всякие. И все это у меня унесли. Сложили русскую литературу XX века вместе с Гогеном, Магриттом и еще со многими другими в мешок, взвалили на плечо — и вниз, в свою опермашину. Эбби, это очень горько и обидно, когда все, что ты собираешь и достаешь годами, вдруг скопом у тебя крадут. Ты соображаешь, наверное, что если бы все, что у меня утащили, я мог запросто купить — скажем, в супермаркете, — то и разговору бы не было. Понимаешь, Эбби, тут говорят, что мы — самая читающая страна. Может, поэтому или еще почему-то, но в России книг любимых совсем нельзя достать. Как тебе объяснить, чтоб ты понял. Ну, представь, что стоит статуя вашей свободы, она только в Нью-Йорке, и нигде больше ее нет. Есть у вас открытки, брелоки, безделушки в виде вашей свободы — но это все не то. С книгами у нас так же. Вроде бы есть книги. Но подходишь и видишь: это справочники, словари, учебники... И все! Книжки настоящие русские продаются для иностранцев, на ваши тугрики. Или же они, книжки, у вас лежат, в ваших советских американских магазинах. Потому —

обидно, эх, досадно,
до слез и до мучений,
что в жизни так поздно... —

поет Теодор Бикел.

Я писал жалобы, а потом получал из нашего ФБР ответы и очень ясно ощутил, как мягка человеческая голова, когда с разбега об стенку ею бьешься. Я пишу им обо всем, что тебе написал, а мне ответ приходит: никаких нарушений со стороны органов не обнаружено.

Представь, ты идешь по Файф-авеню, подходишь к благородному, на вид очень интеллигентному джентльмену и спрашиваешь:

— Эксклизьми (т.е. прошу прощения), сэ, не будете ли вы столь любезны сказать мне, который сейчас час по Гринвичу?



А благородный джентльмен, в прекрасно сшитой тройке с бордовым галстуком, в черных лакированных ботинках, смотрит на тебя, потом расстегивает штаны и показывает пипиську. Они мне это дело уже два года показывают, а меня в порнографии обвиняют.

В общем, Эбби, я все писал и писал, а они мне все показывали и показывали. Сначала я вроде свидетель был, а после они видят, что я упрямый, и начали на меня прямо давить: взяли и сделали уже мне статью. Я на допросы в наше ФБР не ходил, так они мне домой бумажку прислали: вы, мол, Сысоев, обвиняетесь теперь в порнографическом распространении. Такие дела, Эбби. Я еще побрыкался некоторое время, а после вижу — уж очень они насаждают, прут — как негры за пособием, и ушел. Испарился я, Эбби. Очень мне хотелось рисовать. Я вообще любил всегда рисовать, а сейчас мне особенно хотелось. И вот я вещички сложил, взял и ушел, с подругой своей попрощавшись. У

меня никакого плана определенного не было. Думаю, что я все-таки правильно сделал, Эбби. Я за это время много всего нарисовал. И они меня искать начали. Наши фэбэ-рушники. Через полгода, как я смылся, меня в розыск объявили:

WANTED SYSSOEFF

Такие дела, Эбби. Сам понимаешь, при чем тут порнография? Что я, маркиз де Сад, что ли? Все это мне тошно писать. Надоело повторяться. Но для тебя, думаю, будет довольно интересно прочесть, как здешняя машина работает. Еще вот что забавно: если ваших копов против наших поставить, войско на войско, кто победит? Давай, Эбби, поспорим на мой или твой гонорар. Я на наших ставлю. Я ваших в кино видел — здоровенные слоны! Наши поменьше. Но у наших идейно-политическое воспитание на высоте, а ваши — жулье. И на лапу берут. Давай спорить — наши ваших победят! Вообще-то не надо этого. А то победят ваших, так вы вообще на улицу не сможете выйти — всех ваши же блатные перережут. Нет, пусть они не дерутся, а пусть лучше все вместе объединятся! Представляешь, что будет? В Нью-Йорке копы с нашими перемешаны, в Москве — то же самое. Ваши ходят на политзанятия, а наши стали, как ваши, — на лапу брать. Так и сольемся вместе, в едином строю, с едиными целями во имя общего светлого будущего.

Комментарии 20 лет спустя

Хотя я и проходил в спецшколе курс научного коммунизма и атеизма, я знал, товарищи, что Бог есть.

Вот и еще одно доказательство этому от противного.

Под вечер в квартире на Преображенке раздался звонок и меня попросили к телефону. Хамский голос с угро-

жающими интонациями сообщил, что говорит со мною следователь Чуев, что совершенно возмутительно, что я по повесткам не являюсь на допрос, так что, смотрите, вам же будет хуже, вы что, не понимаете, что есть требования закона, тем более что вы во все инстанции и западным журналистам жалуетесь, а мы просто хотим разобраться и ничего плохого делать вам не собираемся, нам просто-напросто надо вас допросить и все, вопрос будет закрыт, а если вы не понимаете хорошего языка, то мы примем другие меры, будьте спокойны, мы можем и по-другому решить этот вопрос.

— Вы придете утром на допрос?

— Пока твердо не знаю, но, наверное, приду.

Я знал, что никуда не пойду. Обсудил с женой этот звонок. Ждать было нечего. Все. Надо куда-то уходить, переждать. Пусть дальше будет, как будет. Может, на какие-то жалобы вразумительные ответы придут (шесть раз!), может, в прокуратуре убедятся, что гебешники бесчинствовали (обязательно!), обратят внимание на нарушение процессуальных норм (расстреляют обыскивающих...), в общем, поживем — увидим.

Собрали какие-то вещи. Я надел куртку, повесил на плечо сумку и вышел из дома. Я расставался с этим миром на шесть лет. Дошел до метро, как раз его открыли, и поехал на «Динамо», к Лене Прудовскому.

* * *

Звонок в дверь на квартире Елены Сергеевны раздался через час после моего ухода. Через дверь сказали, что пришел участковый, надо что-то узнать. Она открыла. В квартиру ворвалось несколько человек, причем в форме был только один.

— Где он?

— Уехал.

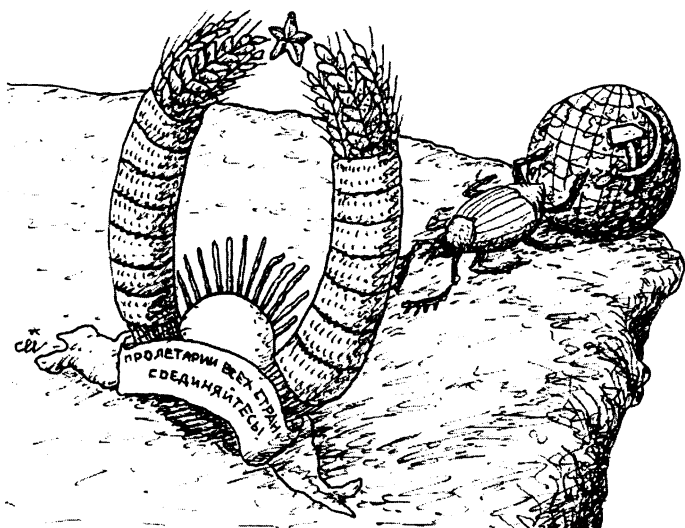
— Куда?

— Не знаю.

— Если он не хочет для себя больших неприятностей, пусть явится по этой повестке!

Хорошо, дорогие друзья, что я такой упрямый. Естественно, я сделал прямо противоположное тому, что советовали дяди-рукокруты.

Я ушел из дома в никуда и не знал, что будет завтра. Но я ни разу за эти годы не пожалел об уходе! Не для меня оказался в данном случае лозунг «Раньше сядешь, раньше выйдешь». «Сесть-то в нашей стране успеешь, — подумал я, — чего торопиться, пока пересидим где-то лето, а там...»



* * *

На какое-то время меня поселили за Речным вокзалом, на Фестивальной улице.

Условия были самые спартанские. В пустой комнате я постелил принесенный надувной матрас. На кухне были какие-то плошки и чайник. Все.

Сначала я жил один и должен был так жить далее, как сказал Валера Абрамкин*, приведший меня туда. Но что-то там изменилось, и без всякого предупреждения на квартире оказались еще два постояльца — мужчина и женщина. Мне как-то не очень это понравилось, но они сослались на Валеру, и я не стал спорить. Вечером дама заявила, что будет спать на надувном матрасе, а мы, как кавалеры, на полу.

Видимо решив, что в конспирацию играть уже не надо, дама прямо спросила меня, не знаю ли я, где можно достать взрывчатку. Конечно, можно было посмеяться. Но уйти мне было некуда, я ждал Валеру. Гости, судя по всему, тоже не собирались уходить.

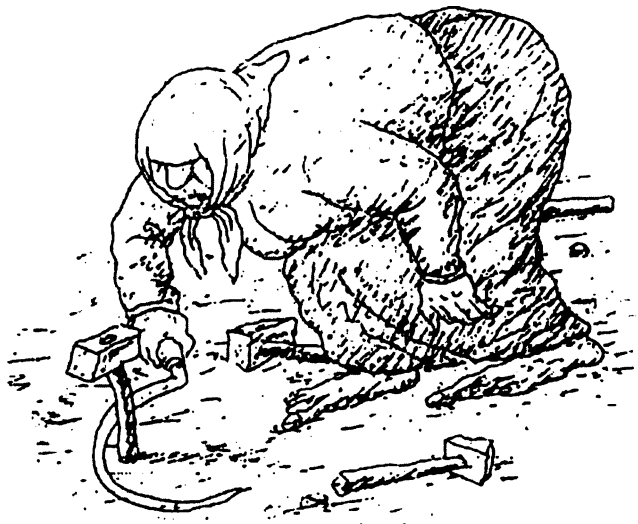
— На какой предмет? — поинтересовался я.

Посмотрели на меня недоуменно:

— Кремль взорвать!

— Смысл?

— Доказать им, что мы есть!



Чтобы не выглядеть идиотом, я не стал спрашивать, кто такие *мы*.

Спросил, что они дальше намерены делать.

— Взять власть.

— И вы уверены, что ее так легко взять?

Они пренебрежительно махнули на меня рукой:

— Власть взять пустяки, вопрос, что дальше с ней делать?

Сначала я подумал, что конспираторы просто смеются надо мной, проверяют, не debil ли я. Но по мере продолжения разговора понял, что случай значительно сложнее — тут уж, извините, даже психиатры из Серпов (Институт им. Сербского. — *Примеч. В.С.*), посылавшие диссидентов в дурдом, просто ничего бы не смогли сделать. Тут какой-то международный консилиум по вопросам диссидентского терроризма или террористического диссидентства надо собирать! Чтобы клевету на нашу родину не лили! Пусть враги мира и демократии сами убедятся, что хороших, честных и здоровых *мы* не преследуем!

Я до сих пор не знаю — что это было, всерьез, в шутку? Они были трезвые. Водку не пили, вино — тоже. У мужчины был серый, землистый цвет лица. Как будто он долго где-то жил без света и солнца. Я до сих пор не знаю фамилии этих великих конспираторов-диссидентов. Судя по отдельным фразам, они занимались то ли независимыми профсоюзами, то ли выпуском чего-то нелегального.

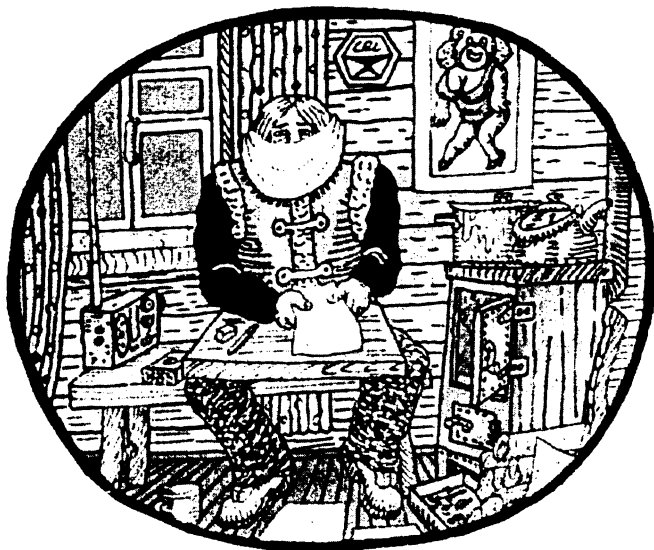
О себе я не распространялся. Через пару дней явился Валера Абрамкин. Увидев соседей, он тихо сказал:

— Немедленно уходим.

Все вещи мои тогда умещались в наплечной сумке.

Мы ушли, и я где-то перекаптался неделю, а потом приехал к Лене Кулинской, на Профсоюзную. С ней у меня была договоренность. (С Кулинской я познакомился после скандальной выставки на ВДНХ. Смелая была девушка, антисоветчица и самиздатчица. Чудом избежала репрессий со стороны карательных органов. Помогала мне все годы,

пока я был в «бегах». Живет в Англии. — *Примеч. В.С.)* Я совершенно не представлял, что со мной будет дальше. С того момента, как хам следователь Чуев в угрожающей форме потребовал явиться, а явились товарищи в квартиру к гражданской жене, в надежде меня арестовать, прошло несколько месяцев. У меня была надежда пересидеть где-то у знакомых в ожидании, пока волна уляжется. Но каждый день радио доносило до нас вести одна другой хуже: чем меньше времени оставалось до Московской Олимпиады, тем больше было гебешных арестов, обысков, провокаций. В пермских лагерях прессовали зеков, «не вставших на путь исправления», всюю накручивали повторные сроки.



Приехала Елена Сергеевна с новостями. Домой к ней пришел пожилой печальный участковый, уходивший на пенсию. Ему ничего не было нужно, он ни о чем не спрашивал. Показал стандартный листок, из тех, что рассылались по всем отделениям милиции. На бумаге были указа-

ны моя фамилия, состав преступления и статья, по которой я должен был быть привлечен. Через бумагу красным напечатано: «РОЗЫСК».

Он просто пришел ее предупредить. Мне стало ясно, какой путь выбрали товарищи. Никакой политики. Я мелкая сошка, рядовой изготовитель порнографии. ГБ совершенно тут ни при чем, меня ищет МВД. К счастью, у милиции был свой взгляд на это, и они практически не искали меня все эти годы...

КИРПИЧ ИЗ «БЕРЕЗКИ»

Уже порвав всякую связь со своим домом, я еще встречался некоторое время с друзьями. И как-то раз с другом, что по-русски говорил почти как русский (французский журналист Габриэль Меретик*. — *Примеч. В. С.*), мы вышли из его подъезда. Иностранное гетто сверкало всеми красками. Стояли красивые иностранные машины. Яркие иностранные негритянские дети играли на сером московском асфальте. Мы пошли к машине моего друга. Тут внезапно на территорию гетто въехала реанимационная «скорая помощь». Прошу запомнить этот факт. На машине крутились вертушки, вся она была необычайно пестро оформлена.

Когда мы выезжали, пришлось на минуту остановиться у контрольной милицейской будки. На улице был забор. Друг сказал мне с огорчением:

— Обращался к вашим, хотел установить УКВ-телефон для связи с бюро. Сказали — нельзя. Я теперь вожу с собой это... — Он полез в маленькое отделение и показал мне телефонную трубку с проводом, который не шел никуда. Тут же, перед милицейским взором, я приложил трубку к уху и стал что-то говорить...

Друг решил довести меня до Трубной, а перед этим, буквально на пять минут, заехать в «Березку». Продукто-

вый магазин «Березка» у Белорусского вокзала всегда был отгорожен жалюзи от взоров жителей. Западные знакомые жаловались на скудный выбор продуктов и дороговизну в этих оазисах буржуазного сервиса. В таких случаях я всегда говорил:



— Покупайте продукты только в обычных магазинах или на рынках.

Тогда они начинали дико хохотать...

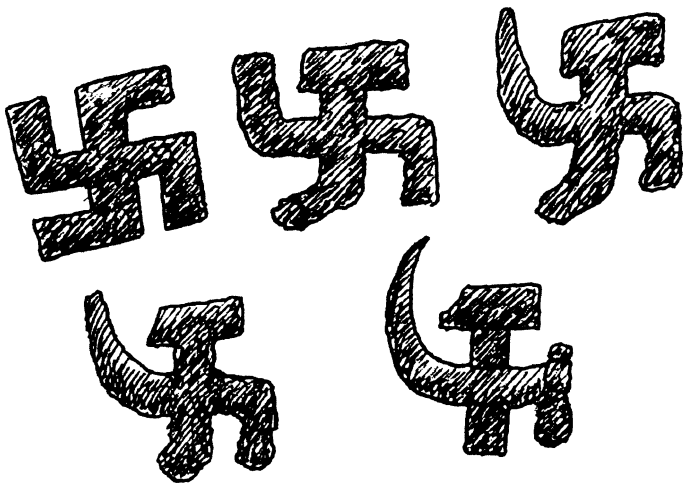
Поскольку все познается в сравнении, то продуктовый магазин «Березка» в поздние брежневские годы являлся для нас тем конечным пунктом счастья, к которому мы так успешно стремились. А западные дезинформаторы-злоспыхатели могли бы устроить перед «Березками» в Москве демонстрации протеста, но почему-то не устраивали. Обвиняя нас в нерадивости, лени, татаро-монгольских отклонениях, возмущаясь нашей покорностью и холуйством, западные жители нашей столицы ни разу не рискнули выразить вслух протест против ужасающих условий, созданных для них в «Березках».

Мы зашли с другом в магазин. Естественно, я просто зритель. Не хватало мне еще валютных операций! Ведь я уже порнограф! Идем мимо рядов. Да, совсем никуда не годится выбор в «Березке». Пиво в жестянках — всего трех видов, сигарет всего видов двадцать, не больше. (Юмор понятен? На дворе 1979 год.) Пока мой приятель расплачивался, я вышел на улицу. Стою у выхода из магазина. Поворачиваю голову направо: с дальнего угла автомобильной стоянки, из-за машин, медленно поднимается человек и наводит на меня объектив. Одет он в белую рубашку. Так и назову его — Человек в Белой Рубашке (ЧБР). Он долго крутил объектив, щелкал, переводил рычаг, снова щелкал. В этот момент подкатила к стоянке реанимационная «скорая помощь». Вышел друг с коробкой из магазина.

— Смотри, дорогой, что делается, — я указал рукой прямо на фотографирующего. Тот усердно продолжал щелкать затвором.

— Ничего особенного, я привык, — сказал друг.

— Я тоже, но что будет, если они начнут сейчас следить за мной?



— Чепуха, — сказал друг. — Садись, поехали. — Он вынул из коробки сумку и дал мне. — Это тебе.

Там лежал блок сигарет и две бутылки тоника.

На Трубной мы расстались. Я должен был зайти к знакомым коллекционерам, но прежде мне хотелось проверить, нет ли за мной хвоста. Я никак, никак не мог привести кого не надо в свой новый дом. Почуял я что-то неладное очень скоро. Спину буравило что-то, чей-то недоброжелательный взгляд прожигал рубашку. Стояла жарница. Я ходил по сретенским переулкам уже три часа. Заметил пять человек, что, сменяясь, шли за мной. Скрыться от них не удавалось. Наконец, как мне показалось, удалось. Я свернул через переулок во двор. Никого. За мной только что шла запыхавшаяся женщина. До этого она что-то делала со своей сумкой. Открыла ее и, кажется, что-то говорила в нее. Я прибавил шагу. Внимание! Сейчас я выхожу на Рождественский бульвар, перехожу его и ныряю в подворотню проходного двора. Пошел! Между машинами бегу через бульвар. И... почти натыкаюсь меж деревьев на женщину с сумкой. Она дышит, как загнанная лошадь. Лицо напряженное. Крепкая дама. Видать, самбистка. Когда я пролетаю мимо, она отворачивается, делая вид, что я ее совсем не интересую. Бегом, через дорогу — в проходняк! За спиной — кто-то в белом. Теперь оглядываться некогда. Вперед, будь что будет! Мне надо уйти. Бегу. Сейчас выскочу в переулок, тут еще масса проходных дворов, я уйду! За спиной — топот. Прерывистое дыхание. И вдруг...

— Стой, падло, сука, б...дь!

Выскакиваю в переулок. За спиной снова:

— Стой, сука!

И тут же сзади что-то грохается, метрах в двух. Обернулся я и притормозил: оранжевый кирпич, расколотый, валяется на освещенной солнцем мостовой. А мимо меня проходит ЧБР и невнятно матерится. Впереди возникает вдруг милиционер — лейтенант ГАИ с рацией, идет мне навстречу.

— Стойте! — командует он мне. Стою. ЧБР удаляется, оборачиваясь. Грудь его ходит ходуном, он устал. Издали продолжает грозить. Я весь мокрый от пота.

— Задержите этого человека, — говорю я лейтенанту, указывая на уходящего ЧБР. — Он бросил в меня кирпич.

В переулке никого. Из соседнего двора на нас лениво смотрят доминошники. Пот льет с меня ручьем. Рубашка вся мокрая. Тянет время лейтенант ГАИ.

— А документы у вас есть? — спрашивает он.

Смело протягиваю ему документы. И потом коротко рассказываю все, ничего не скрывая. Смущается лейтенант. Не привык он, видно, к таким делам. Но записывает деловито мою фамилию и данные в блокнотик.

— А что у вас в сумке? — спрашивает он.

— Сигареты и тоник. Показать?

— Нет, не надо.

— Эх, лейтенант, лейтенант. Я все понимаю. Служба есть служба.

Он молчит. Я рассказываю ему о женщине с сумкой. Тут как раз мы выходим на бульвар, и я вижу в отдалении, у подъезда, мою преследовательницу. Быстро указываю на нее лейтенанту:

— Вот она! Пожалуйста, давайте подойдем к ней и проверим документы.

Опять медлит лейтенант. Женщина скрывается. Лейтенант козыряет мне, показывая, что я свободен. Значит, нужно было просто установить — кто я, что делал в «Березке». Действительно, что русскому делать в продуктовом магазине для негров и белых? Крепкие, хамоватые молодцы — холуи-шоферы номенклатуры, что по сигналу хозяев тащат ящики из «Березки», — не в счет, конечно. Я иду уже открыто к своим знакомым. Аида Сычева* открывает дверь и ахает:

— Сысоев, что с тобой?!

Я смотрю в зеркало: на мокром от пота лице — черные полуокружья. Глаза запали, дышу, как паровоз.

Я просидел у Аиды до полной темноты. После вышел тихонько и пошел пустыми дворами. Захотелось мне еще раз провериться, прежде чем идти на свою квартиру. Через совершенно пустые переулки, темные дворы и подворотни выхожу на Садовую. Еду в сторону своего пристанища. Вдруг толкает что-то: надо выйти, последний раз провериться. Выхожу. Ныряю в пустую, полуосвещенную улицу. Все тихо. Иду в тени. Впереди вижу забор, какие-то доски и баки на мостовой. Есть узкий проход. Это прекрасно! Если они все-таки следуют за мной, машина их не проедет, и я кое-что замечу. Прибавляю скорость, перепрыгиваю через доски. И сзади меня освещает ярчайший свет автомобильных фар. И так... сейчас машина остановится перед препятствием. Они выскочат. У меня несколько секунд в запасе. Бросаюсь в какие-то кусты, потом куда-то вбок, еще раз сворачиваю, и снова — бегом! За спиной — истерические звуки милицейской сирены: иууу-иууу... На помощь кого-то зовут, что ли?



Я бежал какими-то закоулками, пугал парочки в темнейшем сквере. Останавливался, замирал, потом тихо шел дальше. Целую бригаду обманул. Но стоило это дорого. Кирпич мог быть брошен, и не мимо, а прямо в спину. ЧБР не промахнулся бы, если б захотел. В тот раз меня просто попугали. Кстати, бросание кирпичей в освещенных закатным солнцем переулках и подобные олимпийские шутки практикуются чаще в провинции, а не в столице. Почему это произошло со мной? Были ли они разозлены до предела тем, что несколько часов водил я их по жаре? Показалось ли им подозрительным, что я «говорил» с кем-то по телефону из иностранной машины? И зачем возникала «скорая помощь»? Или выполняли они буквально приказ — следить и не слезать? Может быть, было то переходное время изменения стоимости товаров, когда 200 штук американских сигарет и две бутылки тоника стали стоить один Кирпич?

САМАЯ ЗДОРОВАЯ В МИРЕ

Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами...

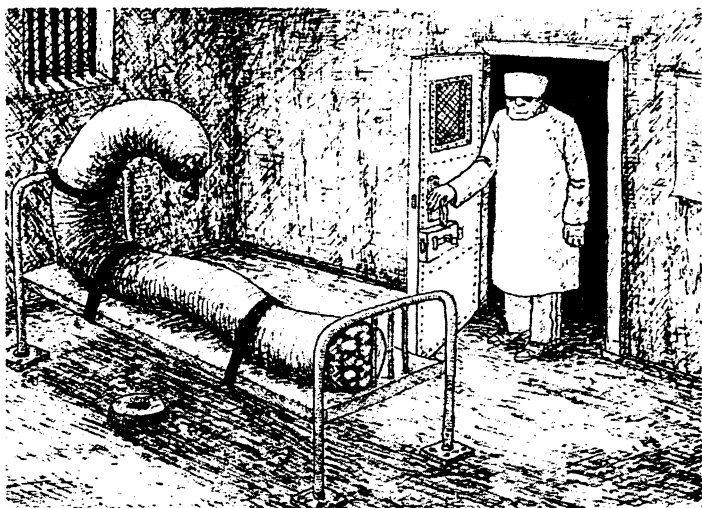
М. Цветаева

В психдиспансере висит на стене плакат:

ХОДИТЕ ТИХО, ГОВОРите ТИХО

В этой немудреной формуле заключается большой смысл. Действительно, как только ты начинаешь топать или громко говорить, это воспринимается как признак обострения болезни. Когда сумасшедший Иосиф приходит в диспансер, он ведет себя согласно рекомендациям психоадминистрации. Иосиф приходит отмечаться регулярно. Для получения пенсии за сумасшествие он должен

убедить врачей, что он не выздоровел. В кабинет врача Иосиф входит не здороваясь. Молча подходит к умывальнику и очень тщательно, несколько раз, моет руки с мылом. Потом вытирает их полотенцем, которое достает из своего детского портфельчика.



Врач быстро заполняет карточку и задает сорокалетнему пенсионеру с детства всего три вопроса:

— Хотите ли вы работать?

Иосиф отвечает:

— Нет.

— Ходите ли вы на танцы?

— Нет, — снова отвечает больной.

— Вы читаете книги?

— Только чистые детективы, — быстро отвечает Иосиф и встает со стула. С моим знакомым сумасшедшим все просто. Он — официальный, так сказать, идиот. Признанный законом шизофреник.

Но как отличить больных от здоровых, не пользуясь услугами психиатров? Да и проверяет ли кто-то их?

Едут по улице машины, торчат из них разнообразные антенны... Из пикапчика, что остановился около кучки сионистов, справляющих в среднерусской полосе пейзаж, вдруг выдвигается труба остро направленного микрофона. Над квартирой неблагонадежного сверлят дырку и вставляют микрофон. Домашний телефон свиритит и булькает — стоит поднять трубку. Телефоны-автоматы поют, как соловьи... По улицам ходят люди с саквояжами «дипломат». Они хорошо подстрижены, модно одеты. Внимательный их взгляд не пропустит ничего. Любой подозрительный тип будет взят на заметку. На премьерах и вернисажах такие люди гуляют среди публики. Одно ухо у них повернуто всегда в сторону говорящих.

Во всех компаниях есть свои стукачи. Есть целая серия анекдотов о стукачах. Стукачи любят рассказывать анекдоты. О стукачах они тоже любят говорить. Стукачи не знают других стукачей. Стучат и на стукачей. На самом деле — стукач это тот, на кого никогда в жизни не подумаешь. На Западе полно стукачей. Президенты и министры, начальники полиции и разведки — все стукачи. Русские эмигранты в Париже и Нью-Йорке — стукачи. Высланные тоже стукачи. Иностранцы в Москве — стукачи. Горничные — стукачихи. Не говоря о шоферах, секретарях и других. Все знаменитости — стукачи. Рядовые граждане — почти все стукачи. Врачи психодиспансера — стукачи, и сумасшедшие тоже. Диссиденты и зеки — стукачи. Студенты, школьники и дошкольники — все стучат. Не стучат только те, к кому стукачи ходят с заявлениями или докладами. Удивительно, как тихо все-таки живет при таком стуке. Кажется, если все стучат друг на друга — пора уже всех брать. Почему этого не происходит? Может быть, просто шизофрения или мания преследования развилась настолько, что мерещится всюду Неизвестный Стукач? Или же...

Конечно, ничего этого нет!

Все преследователи, и машины, и микрофоны, и стукачи мерещатся.

Просто мания преследования. У меня за два года развилась мания грандиоза, перешедшая вскоре в манию преследования.

Ничего нет, ничего нет, ничего нет.

Микрофонов нет, микрофонов нет, микрофонов нет.

Машин марки «Жигули» с номерами МНЕ, МНУ, МНО — нет, нет, нет.

В меня никто не бросал кирпич.

В меня никто не бросал кирпич.

В меня никто не бросал кирпич.

Я сам бросил за своей спиной кирпич.

Я сам бросил за своей спиной кирпич.

Я сам бросил за своей спиной кирпич.

Никто Ее не преследует.

Никто Ее не преследует.

Никто Ее не преследует.

Никто не приходил ко мне с обыском.

Никто не приходил ко мне с обыском.

Никто не приходил ко мне с обыском.

Никто не хочет посадить меня.

Никто не хочет посадить меня.

Никто не хочет посадить меня.

Я всю жизнь только и делал, что распространял порнографию, порнографию, порнографию.

Я не Сысоев, не Сысоев, не Сысоев.

Я не родился в 1937 году, нет.

Я не родился 30 октября, нет, не родился.

Меня нет, меня нет, меня нет.

Ее нет, Ее нет, Ее нет.

Стукачей нет, стукачей нет, стукачей нет.

Топтунов нет, топтунов нет, топтунов нет.

Тихарей нет, тихарей нет, тихарей нет.

Наседок нет, наседок нет, наседок нет.

Сексотов нет, сексотов нет, сексотов нет.

Микрофонов, магнитофонов,

«клопов», лазерных подслушивателей нет, нет, нет...

Шизофрения есть.
Шизофрения есть.
Шизофрения есть.



Это одна точка зрения. А если представить на короткое время, что шизофрении нет, а все остальное есть?

Кто же тогда больной?

Кто это с таким усердием собирает сведения о собственных гражданах?

Кто это роет землю на 10 этажей вглубь? Каменщики, что вы там строите? Тюрьму ли — внутренку?

А не хранилище ли для многомиллионных ячеек с информацией?

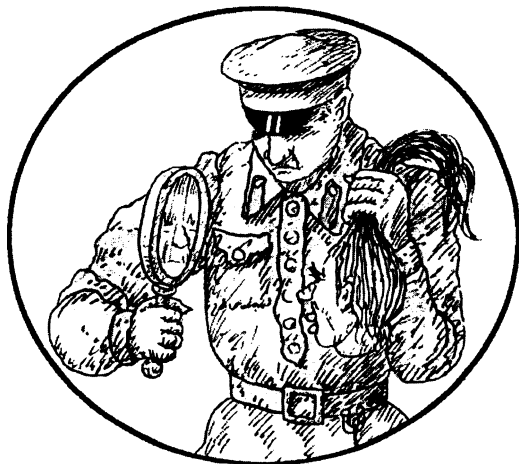
А уши, антенны, приборы-усилители куда направлены? Что и кого слушают?

Кто же это сидеть будет, если каждый настучит? Уж не болезнь ли это?

Может ли врач-стукач определить болезнь больного-стукача?

Какой же институт судебной психиатрии определит чье-то безумие, если безумны все?

Мой приятель, что провел пять лет в Казанской спецпсихолечебнице, которого кололи французским импортным средством для изгнания души, был явным сумасшедшим. Подумайте сами: он осмелился вслух читать сатирические стихи и частушки! Разве нормальный не побоится этого? Да еще написать на вступительных экзаменах в МГУ «Воззвание к декабристам 1984 года»! На приятеля не стукнули, он сам на себя стукнул. Зачем, собственно, весь этот стук? Стучи не стучи, все равно ничего не меняется. Если стук — это работа, то все идет, как в анекдоте: одни делают вид, что работают, другие делают вид, что платят им... Хотя целую жизнь стучи — на дачу все равно не настучишь. Если бы 30 сребреников по официальному курсу стоили, скажем, 10 тысяч рублей — куда ни шло. Стучали же раньше бесплатно. За такие деньги — кто не настучит! Но ведь на деле...



Тут прозорливый читатель немедленно спросит:

— Откуда это автору известно, что на деле?

Просто догадаться: я и есть стукач! Сам на себя стучу, потом доносы пишу. Сам себя на допросы вызываю, сам на них не хожу, сам от себя прячусь...

Некоторая сумбурность повествования может вызвать у кого-то подозрение в моем психическом здоровье. Я болен, болен. Я очень не хотел бы быть затянутым по уши в шизофренический мир. Где сестра, отец и друзья становятся стукачами. Где соседи сидят под окнами с красными повязками. Но это все есть, есть, есть. Никто не знает точно, сколько шизофреников приходится на душу населения. Могу не сомневаться только в одном: тот, кто так паранически боится того, чего нет, — нездоровый человек. Если американо-израильско-чилийские шпионы собирались на Олимпиаде заражать детей сифилисом при помощи жвачки, они шизофреники, конечно! А если нет?..

Шизофрения необходима, как воздух. Она устраняет разобщенность и раздвоенность души. Параноику не стать шизофреником. Шизофренику можно стучать на параноика. Американо-израильско-египетская военщина реакционна и больна манией преследования. Их паранойя — самая безумная в НАТО.

Наша шизофрения — самая здоровая в мире.

Самая здоровая в мире.

Здоровая в мире.

В мире.

ОНИ ПРИШЛИ, ЭББИ!

Я сидел в своей берлоге и заканчивал письмо. Об Эбби я узнал по «Голосу». А после уже увидел фото Эбби Хоффмана. Идет он себе по городу Майами, штат Флорида, с двумя хорошими девушками. Идет себе Эбби и ликует. Не знаю только, когда щелкнули его, то ли тогда, когда он

хиппарем был и в лидерах ходил, то ли теперь. Эбби — парень ушлый. Шесть лет скрывался. ФБР хотело его за наркотики захомутать, прихватили Эбби. Он под залог вышел и смылся. Шесть лет в бегах был. А как книжку в подполье написал, сразу боссом стал.

Вот я, сидя в берлоге, и написал Эбби. Так и так, мол, Эбби. Ты скрывался, и я ушел из дома. Ты за наркотики — я за порнографию. И не поймешь — то ли ФБР и ЦРУ ваше и наше мухлюют, то ли мы с ним действительно уголовники. Я просто так написал. Чтобы Эбби ничего такого не подумал, я ему прямо сказал: мне от тебя, дорогой, ничего не надо. Я просто пишу близкому, можно сказать, человеку.

Вот я написал, а тут и ночь уже. Мне как-то тревожно было. Сначала думал, что вокруг что-то не так. Интуиция дальше повела, я понял, что не рядом плохо, а где-то далеко. Почудилось мне, что надвигается что-то, чему я сразу определения не нашел. Мое гнездо сейчас тихое, но я чую: не то что-то, где-то нечистая сила какие-то приказы отдает, моторы заводит, рации проверяет, а может, и огнестрельное оружие.

Следующий день выдался тихий. Я по лесу прогулялся, было солнечно, и природа вокруг была спокойна. Снег подсел, Черная на цепи бесится, гулять просится. Ну уж дудки! Она недавно на сутки сбежала. Да пожалуйста, если природа требует. Но мне от Черной помощь нужна: ее нюх и гавканье. Черная у меня тонкая — где кто пройдет, она сразу голос подает.

День у меня прошел хорошо. С утра малость подтопил, сготовил дрянь какую-то, потом проветрился и сел рисовать. Много сделал. Так часов до семи и рисовал. Тут меня как стукнуло что-то: я вдруг понял, что сейчас обо мне очень настойчиво вспоминает кто-то. Разные люди могли, конечно, этим заниматься в семь часов вечера. Но я быстренько сообразил, что не дяди-рукокруты вспоминают, а кто-то близкий. Это Она обо мне вспоминала весь тот вечер. Я мысленно с Ней поговорил, а сам сквозь за-

навески на дорогу смотрю. Редко-редко какой прохожий пройдет, с поклажей или с санками. Люди быстро идут, темнеет на глазах. Занавесочки на окнах я не раздвигаю — на всякий случай. Мой театр от их зрителей всегда отгорожен. У меня внутри свой театр — тут уж я без занавесок обхожусь. А тонкие муслиновые или шифоновые занавески — это от всех других. Я сейчас очень благодарю тех передовиков производства, а может, и рядовых ткачих, что, встав на юбилейную вахту, а может, и сверх плана, а может, и по плану, выпустили ткань, из которой занавесочки на окнах у меня сделаны. Тканями теми, видать, можно земной шар закатать, но мне такое количество не надо, мне метров шесть всего. Шесть метров меня спасут.

Вот я сижу, гляжу на дорогу и вдруг вижу: идет! Сначала появился на дороге, а потом меж деревьями затерялся, и вот снова отчетливо виден. Сам серый, а куртка бежевая. Я этих субчиков теперь отличаю от местных жителей. От леса в мою сторону идет, по тропке единственной, к дому!



Местечко, где я живу, довольно людное. Если нечистая сила по мою душу идет, не сразу дойдет. Кругом переулочки, закоулки, тупики. Впрочем, берлога моя видная, и со-

бака на цепи. И еще кое-что, что на след навести может. Если серый в бежевом не дуб, он смекнет. Вот он быстро-быстро дошел до моего дома. Я от окна отодвинулся. Он прямо передо мной. После исчез из поля зрения. Поле-то узкое: рама, занавеска — между ними щелка в два пальца. Я замер. Сижу и жду стука в дверь. Нет. И псина моя не лает. Что-то тут есть, то ли хитрость техническая, то ли еще что-то. По всем раскладкам — собака чует плохое, должна гавкать, а тут молчит. Я вскочил и бесшумно вышел на крыльцо. Будь что будет! В конце концов — если уж они тут — чего ж прятаться! Глянул на собаку — Черная убралась в будку. Носа не видно. А человек идет по дорожке, по моей улочке.

Он быстро так шагал, этот серый, и посекундно оступался и проваливался в рыхлый снег. Я его взглядом проводил — видел, как он до конца улицы дошел. Потом остановился. Собаки по всей улице как взбесились, хрипят и гавкают, а моя псина замерла. Серый не свернул на боковую улочку. Он стоит спиной ко мне и раздумывает. Ясно, сейчас обернется. Вот он... Тут же я в дверь скользнул и тихо замок защелкнул. В комнате встал так, чтобы с улицы он меня и сквозь щелку не разглядел. Свет не горит. На улице почти стемнело. У меня сомнений нет — серый ищет меня. Сейчас все кончится. Он снова идет к дому. Дом — явно жилой. Куда же делся объект наблюдения? Ясно, в избу надо постучаться. Вот сейчас, сейчас... Я не могу выглянуть, боюсь встретиться с ним взглядом. Слышу шаги за окном — проваливается серый в снег, дышит с натугой. Псина молчит. Он не зашел! Он мимо проходит! Прошел и стал рядом с домом. Он в трех метрах от меня. Нас отделяет занавесочка, двойные оконные рамы — и все! Нечистая сила меня не чует! Из глубины темной комнаты я его вижу: лицо, как и положено, — никакое. Он очень торопится. Только сейчас заметил в руке у него портфель.

О, Эбби, если бы ты посмотрел на это все сверху! Нет, Эбби, твои фэбэрушники и цэрэушники так липовато не

работают. Эй, Эбби, гляди! От леса, быстро — к серому, к моему дому подваливает второй. Пальто черное, брюки темные, шапка черная. На шее — светлый шарф, в руке — тоже портфель.

Эбби, сейчас все решится! Я у окна. Серый что-то тихо говорит черному, делает ему знак: дуй, мол, назад, видать, объект в стороне где-то, упустили опять. Не доходя до леса, серый идет куда-то вбок, направо.

Эбби, нечистая сила была рядом и сейчас испарилась! Может, они меня давно «секут», а я не чую? Нет, не похоже! А мании преследования у меня нет — это точно. Эбби, ты подумай, я решил уже все, а они в сторону подались. Скажи мне, Эбби, есть Бог или нет? Или это Она за меня в тот вечер неистово молилась? Я сказал, что возверовал тогда, как мне плохо стало. А Он, или Она, услышали и увидели, так, что ли?

Комментарии 20 лет спустя

На зиму я устроился сторожем в дачный кооператив на станции Зосимова пустынь, что рядом с Нарофоминском. Место было хорошее, уютное. Я проработал там почти всю зиму. Довольно часто меня навещала Елена Сергеевна. Прежде чем приехать, она каждый раз прибежала к самым разным трюкам, чтобы избежать возможной слежки. В тот вечер, о котором я пишу, она явилась, когда начало темнеть. В избе, в которой я жил, свет не был зажжен. Перед домом была будка, в которой была прописана рыжая собака Лиза с интеллигентной мордой. Она обладала замечательным свойством: издали облаивать всех чужих, которые попадали в поле зрения. Е.С. постучала, и я открыл. Обратил внимание, что собака почему-то спряталась в будку. Е.С. сказала, что уже здесь на станции заметила слежку, следили двое, довольно гру-

бо. Она их в лесу куда-то отвлекла в сторону, а сама явилась незаметно.



Уже почти стемнело, и неосвещенный темный дом производил впечатление нежилого, хотя по всему периметру кооператива горело наружное освещение. От окна я не отходил, наблюдая из темноты за подходами к избе. Двух козлодуев увидел, когда они быстро вошли в калитку кооператива. Сразу понял, что, конечно, это они, наружные «наблюдатели». Плохо, однако, была поставлена слежка у товарищей. Оба были почему-то в одинаковых пальто, пыжиковых шапках, в тонких городских ботиночках, с портфелями. Метались около входа в кооператив, потом прошли по аллее, вернулись назад и, абсолютно не обращая внимания на черный дом и черную собачью будку, кинулись на поиски объекта вдоль ограды, глубоко проваливаясь в снег. Выждав минут пятнадцать, я решил, что мне прятаться не нужно, — я сторож, меня в округе знают, я при бороде (которую никогда раньше не носил), вряд ли

они у сторожа документы проверять будут, скорее, я у них. Надел яркую оранжевую куртку, ушанку, валенки, взял Лизу на поводок и пошел с вечерним обходом введенного мне участка. Я увидел их, когда почти закончил обход. Совершенно не обращая на меня внимания, они бежали, тяжело дыша, изредка матерясь.

Потом мы с Е.С. полночи сидели в темном доме, разрабатывая план ухода. Не было гарантии, что товарищи уехали в столицу. Вполне могли вызвать машину и караулить Е.С. где-нибудь на станции.

Собаку мы отвели к сторожу соседнего кооператива, а сами пошли по снегу через лес до Нарофоминска, откуда ранним утром и уехали в Москву.

ЗА НЕЕ, ЗА ЦРУ, ЗА ЭББИ, ПОМОЛИСЬ, ГОСПОДИ

Я оттуда ушел, неважно как, об этом сейчас писать никак нельзя. Нет меня, и точка! Если все, что я пишу, мне не приснилось, я ушел и на этот раз. Дилетант я в этом деле, а профессионалы плохо сработали. Эбби, я к тебе взываю — у тебя так было? Вот я — одиночка. Как же получилось, что я могу сейчас так спокойно писать? Рука не дрогнет, все у меня внутри спокойно — перегорело. Они нас давно всех разобшили, Эбби. Все — поодиночке. А сделать все равно ничего не могут. Да здравствует разобщенность! Эбби, твои хиппари тебе помогали, я уверен. И мне помогают. Не так, конечно, как тебе. У меня хиппарей-то нет. Мне люди идут навстречу такие — что в жизни не подумаешь! Они нас всех прижали при рождении, Эбби. Думали, это им поможет. А люди вокруг есть, Эбби. Эх, если б можно было рассказать! Их Павлики Морозовы плакали бы от зависти. Плакали бы, что все наоборот получается — не закладывают, а спасают. Эбби, Бог есть. Ты, видать, ни во что не веришь. А Он меня спас. Благодарю, что со мною

все это случилось. Ты не думай, что я мазохист. Ты, Господи, сам рассуди: я же тоже люблю комфорт, и боли боюсь. А вот раз выпало, то пошел. А Она за меня молилась. Ты Ей не причиняй страданий, Она только за других старается. Ты вразуми Ее, чтобы Она шею под хомут не подставляла. Я Ее люблю, и буду дальше любить, но пусть Она остановится. Она женщина. Вразуми Ее в любви своей не быть оголтелой. И серым, Господи, ниспошли знак, что Ее трогать нельзя. Неужели допустишь, чтобы из-за меня Она страдала? Я замру сейчас. Пусть и Она замрет, сделай так. Пошли этому ЦРУ знак, что мы тихие люди. Помогите начальникам серого и черного обрести разум, не надо Ее трогать. У Нее-то защиты нет. У меня — Она защита, Она защитит. А кто Ее защитит, случись чего? Я тогда выйду. Я не хочу щеку подставить, но как же я тогда перед Тобой оправдаюсь, если они за Нее возьмутся?

И Эбби Хоффмана вразуми, Господи. Пусть поймет, что гонорары за книжку без веры — это библейские кружочки такие, серебряные. Дай Эбби знак, что Сысоев, о котором не слышал он, сейчас просит за него. Дай же силу выдержать цэрэушный натиск, останови опермашины их! Согни антенны им, бензин преврати в кагор, пусть обожгутся. Рации их силою духа Своего выведи из строя. Сбей контуры их «воки-токов» мощной волей Твоею. Не исполнятся смирения они, знаю я. Красные книжки их кажутся им сильнее духа и слова Твоего. Пусть убедятся они, что книжки Твои важнее всего, что есть у них, верующих в кулак, в самбо, в огнестрельное оружие. Понимаю, что не пришла, наверное, пора каяться им. Произойдет это к концу жизни, я думаю. И как станут они на краю и увидят, что книжки нет, а все остальное бесполезно — тогда и поверят. Молю, если есть, помимо жестокости и расчета, у них в голове что-то, пусть подумают и представят свое будущее, хотя бы и на политзанятиях.

Вся хронология пошла к чертям. Я хотел по порядку рассказать, а тут сверху мне спустилось приключение не-

дельное. Я не обижаюсь, думаю, что так надо. Если б не было серых и черных, я б Тебя не увидел. Благодарю, что Ты от нечистой силы нас спас, и я, как собрался с мыслями, сразу излагаю все это и говорю: верный знак Ты дал, Господи.



Комментарии 20 лет спустя

Как это было

Уже 12 лет нет советской власти, многие стали подзабывать, что это такое. Молодое поколение вообще не желает знать, что было когда-то, когда их не было. А напрасно, молодые товарищи, напрасно! Вы, идущие вместе, или те, кто идет поврозь, или не идет, а топчется на месте, должны знать, как это было! Хотя бы для того, чтобы ценить то, что сейчас вам досталось.

Не будем спорить, опровергать или доказывать что-то, давайте просто вспомним, а если вы чего-то не поймете — спросите, как это было, у тех, кто постарше...

Всю жизнь боялись 1-го отдела. На каждом советском предприятии был такой отдел, который подчинялся кураторам из КГБ. Там собирались материалы на каждого работающего, независимо от занимаемой должности и благонадежности.

Субботники — сначала 1—2 в год, потом по мере укрепления брежневского маразма все чаще и чаще. Инженеры, рабочие, министерские служащие, чиновники при-

ходили на работу, мыли стекла, протирали пыль, потом бежали за водкой. А водка была в разные годы с десяти, потом с одиннадцати, потом с двух часов.

А что пили? Отсылаю к Веничке Ерофееву. «Не теряйте время даром, похмеляйтесь “Солнцедаром”», «Било мицне», «Фруктово-выгодное», портвейн «Поднимите мне веки».

Книги. На дверях книжных магазинов висели объявления: «Магазин купит книги у населения». Нормальные книги можно было купить только из-под полы. В огромном «Книжном Мире» даже Пушкин был в виде брошюрок из серии «Библиотека школьника». За двадцать лет я не купил в магазине ни одной стоящей книги!

А газеты, журналы? Наивные ухищрения провинциальных редакторов поднять интерес к своему убожеству. В каждом номере «Простора», «Памира», «Немана», «Звезды Востока» печатали по 5—10 страничек Агаты Кристи, растягивая таким образом чтение на год.

Заказы праздничные на работе помните? На «майские» и «октябрьские» праздники...

А что продавали в магазинах? Тысячные толпы приезжих скупали все «импортное». Гэдээровские миксеры, чешский хрусталь, венгерские консервы «Глобус», вьетнамские циновки и сушеные бананы. В магазине «Ядран», где продавались югославские товары, витрины в отделе косметики были закрыты железными листами, поскольку стекла выдавливались толпой чуть не каждый день. Появились перепродавцы и коробейники. Перепродавцы продавали свой номер в очереди, а коробейники, скупив товар, ходили по учреждениям и продавали на рабочем месте импорт — с разумной наценкой...

А в свободном транспорте вы когда-нибудь ездили?

А был случай, чтобы презирающий вас мясник вас же и не обвесил? А так называемое «мясо с субпродуктами»?

Ели вы когда-нибудь ливерную колбасу 3-го сорта?

Знаете, что такое маргусалин? Это серое вещество, на котором якобы можно жарить продукты. Я думаю, что это

соединение маргарина с гусиным жиром. Впрочем, в каких «странах народной демократии» водились эти гуси?

Знаете, что продавалось в универсаме города Красноармейска в годы заката брежневизма? В огромном магазине можно было купить: хлеб, соль, соду, лавровый лист, иногда какие-то овощи, которые появлялись непредсказуемо, сахар, маргарин, маргусалин, муку, макароны, вермишель, крупу (кроме гречки), иногда мороженую рыбу (океанскую). Если «выкидывали» яйца, молоко или творог, за ними выстраивалась огромная очередь, и уже через полчаса продащица кричала: «Касса, яйцо и творог не пробивайте!»

А на встречу «дорогих товарищей» вас не посылали на Ленинский проспект? Трудящиеся по разнарядке, вперемешку с гебешниками, занимали свои места «от фонаря до фонаря» и весело приветствовали проносящиеся на бешеной скорости лимузины с «дорогими товарищами» из дружеских стран.

А голосовать вы ходили за одного кандидата?

А по ящику помните, что смотрели? Ту, старую программу «Время», помните? Инкубаторы в Болгарии, водный спорт в ГДР, наводнение в Италии, нарастание классовых боев в Америке...

А какой музыкой они нас потчевали — забыли?

Раз в год — фестиваль в Сопоте и фестиваль в Сан-Ремо. В 12 ночи на Пасху по ящику (чтобы в церковь не ходили!) — мелодии и ритмы зарубежных стран. Можно было увидеть самих Бони Эм!

Никаких других негров не было. Не было Би Би Кинга, Фэтса Домино, Литл Ричарда, Армстронга, Фитцджеральд. Не было и белых — Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса, Битлов, Роллингов.

А помните, что электрички днем в Москву не ходили? Говорят, что это делалось, чтобы поток покупателей из Подмосковья уменьшить.

Из года в год, изо дня в день на всех пригородных кассах вешали объявления: «В связи с профилактическим ре-

монтом ж.-д. путей отменяются следующие электрички до Москвы...»

А на картошку ездили? Таскали сочащиеся грязью мешки с осклизлыми комьями, которые потом оставались гнить в поле, под дождем?



Кинофестивали в столице прогрессивного человечества. Помпезное зрелище. Билеты обычные зрители могли купить только в кассах Лужников, выстояв многочасовую очередь, которую приходилось занимать с ночи. Можно было купить 10 билетов на 20 фильмов. Первый фильм всегда был из «братской» или «дружественной» страны — Монголии, Болгарии, Анголы, а второй — западный, что вовсе не гарантировало его качество. На обороте билета были напечатаны правила, которые начинались со слов «не разрешается» и «запрещается», «запрещается вход в зал после 3-го звонка, «не разрешается занимать другое место»...

Замечательные картины жизни продолжали раскрываться передо мной и в бегах. Однажды мы с Леной Прудовским поехали из Зосимовой пустыни в Малоярославец, просто посмотреть, как люди живут. На перроне, спросив, как пройти в продовольственный, услышали недоуменный

вопрос: «А чего вы там потеряли?» Мы зашли в универсам, потом — в книжный магазин. Там не было ничего, кроме технической литературы, брошюр о преступлениях сионизма и подрывной деятельности Радио «Свобода». Потом мы заглянули в овощной. Был конец рабочего дня. В бетонном склепе тошнотворно пахло сгнившей картошкой и луком. Ни картошки, ни лука, ни каких-либо других овощей в магазине не было. В деревянной загородке, среди шелухи валялось несколько раздавленных луковиц и черная, в земле, свекла. Еще были продавщицы, злые и вялые.

Вспомнилось? Продолжать не надо?

Советская власть знала, что делала, и называла все это «счастьем».

И недаром, видимо, торжественно пелось:

Будет людям счастье, счастье на века,
У советской власти сила велика!

Но кончилась советская власть, силы нет и счастья нет. Есть колбаса. Много колбасы. И всего другого, что можно съесть, выпить, надеть.

Может, товарищи, все-таки это и есть настоящее счастье?

* * *

Первый дом за городом, где я укрывался, был в Софрино, по Ярославке. Так или иначе, с Ярославской железной дорогой связаны почти все годы скитаний.

Дом был самый заурядный, его мне предложили Саша и Наташа, мои приятели. Там я прожил осень и зиму 1979 года. Двери были почему-то низкие, и при входе приходилось нагибаться. Старенький был домишко. Сколько я ни топил — к утру была холодина. Я нашел хозяйские валенки и с удовольствием ходил в них по избе. Начал наконец

спокойно рисовать. Когда садился за стол, для тепла укутывал ноги в одеяло.

В разгар софринской зимы у меня остро стал вопрос о сортире. Причем встал вопрос в самом прямом смысле этого слова. Маленький сортир, понятное дело, стоял на самом краю участка. Всю осень и начало зимы яма наполнялась мною и приезжающими ходоками. Потом ударили сильные морозы, и содержимое стало вылезать из толчка. По причинам конспирации я решил очистить сортир сам. Для этого я выбрал лунную морозную ночь. Свалив набок сортир и оттащив его в сторону, я вооружился ломом, лопатой и долго выковыривал ледяную глыбу. Подложив на снег кусок рубероида, я вывалил огромный тяжелый мерцающий при лунном свете ком на рубероид, прикрыл сверху другим куском и увязал веревками. Получился огромный, килограмм на 40—50, упакованный тюк. Поднатужившись, погрузил его на санки. Внимательно все оглядел. Тюк на санках походил только на одну, старую как мир вещь — на труп, от которого решили избавиться. Озираясь, как лихой человек, я глубокой ночью вывез продукцию на край Софрина и свалил зловещий тюк в речку Талицу, которая там протекала. Могу себе представить, что было бы, если бы меня случайно увидел местный начальник или милиционер. К счастью, представители власти ночью не ходили по пустынным улицам. Милиции вообще-то и днем не было видно. Рассказывали, что на станции тогда почему-то резали людей. Несколько раз я слышал, как из станционного репродуктора доносился громкий панический женский голос: «Работники милиции, срочно зайдите в здание вокзала!» Времена были такие, что официально узнать ничего было нельзя. Говорили о нападениях на женщин на станциях и в округе. Как всегда, все было построено на сплетнях и рассказах «очевидцев». Лично я был очевидцем какого-то происшествия только раз. Поехал в Загорск (Троице-Сергиеву лавру) и на платформе увидел двух санитаров, выносящих из вагона носилки с

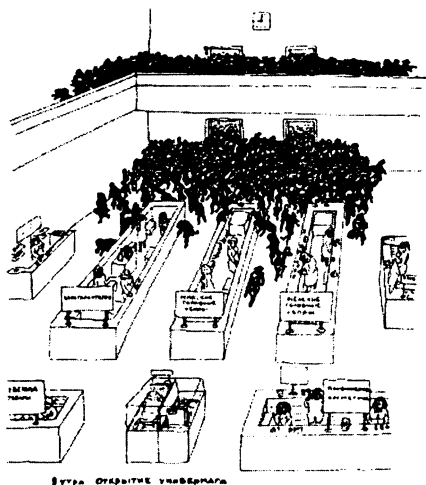
телом. Рядом шел милиционер. Перед вагоном стояла небольшая толпа. Не оборачиваясь, я прошел мимо.

* * *

Весной олимпийского года, видимо по наводке соседей, ко мне в дом в Софрино неожиданно явился председатель местного Совета. К этому времени жена Е.С. сообщила, что я объявлен в розыск. Зная, однако, что особых грехов за мною не числится, кроме неявики на допрос в качестве неизвестно кого, я не очень тревожился. Тем более мне сказали, что в розыске по Союзу числятся тысячи людей.

Первым делом местный начальник проверил мой паспорт. Расспросил меня о жизни. Я ему рассказал жалостливую историю про подлую жену, что выжила меня из дома, про будущий обмен квартиры, показал ему удостоверение Горкома художников-графиков, паспорт. Он вдруг заговорил, что скоро в Софрино откроется свечное и иконное производство от Епархии, где нужны будут специалисты. На постели лежал большой том французской энциклопедии «Ларусс», в темно-малиновом переплете. Председатель вдруг кинулся к нему со словами «можно взглянуть?». Убедившись, что это не Библия, он несколько успокоился и предложил заходить в местный Совет на предмет трудоустройства.

Визит этот мне не понравился, и ранним утром следующего дня я собрал свои вещи в рюкзак и околицей вышел на станцию. Передо мной были открыты все дороги. По какой-то причине я перешел на соседний путь, где у маленькой платформы стоял тепловоз и два вагончика. Это была «кукушка», которая несколько раз в сутки ходила по однопутной линии до Красноармейска, некогда закрытого города, где есть огромный артиллерийский полигон, известный со сталинских времен.



В «кукушке» я разговорился с попутчиками.

Вид мой не вызывал сомнения, что я москвич, который решил летом снять дом в деревне. А разве на самом деле было не так?

— Да вот сейчас Федоровское будет, сойди, да по тропинке направо, через лес, через поле, и выйдешь в Васюково. Там Ньюру спроси, может, она сдаст.

Я соскочил на утрамбованную землю, и «кукушка» исчезла. Вместо станции какие-то кирпичные развалины. Я пошел через лес, как мне сказали. Дороги как таковой не было. Была колея, в метр, наверно, глубиной, в которой стояла жижа. Через зеленеющий лесок, полный молодого комарья, вышел на поле. И остановился. Полнейшая тишина. Даже в ушах зазвенело. Я вздохнул полной грудью и закурил. В природе не было никакой советской власти. Под ногами была широкая твердая дорога, слева кусты, справа сжатое прошлой осенью поле, а вдали — вот моя деревня, вот мой дом родной! — я понял это сразу!

Деревня стояла на краю поля, дома все выходили окнами на речку, ту же Талицу, которая текла в низине.

При подходе я обнаружил, что никаких шоссе́йных дорог к деревне не идет, и понял, что попал в затерянный мир. Деревня была явно неперспективная, относилась к какому-то отдаленному совхозу. В ней не было никаких представителей власти. Найти ее можно было только на самой подробной топографической карте. А где такая карта? Не существовало никакого внешнего мира. Шли столбы с проводами, по которым поступало с перебоями в деревню электричество. Это был единственный признак цивилизации. Не было, не было, не было советской власти! Гебешные игры, идеологические битвы, выставки «нонконформистов», борьба с начальством, все это было неведомо где, в пятидесяти километрах, в другой жизни. Я договорился с Нюрой Масловой и снял у нее на лето дом.

У Нюры я покупал яйца, картошку, иногда овощи, которые росли на огороде, и клубнику. Остальные продукты гости привозили из Москвы. За самым необходимым ходил на «станцию», в Федоровское, в местное сельпо. Там был обычный для брежневской поры набор продуктов: хлеб черный и серый (вкусный, пока свежий), крупы, маргарин, сахар, тушенка свиная в банках (3/4 жира и волокна мяса на дне), а также конфеты «подушечки» и печенье. Иногда бывали какие-то овощи. Да, конечно, было «белое» и «красное» — минимум двух видов. В общем, жить было можно. И я жил! Поскольку цель жизни у меня была конкретная, я знал, чего хочу: сделать как можно больше работ, пока меня не забрали, чтобы потом не забывали. Вот этому и были посвящены все дни.

* * *

Иногда приходилось ездить в Красноармейск, отовариваться. Я шел до станции и ждал «кукушку». Красноармейск был неказистым городом с новыми домами. От ста-

рой части сохранилось очень мало. В центре города была площадь, на которой располагалось несколько убогих магазинов. Там же была остановка — до ВДНХ ходил автобус. Я обнаружил книжный магазин, в котором можно было купить черную тушь, необходимую для рисунков, еще был газетный киоск, в котором никогда не было свежей прессы, но зато лежали политические брошюры и производственный роман бывшего полуродственника, из-за которого меня впервые тягали на Лубянку. Там же продавались альбомы с акварельной бумагой, за которой, собственно, я и ездил.

Лет через пятнадцать, в Берлине, когда я смог наконец смотреть Центральное телевидение, я увидел ностальгическую передачу.

— Это для тебя специально сделали друзья-гебешники, чтобы Родину не забывал, — сказала жена Лариса. Показали город Красноармейск перестроечной поры. И что интересно, все было точь-в-точь как тогда! Центральная площадь ничуть не изменилась! Все такая же обшарпанная коричневая дверь булочной со следами объявлений. Податые мужики, игравшие в домино в пыльном скверике. Милые молодые люди, которые штурмом брали московский автобус, попутно сплевывая на асфальт через головы пассажиров. Нет, кое-что новое все-таки было.

Показали молодого предпринимателя, который открыл что-то частное или собирался открыть. Показали также столовую для бедных, где старушки и старички горячо благодарили мэра за благотворительный бесплатный обед.

* * *

Когда я освоился с деревенской жизнью в Васюково и быт мой оказался налаженным, то есть в доме было все необходимое для жизни, в том числе и электроплитка, я снова со спокойной душой принялся рисовать. Ничто не ме-

шало. Практически три лета я провел в этой деревне, и сделал, наверное, сотни работ. Часть рисунков я для конспирации помечал 2001 годом, другую — 1984-м — годом Оруэлла. Конечно, никто не мог знать, что этот год нам готовит...

Эта дата, проставленная на рисунках, увезенных за бугор, сыграла вскоре определенную роль в жизни...

* * *

Приезжала Елена Сергеевна, привозила книги, какую-то еду, иногда сообщала новости. Независимо от нее приезжали знакомые, Сергей и Лена Волоховы*. Немного выпивали. Вечером дамы, невзирая на глухое мужское сопротивление, шли купаться. Ходили они, естественно, одетые как москвички: в коротеньких облегающих платьях. Местные мужики их постоянно оглядывали, ощупывали глазами. Вечером, когда темнело, дамы, дурашливо хоча, плавали в протоке голыми, как ундины. Сколько раз просил их этого не делать — все было без толку!

* * *

У Нюры, моей хозяйки, была взрослая дочь, которая отдыхала летом в деревне, а зиму проводила в Красноармейске. Девушка была довольно симпатичная, иногда строила мне глазки, — но я — ни-ни! Конспирация...

Однажды на утренней «кукушке» ко мне приехал Ходок. (Фамилию не открою! — *Примеч. В.С.*) Я его издали увидел, когда он шел через поле с портфелем.

Мы расположились на застекленной веранде, и только он вытащил очередную порцию антисоветчины, как на огороде появилась Нюрина дочка с подружкой. Девушки стали копать огород. Было жарко. Постепенно они разделись и остались в одних бикини, без лифчиков. Ходок аж шею вывернул, глядя на трудовой процесс.



Девушки на солнце разомлели, стали красными. По моему, они еще и поддали. Поглядывали в нашу сторону. Реакции не было, так как я изо всех сил удерживал беспечного Ходока, который рвался «познакомиться». Старуха-соседка из дома слева глядела на наш огород через изгородь, поджав губы, с негодованием во взгляде. Потом девушки оделись и ушли.

Утром следующего дня, едва я поел и сел за стол, разложив бумаги, тушь и ручку, как снова увидел на поле вчерашнего Ходока, спешащего ко мне с портфелем.

Второго сеанса не будет — объявил я. Они вчера от Ньюры такого наслушались, что немедленно отсюда исчезли. Ходок был страшно разочарован.

* * *

Ежели спуститься правее деревни к речке, да перейти по бревну мимо ключа, откуда местные (и я) предпочита-

ли брать воду, а потом подняться круто вверх, можно было попасть прямо в лесок. Оттуда было два пути. Левее — на поле, которое вело в соседнюю деревню Березово, а правее — на просеку, откуда начинался хороший лес. Вот только грибов хороших там не водилось. Но влюбой, даже самый не грибной год можно было набрать свинушек, сыроежек, а осенью — опять.

В Березово я ходил не только для интереса. Осенью предстояло куда-то из Васюкова перебраться, как я и договаривался с хозяйкой, и я подыскивал себе новое место. Дома в Березове были никудышные, худые. Людей даже летом было немного. Я спросил у местных, и мне сказали, что в одной избе я осенью точно смогу жить, надо договориться с хозяевами, которые в Красноармейске живут и работают. Я туда съездил, нашел хозяев, выложил свою версию — насчет подлой жены и получения квартиры. Мне буквально за копейки разрешили жить в их избе сколько угодно и дали ключ. Когда я открыл дверь, то увидел в сенях следы крысиного помета. Тут же стоял огромный старый сундук. Он был такой крепкий, что крысы его прогрызть не смогли. Хозяйка мне сказала, что я могу брать все, что там лежит. Там было много пачек муки, пшена, вермишели, соли, спичек и маргарина. Просто запас на случай войны! Комната была неказистая. Дом был старый, потолок просел, и в середине комнаты стоял столб, его подпиравший. На кухне, за загородкой, тоже был крысиный помет. На полу стоял мощный самодельный «козел», провода от которого шли прямо на улицу, минуя счетчик. Дрова были в сенях, огромная поленица. Тут же находился и сортир, естественно, деревенский, но под одной крышей с домом. Еще я залез на чердак и внимательно его обследовал. Обнаружил там старое осиное гнездо, среди всякой рухляди нашел керосиновую лампу, ковш для муки и учебник литературы — как раз тех лет, когда я учился в школе. Из учебника немедленно были вырваны все картинки, которые я впоследствии успешно использовал для своих целей...

* * *

Осенью, когда совсем похолодало, я собрал рюкзак, попрощался с Нюрой и явился в Березово. Холодина в доме стояла страшная. Я включил «козла», спирали которого немедленно раскалились, и затопил печь. Слава Богу, некогда было впадать в меланхолию. При мне было радио и ящик «Электроника», и книги, и мне было чем заняться. В первую ночь крысы устроили настоящий концерт. Я всю посуду закрыл и еду спрятал, но все равно всю ночь на кухне что-то двигалось, гремели крышки, которые я прижал кирпичами.

Потом повалилась на пол с грохотом сковородка. Я шугал тварей как мог, но все было впустую. Тогда на следующую ночь я устроил в доме настоящий шмон, заткнул битым стеклом норы в плинтусах и зарядил салом три найденные мышеловки. Было очевидно, что мышеловка в длину меньше крысы, но ничего более подходящего в доме не нашлось.

Едва диктор Радио «Свобода» закончил в полночь по московскому времени клеветать на наше социалистическое отечество, как опять на кухне раздалась возня. Потом громко хлопнула одна мышеловка, за ней другая. Послышались какие-то противные звуки, писк и как будто топот, будто мышеловки эти куда-то тащат. Вставать было неохота. Утром я обнаружил, что мышеловки переместились к норам, которые я перед этим не заметил.

И после этого твари меня больше не беспокоили! Поняли, что покоя не будет, и ушли!

* * *

Снега напало столько, что выходить не хотелось, тем более что у меня не было ни сапог, ни валенок. Но все остальное для жизни было. Я сидел у окна за колченогим сто-

лом и рисовал. Приспособил лампу с самодельным абажуром из картонки, она у меня и днем горела — изба была темная, с маленькими оконцами.

На раскаленной сковородке жарились оладьи из хозяйской муки. В этот момент из сеней я услышал истощенное мяуканье. Открыл дверь и увидел несчастную, худую и дрожащую от холода кошку. Откуда она взялась зимой в заснеженной деревне — не знаю. Я ее оставил, не стал прогонять, хотя она мне не очень нравилась. Я кормил ее тем же, что ел сам. Она съедала все и настырно требовала еще. Я ее гонял, но кошка была простая, без образования, не обижалась на меня. И не уходила.

Потом пришла пора перебираться из Березова. Сначала в Москву, оттуда — на теплую дачу. Часть летнего барахла я оставил в избе, запер дверь, выгнав перед этим кошку из комнаты, и ушел. Почти дошел до одноколейки и вдруг увидел серую скотинку, которая семенила за мной, проваливаясь в снег. Ничего не помогало: ни крики, ни свист, ни ругань. Я кидал в нее ветки и комья снега, она все равно шла следом. Я дошел до «станции» Путилово. На фронтоне полуразвалившегося здания было выведено белой краской: «Привет вам товарищи от семиведерной клизмы!»

Рядом оказалась женщина, как выяснилось, учителька из Красноармейска. Я у нее спросил, и она рассказала, что сразу после войны на Красноармейский полигон из Москвы должен был приехать то ли Каганович, то ли Берия — словом, высочайший начальник. Было решено к приезду построить несколько станций на одноколейке. Строить начали, но планы в Кремле изменились, никто на полигон не поехал, все строительство заморозили. Местные постепенно выдрали из недостроенных зданий кирпичи, сорвали доски, сняли рамы, двери, и с тех пор эти сооружения так и стояли там, как древнеримские развалины. Подошла «кукушка» в сторону Софрина. Я сел в вагон и увидел, что кошка по-прежнему сидит и не уходит. Увидела меня через стекло и бесшумно замыкала.

* * *

Прошло ползимы, пока я собрался поехать в Березово за вещами. Позвонил Слава Провоторов*, он был самый надежный человек из художнического окружения. Абсолютно свой, водку не пил, лик имел иконописный. Мы решили ехать на его машине. Я ему обрисовал картину, — голое поле, снег, холодина, но он сказал, что мы попробуем подъехать как можно ближе к деревне, а там пройдем пешком. В это время я жил в Москве у Лены Кулинской. Вышел из квартиры с санками, на которые потом надо было погрузить вещи. Слава чуть руль не выпустил, увидев меня: на мне была оранжевая куртка «Аляска», а на ногах светло-голубые «луноходы». Их я позаимствовал у Кулинской, обувь осталась от каких-то диссидентов.

Стоял мороз, и за городом по Ярославскому шоссе, невозможно было ехать быстро — гололед мешал. Слава был молодой и неопытный водитель. Свернули с Ярославки направо, по направлению к Красноармейску. Шоссе было довольно пустынным. Все дальнейшее произошло внезапно, как и положено. Навстречу, быстро увеличиваясь в размерах, мчался самосвал. Он рыскал из стороны в сторону. Водила был пьяный, или?... Не знаю. Слава вцепился в баранку и нажал на тормоз. Машину закрутило, и она боком заскользила по шоссе.

В этот момент огромная ревущая махина промчалась мимо, метрах в двух от нас. «Жигуль» плавно скатился с дороги и медленно опустился в кювет, доверху забитый снегом. Нас переворачивало очень нежно, как будто елочные игрушки в вату кто-то упаковывал.

«Жигуль» лежал на крыше, а мы, пристегнутые ремнями, — вверх ногами. Ничего с нами не случилось. У меня сразу реле сработало: нужно уходить, не подводить Славу. Скажет в случае чего, что я случайный попутчик. Кое-как вылезли из машины и выкарабкались на шоссе. Я ждал, что с секунды на секунду появится ГАИ. Пошел вперед,

предупредив Славу:

— Если что — ты ничего не знаешь, мы незнакомы, а у меня шок.

Машины, проезжавшие мимо, тормозили, открывались дверцы. Человек десять мужиков буквально за минуту вытащили «Жигули» на шоссе. На машине не было буквально ни одной вмятины или царапины, лишь боковое зеркало было чуть погнуто.

Милиция так и не появилась. В некотором оцепенении мы доехали до поля, откуда уже виднелись черные избы Березова. Ближе подъехать было невозможно. Взяли санки и пошли к деревне.

Когда дошли до крайней избы, оттуда вышла знакомая баба. Поздоровались. Я сказал, что приехал за вещами, она мне рассказала, что живет тут зиму совершенно одна.

— А сын где? — поинтересовался я.

— Да пьяный напился в самые морозы, шел с «кукушки», упал и замерз...

Я открыл дверь, и мы вошли в ледяной дом.

На полу комнаты на боку, вытянув лапы, лежала моя окоченевшая кошка. Меня пронзило: это чья-то душа! Была со мной, пока я тут был, а ушел — и она умерла! А как она в комнату попала?

Холод был сильный, копать яму совершенно не было сил. Я вытащил животину на улицу и кое-как закидал снегом.

Рассказал Славе историю с этой неведомой мне душой, приблудившейся несколько месяцев назад. Он молчал, думал о своем.

* * *

Когда все кончилось в той жизни и мы уехали из страны, я узнал, что Слава Провоторов принял сан священника. Теперь он служит в подмосковной церкви.

* * *

Мне необходимо было переждать где-то в Москве ночь, чтобы утром отправиться за город. Я позвонил Мише Рошалю*.

Миша Рошаль, внук известного советского кинодеятеля Григория Рошалья, чтобы вы знали, был художник-концептуалист.

Прославился во время выставки в Доме культуры на ВДНХ, в 1975 году.

Рошаль, Гена Донской* (внук режиссера Донского) и Скерсис* считались учениками Комара — Меламида.

Они в прямом смысле слова сидели на выставке в большом гнезде, которое свили зубами. Высиживали яйца, правда, куриные. Над гнездом висел плакат: «Тише! Идет эксперимент!»

Тогда мы познакомились, и Рошалю понравились мои работы, а мне — его фантазии.

... Миша открыл дверь. В полутьме мелькнули очки Гены Донского, очки у него были старые, перевязанные, с треснутым стеклом. Это не имело никакого отношения к Булгакову. Просто Гена не совсем адекватно воспринимал действительность.

Рошаль шуганул Гену, и тот с тихим шорохом куда-то исчез. В коридоре мелькнула еще одна тень, бесшумно растворилась.

— Много их тут у тебя? — недовольно спросил я. — Отдохнуть невозможно.

— Не бойсь! Это свои люди. Гену ты знаешь, а другой — Гриша.

Гришу я не знал, так с ним никогда и не познакомился. Миша сказал, что он занимается подпольной культурой, то есть является, выражаясь сегодняшним языком, культурологом. Ноги у меня устали, и когда я ввалился в Мишину комнату, то повалился, как был, в куртке, на кровать поверх одеяла. Миша мне что-то рассказывал, когда в две-

ри появился Гена Донской. Он увидел меня, и лицо его приобрело задумчивое выражение. Не думаю, что за время странствий изменился так сильно, что узнать меня было невозможно. Просто Гена никак не мог понять: полчаса назад он заходил в комнату к Рошалю, Рошалъ лежал один, спал. И вдруг сейчас вместо него лежит одетый художник Сысоев, которого, по слухам, ищут, а Рошалъ сидит в кресле и машет рукой — иди, иди. Дверь тихо закрылась, и Гена Донской с печальным выражением лица исчез...



Когда я привык к своему «беглому» положению, встал вопрос, как лучше и незаметнее передвигаться. Самое лучшее, что я мог придумать, — выглядеть туристом или дачником. Летом, на приволье, ходил в брезентовой куртке, советских джинсах и часто, при походах в местный магазин, в резиновых сапогах.

Зимой надевал теплую куртку, китайскую кроликовую шапку. Во всех перемещениях меня сопровождал вместительный советский рюкзак. Практически там находилось

все необходимое для моей жизни. В рюкзаке никогда не было никакой антисоветчины — я был готов, что в любом месте меня остановят, проверят документы, попросят показать рюкзак.

Вот примерное содержание рюкзака художника-«нон-конформиста», скрывавшегося, как Ленин в Разливе, от ищеек временного правительства.

Белье, полотенце, мыло, аптечка и т.д.

Краски акварельные советские, ленинградской фабрики, неплохого, кстати, качества. Кисти колонковые, КНР.

Пара-тройка переводных детективов.

Маленький советский транзисторный телевизор «Электроника».

Радио «Сони» со всеми диапазонами коротких волн, с блоком питания.

Небольшой довольно обшарпанный кассетник «Сони» и несколько кассет с музыкой.

Ножницы, клей, какой-то мелкий инструмент.

Фонарик-«жужжалка».

Карта Подмосковья — обычная, которую можно было купить в Москве. На этой карте я никогда не отмечал места, где жил, хотя рука иногда сама тянулась это сделать. В записной книжке были только те телефоны, что были известны гебистам по унесенным и украденным у меня книжкам. Все остальное было зашифровано под телефоны баб.

Что-то из продуктов — консервы, сухое молоко.

* * *

Перебираясь с места на место, я был собран и готов к неожиданностям. А они бывали. На какое-то время пришлось вернуться в Москву. Жил у подруги, Лены Кулинской. Отважная девушка, не вынимая изо рта сигареты, строчила, как пулемет, на машинке самиздатские тексты в пяти экземплярах.

Однажды Кулинская попросила меня дотащить белье до прачечной. Собрали все в чемодан и большой баул. Вышли из дома. До прачечной было буквально рукой подать, мы уже дверь открывали, как сзади донесся голос:

— Граждане, остановитесь.

Сзади стоял мент, видимо местный участковый. Я-то понял, почему он нас остановил. В Москве была эпидемия квартирных краж, и менты усиленно искали домушников.

— Что несете?

— Белье в прачечную.

Он посмотрел на меня внимательно.

— А почему вы днем не на работе?

— У меня отпуск.

— Где живете?

— Да тут рядом, через две остановки.

— А тут что делаете?

— Как что, вот у девушки нахожусь, белье помогаю в прачечную нести.

— А она вам кто?

— Знакомая.

Лена смотрела на милиционера открытым застенчивым взглядом.

Он пошел с нами в фойе прачечной и попросил открыть чемодан и баул. Увидев белье, козырнул и ушел.

* * *

Крохотного формата самиздатскую книгу Вени Ерофеева* «Москва—Петушки» забрали на обыске. Кто-то по моей просьбе привез в Васюково другой экземпляр, я ее перечитывал, а тут как раз приехала Е.С. и сказала, что буквально рядом, в двух-трех остановках от Софрина, живет Веничка на замечательной даче. На следующий день я и поехал к нему познакомиться. Держал направление на те ориентиры, которые были указаны. Через леса и поля, че-

рез ручки и мимо беседки, упоминаемой в «Петушках», пришел в академический поселок. Веня сидел на грядке у забора и сажал морковь. Пиджак у него под мышкой был разорван. Я его тихо так позвал — Веничка, Веничка.

Он оглянулся на меня, не выразил никакого удивления. Я представился, и он сразу заторопился в дом.

— Ты с собой принес?



Ясно было, что я должен был принести, но я был пустой. Веня махнул рукой, не став слушать моих оправданий. Взял кошелку, и мы заспешили к станции, в магазин.

— Тут уже не работает, надо в Ашукинскую сгонять, — сказал Веня.

Перешли на другую платформу, дожидаясь электрички. В это время подошла электричка из Москвы, из которой вышла его жена Галя. Веня ей на ходу объяснил, что нам буквально на минуту надо в Ашукинскую, и мы немедленно вернемся. В Ашукинской большая толпа жаж-

дущих стояла перед продмагом. Было без пяти минут семь, магазин закрывался. Веня с видом знатока обошел магазин и оказался у заднего входа. Тут тоже стояли жаждущие, у которых *буксы горели*, но их было значительно меньше.

Веня их тоже обошел и исчез за дверью. Вышел он довольный — взял то, что нужно. Бутылку белого и три — красного.

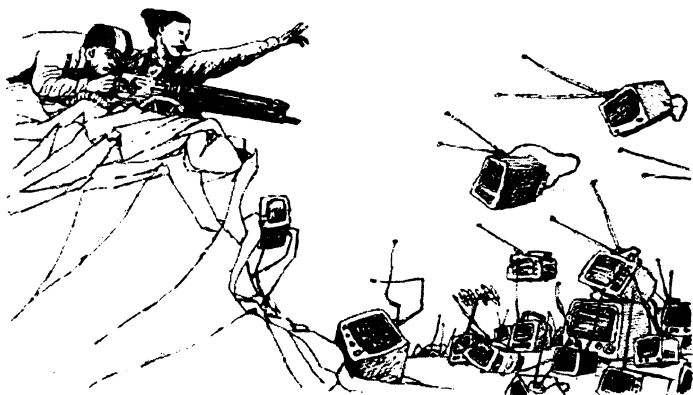
Поскольку питок из меня плохой, на академической даче царило уныние. Галя не пила, я тоже — почти. Веня впал в уныние, а потом начал меня задирать. Очень ему не понравился такой компаньон — ни поговорить за бутылкой по-настоящему, ни выпить... Так и не найдя общего языка, я ушел в ночь, размышляя об изменчивой русской душе и ее непредсказуемости...

* * *

Чтобы облегчить в дальнейшем свою участь на зоне (а я не сомневался, что там окажусь), необходимо было официально закрепить брак с Еленой Сергеевной. Для этого была проведена целая операция. Е.С. без меня подала заявление в ЗАГС Сокольнического района. Наплела что-то, ей поверили и сказали, когда приходить «регистрироваться». За день до этого волнующего события я приехал из своей дыры в пункте В., в Васюково, в квартиру Ларисы, где уже находилась Е.С. Лариса была тогда лучшей подругой Елены Сергеевны. Часа за два до назначенного срока мы вышли с Е.С. на улицу и на каком-то транспорте проехали полпути. Дальше, проверяясь, пошли пустынными закоулками и вышли в нужный момент к ЗАГСу. Тут нас и встретили Алена Кирцова и Мишка Рошаль, «нон-конформисты», красивые и веселые молодые люди. Они были нашими свидетелями. Брак был оформлен быстро, без всяких там праздничных фотографий и шампанского.

И ДЕЛО ПРОИСХОДИТ В ТОМ ЖЕ ДЕКАБРЕ...

Андрея Дмитриевича я увидел в шесть часов вечера на залитой электрическим светом Пушкинской площади. Насколько известно, это был его последний приход к памятнику в день Прав Человека.



Проходя незадолго перед этим по улице Горького, я зашел в Елисеевский. В винном отделе, среди толпы, я обратил внимание на двух пьяноватых и наглых субчиков. Они толкались около очереди, протягивали щеки поверх голов, брали бутылки. Я вышел за ними. Уверенно раздвигая плечами толпу, двигались они в сторону Пушкинской площади.

Перед памятником царило спокойствие. Кажущееся. Было много фланирующих граждан лет 30—35. По скверу, между памятником и кинотеатром «Россия», прогуливались люди в форме, с рациями через плечо.

Без десяти шесть около Пушкина собралось человек десять тех, кого называют «диссидентами». Их окружила большая толпа. Некоторые задавали вопросы...

— Что случилось? Почему стоят?

Андрей Дмитриевич, мне показалось, был невысокого роста. Ровно в шесть десятков демонстрантов сняли шапки и склонили головы. И тут кто-то бросил в Сахарова снежок. По крайней мере так показалось сначала. Позже выяснилось, что это был камень, облепленный снегом. Тут внимание мое было отвлечено криками и шумом. Около одного из чугунных фонарей стояла женщина средних лет. Что-то громко и быстро рассказывала она собравшимся. К ней подскочил какой-то мужчина, ударил сзади по голове и побежал в сторону кинотеатра. Раздались негодующие возгласы. Минуты через две за напавшим неспешно побежал человек в форме, скрывшись вскоре за поворотом.

Недалеко от Андрея Дмитриевича стоял генерал Григоренко. Он объяснял что-то обступившим его, кивая в сторону академика. Вцепившись в рукав его пальто, стояла рядом жена.

Демонстрация кончилась, но никто не расходился. Я отошел от памятника и двинулся вокруг скверика. Тут я обнаружил интересную личность. Я увидел Джеймса Бонда. Этот холеный, прекрасно выбритый и, по-моему, напудренный джентльмен с насмешливым выражением лица стоял в кучке случайных зрителей. Одет он был в белую, нежнейшую дубленку. На голове была роскошная, привозная, песочного цвета, ковбойская фетровая шляпа. Не знаю, были у него под меховой полкой колът, но сопровождавшие его две молчаливые серые личности были явно во всеоружии. Ковбойский человек спросил вдруг, ни к кому не обращаясь:

— Ребята, а что здесь происходит?

Стоявшие промолчали, а я высунулся:

— Диссидентов бьют..

— Не надо бы, — сказал, с улыбкой глядя мне в глаза, ковбойский Джеймс Бонд.

— Как же не надо, — вдруг почему-то ответил я, не отводя взгляда. — Очень даже надо...

Между тем толпа перед памятником увеличивалась. На демонстрантов, их друзей и симпатизантов из толпы насакивали пьяноватые уверенные молодчики. Вот мелькнули два типа, увиденные мной в Елисейском...

Вокруг Андрея Дмитриевича образовалась цепь. Друзья и сочувствующие сдерживали наседающих. Однако пьяная матерщина, невнятные угрозы и выкрики усиливались. Постепенно толпа передвигалась от памятника к редакции «Известий». На моих глазах высокий, костистый, с худым лицом человек в шляпе и кожаном пальто вдруг схватил кого-то за горло отработанным приемом. Толпа завертела кожаного, кто-то сшиб с него шляпу, и ему пришлось выпустить жертву.

Человеческая масса, с Андреем Дмитриевичем в середине, перемещалась через улицу Горького. Движение было полностью перекрыто. На другой стороне улицы, около Института Красоты, толпа снова остановилась. Было шумно, кто-то кричал. Незаметный человек, стоявший около меня, внезапно начал оглушительно свистеть. Блюститель порядка, стоявший рядом с патрульной «Волгой», не замечал свиста. Я подошел к нему и спросил:

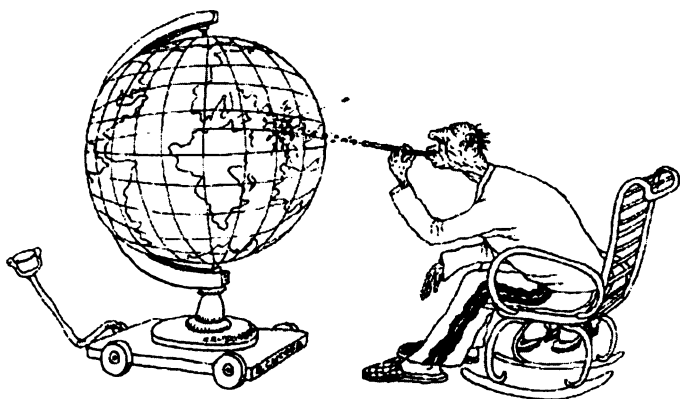
— Почему вы не остановите этого гражданина?

Блюститель посмотрел на меня и отвернулся. Тут же подошел ко мне свистун:

— Хочу и свищу. Нельзя, что ли? А ты — иди, куда шел...

Андрей Дмитриевич добрался до края тротуара. Тут стоял оранжевый жучок-«фольксваген» — приехала посмотреть на диссидентов иностранная жена одного из художников-нонконформистов. Андрея Дмитриевича посадили в «фольксваген». Машина двинулась вниз по улице Горького. Две или три «Волги» тут же пошли следом.

Я не принимал участия ни в одной из подобных демонстраций на площади перед памятником Пушкина. А в тот раз я был просто зрителем.

**Комментарии 20 лет спустя**

Осенью 82-го года, когда брежневизму, казалось, не будет конца, я закончил книгу, которая называлась «Ходите тихо, говорите тихо». Она была не очень большая, поскольку о каких-то деталях моей жизни и биографии я писать, по понятным причинам, не мог. Собственно, то, что вы сейчас читаете, и есть дополненный и расширенный вариант «Ходите тихо». Тогда же для меня очень важно было переправить «изделие в виде машинописи» за кордон. Я на несколько дней приехал в Москву и остановился на квартире моей будущей жены Ларисы. Мне сказали, куда и когда надо приехать для передачи текста. Никому не доверил, поехал сам. На ВДНХ я пошел по боковой аллейке, желтой от опавших листьев, и дошел до злополучного Дома культуры. Перед зданием стоял хорошо и неброско одетый господин иностранного вида с приятным русским лицом и бородкой. Он походил на Государя Николая Второго. Это был парижский художник, недавний москвич Слава Савельев. Мы пошли в ближайшее кафе, и там я передал Славе то, что со мной было, — рукопись и какие-то документы.

Дорогие товарищи, особенно молодые, специально обращаю ваше внимание, чтобы вы знали: в те годы было довольно опасно заниматься такими делами. Это просто счастье, что были такие люди, которые бескорыстно помогали. Рукопись была благополучно доставлена на Запад. Книга вышла в издательстве «Третья волна» в Париже буквально через месяц после моего ареста. Ее издатель, Александр Глезер, делал выставки в мою защиту, выступал в печати, короче, привлекал внимание общественности.

Но это все будет через какое-то время — а сейчас мы сидим со Славой в советском кафе, о чем-то негромко переговариваемся. Потом я уйду, а он остается.

Шпионский роман кончается, я уезжаю к себе в Васюково, а Слава Савельев — в город Париж.

ГЛАВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, ИЛИ ДОКЛАД «ДВА ГОДА ОТСУТСТВИЯ ПРИСУТСТВИЯ»

На сцене — большой портрет художника Сысоева. Под ним транспарант: 1979—1981. На трибуну из боковой потаенной двери выходит докладчик. Достает бумагу. Читает:

— Уважаемые граждане! Товарищи! Люди и джентльмены! Сегодня мы отмечаем славную дату — ровно два года назад нас покинул наш товарищ — неизвестный московский нонконформист Вячеслав Сысоев (*аплодисменты*). Много событий произошло за это время. Часть нашего авангарда уехала, другая часть осталась или умерла. В этот торжественный день надо помянуть добрым словом тех, кто знал и, будем надеяться, любил юбиляра. Не забудем художника Оскара Рабина, его сына Александра, Валентину Кропивницкую, а также Народных художников Израиля Комара и Меламида. Вспомним и коллекционеров, помогавших юбиляру: Аиду и Владимира Сычовых, Людмилу Кузнецову. А также художников Длугия, Одноралова и многих других.



Общение с этими людьми духовно обогатило творчество В. Сысоева. Разрешите мне добрым словом помянуть также следственные органы и другие организации, которые способствовали привлечению внимания международной общественности к судьбе художника тем, что возбудили против него вздорное дело, обвиняя его в изготовлении и распространении непристойных карикатур (*аплодисменты*). Не будь этого — никогда не появились бы карикатуры юбиляра в зарубежной прессе, никогда не был бы опубликован во Франции альбом его рисунков под столь близким и родным для всех нас названием «Жить стало веселее».

Действительно, уважаемые граждане, жить нам стало лучше и веселей после того, как любимые персонажи В. Сысоева расползлись из-под его пера по разным странам. Карикатуры В. Сысоева привлекли внимание прогрессивной зарубежной общественности своей злободневностью, страстным обличительным пафосом. Реакционные силы Запада, сторонники противников разрядки напряженнос-

ти, заправили биг-бизнеса и продажная буржуазная пресса попытались использовать карикатуры юбиляра в своих подрывных целях. Ничего у них, граждане, не вышло. Ничего не выйдет и в дальнейшем, господа империалисты! (*Продолжительные аплодисменты.*)

Публикуя карикатуры без слов В. Сысоева, западные средства массовой информации пытались выдать художника за какого-то злобного отщепенца. Так, например, итальянская пресса назвала юбиляра политическим сатириком, а французская реакционная печать утверждала, что Сысоев диссидент с детства. От имени и по поручению художника разрешите мне со всей ответственностью заявить: мы гневно протестуем против навешивания ярлыков на нашего юбиляра! (*Аплодисменты.*) Как может быть В. Сысоев политическим сатириком, когда в политике он совершенно не разбирается? Кроме того, всю свою сознательную жизнь он старался избегать политики, а сатиру признавал только ту, которая рождалась под пером Кукрыниксов* и Бор. Ефимова*!

Что касается того, что его называли диссидентом с детства, — это полное недоразумение, если не хуже... С детства можно, конечно, сохранить какие-то черты характера, склонности и привычки. Могут быть, например, «пенсионеры с детства», «художники с детства», «подонки с детства». Скажите, господа зарубежные фальсификаторы, как мог художник В. Сысоев быть «диссидентом с детства», если само понятие «диссидент» появилось в России в годы раннего правления Л.И. Брежнева? А ведь Сысоеву уже за сорок. Кроме того, как явствует из его записок, он провел свое детство беззаботно, под безоблачным лазурным небом, согреваемый солнцем сталинской демократии. Может быть, уважаемые господа империалисты, вы станете утверждать, что никакой демократии не было в те годы, когда художник еще не ходил, а ползал на коленях? Вспомните тогда своих интеллектуалов, господа? Не они ли пели победную песнь нашей демократии? Может быть,

потом они пересмотрели свои взгляды? Но кто даст гарантии, что завтра ваши новые интеллектуалы не пересмотрят свои сегодняшние взгляды? (*Смех в зале, аплодисменты.*) Вы запутались, господа и граждане. Вот тут вам на помощь и могут прийти карикатуры нашего юбиляра В. Сысоева. Взгляните еще раз на его рисунки: как просто, четко и конкретно выражает автор свою мысль! Кто может не понять, глядя на его работы, что он хотел сказать? Разве защита доступными средствами людей от жестокости, насилия, войны — это политика?

Видимо, кто-то на родине художника счел, что его работы носят какой-то двуязычный, иносказательный характер. Причиной тут может служить то, что на своих персонажах художник не ставит опознавательного знака — «MADE IN...». Он считает, что излишняя навязчивость и примитивное толкование его персонажей свидетельствуют о неуважении к зрителям. Юбиляр со всей решимостью заявил в прошлом году:

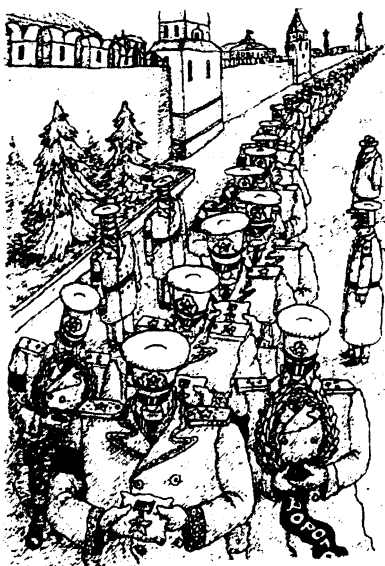
— Мои персонажи интернациональны. У них нет паспорта, нет прописки.

Трагическое заблуждение следственных органов в отношении творчества Сысоева необходимо рассеять. Сейчас художник лишен возможности нормально заниматься творчеством. Ему пришлось временно уйти из дома — и это в то время, когда многие из его творческих планов еще не осуществлены. Он не может показывать на родине свои работы, чем, без сомнения, пользуются враги разрядки, реакционеры всех мастей.

Что касается смехотворного обвинения в порнографии, то как не привести тут народную мудрость: «Чья бы корова мычала...» (*Смех в зале, аплодисменты.*)

Да, Сысоев делал графические работы! Но кто видел его порнографию? Покажите нам этого человека! Может быть, он находится среди собравшихся? Или даст нам свой адрес? (*Оживление в зале.*) Порнография — это могучее средство в борьбе с опиумом для народа. В своем от-

крытом письме в редакцию журнала «Контингент» юбиляр писал несколько месяцев назад, с иронией, конечно: «Сейчас, находясь в подполье, приступаю наконец к Всемирной Сексуальной Революции».



Небезызвестный Эбби Хоффман, много лет скрывавшийся от кровавого ЦРУ и погромного ФБР, заявил, что «в подполье — сыро». Можете ли вы себе представить, уважаемые товарищи и граждане, каково же сейчас нашему юбиляру — если в хваленной, сытой, изобильной и нищей духовно Америке, в подполье было, видите ли, сыро?

Ждут художника близкие друзья. Но нет, не появится он на пороге! Ждут его, скажем прямо, не только друзья. Ждут те, кто должен выполнить чей-то приказ — арестовать его. Это несправедливый приказ, и наша задача, уважаемые граждане, товарищи, люди и джентльмены, постараться приложить все усилия, чтобы он был отменен (*бурные аплодисменты*).

Отсутствие присутствия сегодня среди нас В. Сысоева — лучшее доказательство присутствия у него чувства юмора. А юмор, граждане, товарищи и джентльмены, помогает жить весело и преодолевать многочисленные трудности, которые еще встречаются иногда в западном мире, потрясаемом кризисом.

В заключение хотелось бы пожелать юбиляру, чтобы эта двухлетняя годовщина стала последней. Хотелось бы также, чтобы друзья художника узнали, что он жив, продолжает работать, рисовать и даже писать (*аплодисменты*).

Тут выступающий срывает вдруг с себя маску, и все видят, что это — сам Сысоев, бледный, взволнованный, озирающийся (*шум в зале*).

— Я хотел сказать вам, — невнятно бормочет он...,

— Ты сказал уже достаточно, — говорит кто-то из зала...

Комментарии 20 лет спустя

Конечная станция предыдущей жизни, на которой меня повязали, называлась «Заветы Ильича». И была расположена, естественно, на той же Ярославской дороге. Странное название навевало различные мысли. Именно здесь, что ли, Владимир Ильич что-то завещал? Кому? Местным пейзажанам? Или он обращался из Мавзика ко мне и призывал меня «лечиться, лечиться и еще раз лечиться»? «Колоть много дров на всю зиму»? Или Леонид Ильич, стоя одной ногой в могиле, призывал «скрываться, скрываться и еще раз скрываться»? Поселок был ухоженный, с хорошими дачами. Часть дач зимой функционировала, поэтому я не особенно выделялся на фоне окружающей среды. «Заветы» были вытянуты вдоль железки и плавно переходили в станцию «Правда».

10 ноября 1982 года, в День милиции, западный эфир был полон сообщений о возможной смерти Брежнева. И

только на следующий день советские дикторы загробными голосами сообщили о смерти вождя. В день похорон звучала траурная музыка, все как положено. Когда весь партийный ритуал был соблюден, отговорили по бумажкам траурные речи вожди, когда представители всех слоев общества выразили свою скорбь и прошла по Красной площади нескончаемая вереница генералов и полковников, несущих бесконечные награды Генсека, наступило время примет и знамений. Подробно все это описал писатель Евгений Попов в своем произведении «Душа патриота», напечатанном уже при перестройке, а тогда я смотрел трансляцию РИТУАЛКИ по «Электронике» с экраном в размер открытки и думал, что вот-вот все изменится.

Солдаты-могильщики уронили одним краем гроб в могилу, над Кремлем взвилась стая воронья. Ох, нехорошо это было, нехорошо. Еще несколько месяцев назад, гутарили, пьяная Галька Брежнева кричала в кабаке: «Уезжайте, пока папаня жив!»

Может, эти заветы дочери второго Ильича кто-то и слышал, я — нет. Я сидел перед ящиком и прикидывал — а что со мной-то, да и со всеми нами будет? Никто не знал, что уже все решено за нашей спиной, кому править бал. Андропов не знал, сколько ему править, и полупереходник К.У. Черненко — тоже. Все, как всегда, было решено за нашей спиной. Может быть, Миша Г. уже примерял где-то корону, но никто из смертных не знал наверняка.

* * *

Одна из последних больших серий, которую я успел сделать перед арестом, была лубочно-комиксная, посвященная пятидесятилетию подвига Павлика Морозова. Вот как жизнь повернулась интересно! Должно было пройти ровно 20 лет с того момента, как я закончил 18 листов «Павлика», чтобы он вернулся ко мне сегодня в виде электронной копии, фотографий, сделанных цифровой

камерой и перенесенных на компакт-диск. После смерти в США Люды Кузнецовой, для которой я и сделал эту серию, она отошла американскому коллекционеру русского современного неофициального искусства Нортону Доджу. Потом коллекция была передана в дар университету, при котором был создан музей, вмещающий гигантский раздел российского «нонконформизма». И вот он смотрит на меня с экрана компьютера, Павлик, герой, ничуть не постаревший за эти годы, с дебильным братом Федькой и чудовищными персонажами — *prodotriadnikami*, комсомольцами — «колхозниками» и кулаками, мироедами — *людоедами*. Кулаки у меня стали людоедами по совершенно объективной причине. Павлик сообщил *prodotriadnikam*, где кулаки спрятали зерно, утаив его от рабоче-крестьянской власти. Зерно реквизировали, и в деревне начался голод. Кулаки от голода и сожрали бедного героя, сокрушаясь, что мясо стукача оказалось слишком постным...

* * *

Новый год, 1983-й, пришел, и я его совершенно не запомнил. Приезжала Елена Сергеевна, но все детали ее пребывания совершенно стерлись. Зато все дальнейшее вижу, как будто было вчера. Е.С. сказала, уезжая, как всегда, когда ее ждать снова. И не приехала. Ее не было еще около недели. Я извелся, предполагая самое худшее. Она явилась вечером, издерганная и замученная. Сообщила, что боялась приезжать. Ее остановил в Москве некто, предъявивший удостоверение МВД на имя Аптекарева, и сказал:

— Передайте Сысоеву, чтобы он выходил, мы его все равно скоро найдем.

Вот с этим сообщением, после долгих мытарств и отрыва от возможной слежки, Е.С. и приехала ко мне в «Заветы Ильича».

Я понял, что все скоро закончится. А она еще добавила, что, по слухам, после смерти Брежнева, Ю. Андропов

начал шерстить все министерства и ведомства, в том числе и МВД. Вот менты и засуетились — велено было закрывать все «висящие» дела. Мое дело, спущенное им из КГБ, тоже было необходимо закрыть после почти четырех лет проволочек.

Печальное это было свидание. Я находился в самом угнетенном состоянии. Елена Сергеевна уехала, и я совершенно расклеился, даже выпил крепко, в одиночестве. Перед ее отъездом мы договорились, что кто-то приедет, чтобы забрать какие-то мои материалы. Недели три я провел в полном одиночестве. Ходил в магазин за продуктами, внимательно проверялся, но не обнаруживал ничего подозрительного. Составил письмо на случай ареста. Записал на кассету обращение к художникам и кое-что для печати.

Седьмого февраля вечером ко мне приехала Лена Авраменко. Я ее давно не видел, страшно обрадовался и долго выпрашивал о новостях. Когда стемнело, Лена собралась уезжать. Интересно, что бы подумали «товарищи», заглянув ненароком в окно дачи в этот вечер? Посередине комнаты стояла красивая молодая женщина. Я задрал ей блузку и укреплял на ее теле стопки самиздата, фото пленки, компактные кассеты, какие-то документы.



Потом помог надеть длинную меховую шубу. Как Лена ни отнекивалась, я решил проводить ее до станции, по-

сколько до станции предстояло по абсолютно безлюдному ночному поселку минут 20. Мы вышли из дома, прошли небольшим леском мимо черных окон загородного детского сада и вышли на заснеженное шоссе. Я довел ее до станции, поцеловал, и мы расстались.

Когда я возвращался, то снова проверялся и вновь ничего не видел. Пустота, одиночество, ночь.

Мимо леска, мимо детского сада я прошел другой дорожкой. Заметил, что на пустыре стоит черная «Волга». Фары были погашены, салон как будто пуст. Этой машины не было, когда я провожал Лену. Я вернулся в дом и, не зажигая света, встал на веранде. Поселок, я говорил, был обитаемый, но к полуночи жизнь там замирала полностью. Я постоял в темноте минут пять и увидел приглушенный свет от двигавшегося автомобиля. Мне показалось, что я увидел ту самую «Волгу», стоящую неподалеку. Для чего я описываю эти неясные видения, смутные ночные картины? А вот для чего: меня арестовали следующим вечером, 8 февраля.

Если бы за мной следили («Волга», предыдущий вечер, приезд и отъезд гонца из Москвы), они должны были бы задержать и Лену Авраменко. Я ведь шел с ней поздно вечером совершенно открыто, и шоссе было достаточно ярко освещено. Но этого не произошло. Доказательство тому очень простое: очень скоро все что Лена в ту ночь перевезла в Москву, оказалось на Западе и было опубликовано. Не думаю, что я такая фигура, чтобы вокруг меня надо было строить сложную комбинацию, новую «операцию Трест». Ради чего?

На мой взгляд, 7 февраля 1983 года «товарищи» еще не знали, где я, а 8-го, под вечер, узнали и немедленно рванули на станцию «Заветы Ильича». О том, где я скрывался, знали всего шесть-семь человек...



С МАГНИТОФОННОЙ ПЛЕНКИ

(Примечание В.С.)

Подлинная запись, сделанная мной за день до ареста. Печатается по тексту журнала «Стрелец», Франция, апрель 1984 г., в сокращении.

Я очень волновался тогда, как следует выпив. Запись делалась глубокой ночью. Я сидел в темной комнате, курил и постоянно отматывал пленку, чтобы исправить какие-то куски текста.)

«Я прошу тех, у кого будет эта пленка, в случае моего ареста сделать ее достоянием гласности.

...Я вспоминаю двух художников, которые сейчас уехали, — это Комар и Меламид. После знакомства с ними я почувствовал в себе какие-то новые возможности — так горячо они восприняли то, что я делаю. И я почувствовал с их стороны какое-то уважение к себе. Потом я присутствовал на различных хэппенингах, которые они устраи-

вали. Они были неистошыми на всякие выдумки. Я вспоминаю о том, как они жарили котлеты из газет, центральных. Они проворачивали их через мясорубку, и Алик (Александр Меламид. — *Примеч. В.С.*), со своей дьявольской, мефистофельской улыбкой, жарил потом это месиво на сковородке в кипящем масле, придав ему видимость котлеты, после чего эта продукция была запечатана в полиэтиленовые пакеты и отправлена в Соединенные Штаты. И что самое интересное — по прибытии в Соединенные Штаты эти котлеты покраснели по неизвестным причинам. Потом, я помню, что однажды, когда, ну, была какая-то вечеринка и я там был и стоял очень трезвый и какой-то хмурый, неразговорчивый, ко мне подошел Алик — а он был немного выпивший — и, глядя на меня опять своим мефистофельским сумасшедшим взглядом, тихо сказал мне: “Сысоев, надо жить весело”. И я теперь знаю, что это было сказано не только для меня, что сами они в жизни тоже следуют этому принципу: жить весело.

Сейчас иногда, включая радио, я слышу знакомые голоса. Я слышал несколько раз, наверно раза три, Рабина и думал, вспоминает ли он о нас, о тех, кто остался тут, или же — весь там. А потом я слышал Комара и Меламиду, которые и по радио говорили примерно так же, как они говорили в своей квартире, немножко придуриваясь. И я даже представил, как, сидя в студии, Алик, гримасничая и пытаюсь соблюдать серьезность, вместе с Комаром рассказывает о своем творчестве. Я-то уж знаю цену их серьезности. А весной прошлого года, 1982-го, я услышал по радио Людмилу Кузнецову. Тут я чуть не прослезился, я скажу откровенно. Людка говорила о выставке, которую она устраивала в университете, и когда она говорила о художниках, которые остались, она большую часть времени посвятила мне. И она сказала, что меня помнят и что пытаются меня выставлять как можно больше. К сожалению, я знаю, что у Людмилы Кузнецовой мало моих работ.

А сейчас мне хочется вспомнить о “Воскресеньях” так называемых, которые проводились в Подмоскowie. Это было в те годы, когда я только-только начинал пробиваться в художники, в неофициальные. Меня познакомили как-то — я не помню кто, не помню где — познакомили с людьми, которые устраивали эти “Воскресенья”. А устраивали эти «Воскресенья» бывшие члены Клуба самодеятельной песни. Бывшие, потому что они отошли от Клуба самодеятельной песни и считали, что его уровень их не удовлетворяет и что там есть какие-то ограничения. Они стали собираться по воскресеньям в подмосковных лесах, летом, для того чтобы иметь возможность послушать друг друга, попеть, почитать стихи и рассказы, что-то рассказать собравшимся.

И когда меня пригласили первый раз и я туда приехал со своей знакомой, то меня поразил общий вид этого зрелища, потому что это была какая-то очень большая поляна, на которой стояли палатки, были разожжены костры. Была очень хорошая погода. В середине поляны были воткнуты в землю палки, а к ним были прикреплены микрофоны, и внизу стояли портативные магнитофоны, и толпа, которая сидела вокруг этих микрофонов, ну, состояла примерно из двухсот человек, не меньше, если не больше. И к микрофону подошел молодой человек, очень милый и интеллигентный и с очень приятным и располагающим лицом. Это был Валерий Абрамкин. Он сказал, что очередное “Воскресенье” открывается. Потом начали читать стихи, петь песни. Уровень, конечно, был самый разный. Там были сильные исполнители, были посредственные, и стихи тоже были всякие. Но было интересно. Я впервые увидел, что люди свободно говорят и свободно поют. И люди были раскованны. И мне это понравилось, и я стал ездить и на другие “Воскресенья”. И было довольно много разных исполнителей. И пелись довольно интересные песни. И однажды, когда я рассказал своим знакомым иностранцам об этом, то почувствовал с их стороны желание

увидеть все это. Я им сказал: “Вы понимаете, что это неофициальное мероприятие, выражаясь официально?” Они говорят: “Да, да, мы понимаем”. И они решили поехать в следующее воскресенье, и поехали.

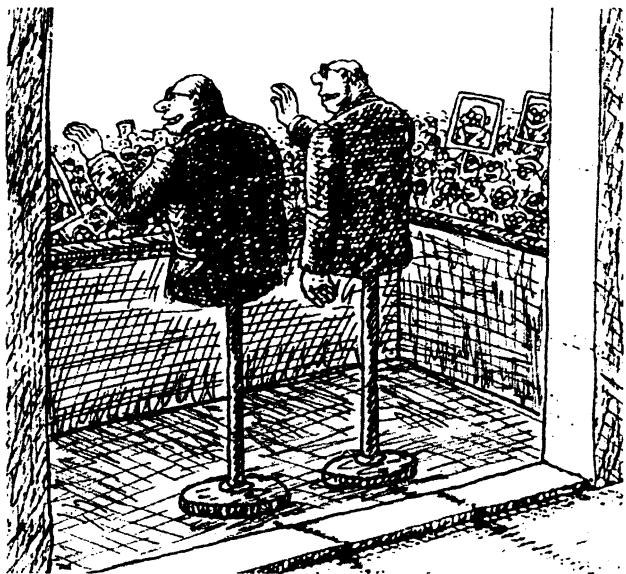
Я помню, что они были ужасно одеты: в какие-то черные плащи. Я так понимаю, что это было сделано для конспирации, чтобы те, кто за ними могут следить, не узнали, что они иностранцы. И вот они пришли, расположились среди собравшихся, и только-только началось это “Воскресенье”, как вдруг из леса появился милиционер с красной папкой в руке, а за ним следом из-за деревьев стали выходить дружинники с повязками. А после этого милиционер подошел к микрофону и сказал: “Кто здесь старший?”, на что Валерий Абрамкин ответил: “Здесь старших нет, здесь все равные”. А после этого милиционер, безошибочно выбрав из толпы замаскированных иностранцев, попросил их отойти в сторону и там попросил у них документы. Они предъявили документы. Он им заявил, что они нарушили территориальную зону какую-то, отведенную для них. Это, по-моему, радиус от центра Москвы 30 км, эта зона, то есть то место, где могут иностранцы бывать без разрешения. Видимо, это “Воскресенье” на этот раз проводилось за чертой тридцати километров. Иностранцы покинули это “сборище”, как было сказано работником милиции. А на следующий раз явились уже другие иностранцы. Это были немцы, телевидение ФРГ. Они приехали на оранжевом “фольксвагене” — большом вагоне, с аппаратурой. И этот автобус застрял по пути к месту выступления, и они его бросили там, а сами пошли вместе с остальными пешком. Потом они записывали на магнитофон и снимали на кино пленку выступающих. И на какое-то время я потерял их из виду, потому что я слушал песни, которые в этот момент исполнялись. Вдруг раздался какой-то шум и крики, все пошли выяснять, в чем дело. Мы увидели такую картину: стоят немецкие корреспонденты, довольно испуганные, а вокруг них беснуется толпа моло-

дых людей и девушек. Выяснилось, что как раз именно в этот день на это же самое место приехали члены официального Клуба самодеятельной песни. Увидев, что их снимают, они вскочили и стали кричать, что, значит, кто-то пустил сюда иностранцев, что многие из них работают на секретной работе и не хотят, чтобы какие-то там иностранные шпионы делали такие кадры. И стали буквально вырывать аппараты — киноаппараты и магнитофоны — из рук немцев и кричали: “Отдайте пленку, иначе будет хуже!” Немцы посоветовались и кинопленку отдали, после чего молодые люди смолкли, смотали ее в клубок и бросили в костер. Пленка эта горела очень плохо, но все-таки сгорела. А потом, конечно, произошло то, что и должно было произойти. Эта пленка оказалась цела, и, как я знаю, ее показывали в ФРГ, по-моему по телевидению.

А на следующее воскресенье и во все следующие воскресенья народу стало приезжать меньше, и каждый раз Абрамкин, когда начинал “Воскресенье”, говорил, что сегодня не будет того-то и того-то. Не будет потому, что один позвонил, предположим, и сказал, что он заболел, а другой позвонил и сказал прямо, что его вызывали на работе и сказали, что если он будет ездить на эти “Воскресенья”, то его уволят и будут неприятности еще большие. И постепенно число тех, кто выступал, и число тех, кто приезжал слушать, уменьшалось. И собираться стало примерно человек 50—60.

А затем Абрамкина арестовали, потому что он был одним из редакторов неподцензурного журнала “Поиски”. Потом был суд, такой же, как и все подобные суды, и по статье 190-1 его приговорили к трем годам. И сейчас я еще вспомнил о его жене Кате и об их сыне Алике. У меня тоже есть сын, которого я не видел с трехлетнего возраста. Какой он сейчас, я не знаю. Когда он вырастет, если будет такая возможность, я расскажу ему о себе, и он сам скажет свое веское слово, что он думал и думает о своем отце. А если этого я не сделаю, то пусть это сделает кто-то другой,

кто знает обо мне и о той истории, которая со мной произошла. А причина, по которой это все случилось, она и ясна и не ясна. Вот на меня выпал жребий, я должен нести все, что я несу сейчас. И я от этого не отказываюсь. Но вполне может быть, что на моем месте мог быть кто-то другой.



Да, собственно, и не только на моем месте. Есть много людей, таких же, которые делают гораздо больше, чем я, гораздо более нужные вещи, наверно. А я делаю то, что могу. Я бы очень хотел, чтобы мой сын, если он вырастет и увидит когда-то этих болванов, которых рисовал его папа, чтобы он сказал:

«Папа, какие были странные люди в то время, когда я был маленьким. Сейчас же таких нет, это правда?» Смогу ли я ему сказать, что это правда? Я не знаю. Если правильна латинская поговорка о том, что жизнь коротка, а искусствоечно, и если можно приравнять то, что я делаю, к искусст-

ву, то мне бы очень не хотелось, чтобы эти персонажи и через десять лет, и через двадцать были реальны, как и сегодня. К сожалению, это не от меня, я повторяю, одного зависит, а зависит это от всех людей, понимающих ситуацию, всех, кто не хочет, чтобы мы превратились в этих самых персонажей. Но об этом гораздо лучше сказали другие люди, при помощи слова, при помощи песни.

Пусть меня называют идеалистом, но я верю, что будут большие изменения. Ведь ничто даром не проходит: бульдозеры, которые давили картины; художники, которые скопом кинулись в Горком графиков, забыв о том, что во всех других городах Советского Союза все другие художники, которые не могут или не хотят быть соцреалистами, находятся в бесправном положении; и преследования отдельных художников; и даже странная смерть Рухина и загадочная смерть Надежды Эльской; ну и, в конце концов, просто картина, которая висит на стене, когда можно подойти и посмотреть. Ведь есть такие слова в песне: «Висит картина на стене, и этого достаточно». Наверно, все-таки просто так ничего не бывает, и не было бы сейчас возможности выставлять картины, если бы днем в сентябре 1974 года бульдозеристы на заправленных бульдозерах, под милицейским руководством и руководством граждан в штатском, не начали давить картины. Кстати, был момент — я же не был тогда на выставке, мне потом рассказывали — был момент, когда художники дрогнули. Да и как тут было не дрогнуть? Люди вышли с мольбертами и поставили картины, а на них прет машина. Был момент — художники дрогнули и даже стали отступать. А там на пустыре валяется груда труб. И вот Эльская, которая была на поле, она вдруг вскочила на эти трубы и закричала: «Мужики, куда? Назад!» И мужики остановились. Ну, вот это как раз и есть — этого достаточно. Так что все, что происходит, наверно, закономерно.

...Вы, те, кто слушает эту запись, вы заметили, что я старательно обхожу вопросы политики, а говорю только в

основном о культурной жизни. Это и понятно. Не буду же я тратить пленку и время на то, чтобы говорить о том, о чем каждый вечер вещают все радиостанции, на всех диапазонах коротких, средних и длинных волн. Если жизнь коротка, а искусство вечно, то надо стараться делать искусство, да?

А сейчас я хочу обратиться к художникам. Мне кажется, что может наступить такое время, когда удастся собрать много разных людей: художников, которых я знаю и которых не знаю, и других людей, которым интересно будет посмотреть на то, что мы делаем. И когда эти люди соберутся и, может быть, будет звучать вот эта запись, то... Я в жизни был лишен, в предыдущей своей жизни был лишен возможности обратиться с такой энцикликой к ним. Но вот, видимо, наступил момент, когда я теперь могу это сделать свободно, не боясь, что меня освищут или будут перебивать какими-то репликами. И теперь я хочу обратиться ко всем художникам, которые пришли и видят то, что висит на стенах или лежит на столе. Я хотел бы сказать, что мы потеряли очень много, когда кинулись за какой-то приманкой, думая, что это как раз не приманка, а есть наша еда, наш хлеб насущный. А оказалось, что это не так, оказалось, что это только приманка, для того чтобы нас всех захлопнуть.

...Я о себе могу сказать только одно: смотрите то, что я сделал. Я знаю, что многие не считают меня художником, говорят так: “Сысоев?! Да он же не художник, он — карикатурист!” Ну, в таком случае, для тех людей, кто так говорит, я хочу сказать: я и не претендую на звание художника, ведь в конце концов, я освобождаю для вас место, пожалуйста, считайтесь художниками. Можете повесить вместо картины, там, где стояла подпись “В. Сысоев”, свою работу, но если вы не хотите этого сделать, а хотите оставаться честными, то подумайте, как это сделать. Это все, что я хотел сказать».



Часть вторая

...Будущее мое было туманно, но предсказуемо.

Все, что произошло после ареста, вошло во вторую книгу, написанную в начале перестройки, сразу после освобождения из лагеря. Книга называлась «Утка на зимней даче, или За вами следят». Сейчас я позволил себе взять оттуда несколько вставных глав. Все остальное изложено заново на основе воспоминаний, черновиков и писем. В тексте встречаются жаргонные выражения. Это ни в коем случае не блатная музыка («феня»), а обычные выражения, которыми зеки обмениваются в обиходной подневольной жизни. Мне, кстати, на зоне по статусу и не положено было изъясняться на «фене», даже если бы я и знал этот «язык». Употребляемые в уголовной среде специфические слова и выражения прилипают к языку мгновенно и навсегда. Эти слова являются как бы барьером, который отделяет уже сидевших от еще не сидевших. Что характерно, многие из них широко вошли в современную русскую речь. Наверное, можно было бы в книге обойтись без всяких «шленок-шконок», но пропал бы колорит при описании жизнедеятельности и местопребывания «художника-нонконформиста». Я мог бы, например, сказать, что зеки едят из мисок. Но это было бы неправдой. Зеки хлебают из

шленок. Потому что миска — это что-то симпатичное, покрытое изнутри белой эмалью, а снаружи, может быть, даже расписанное цветочками. Зековская шленка, из которой хлебали и хлебают миллионы наших сограждан, штампуются из сплава тусклого, серо-бурого цвета. Никаких других разновидностей я ни в тюрьме, ни в лагере не наблюдал. Да, еще у петухов на зоне шленки с дырками в верхней части, то есть коцанные. Это делается обычными зеками, чтобы не попасть в непонятку — не схватить случайно «петушиную» посуду.

СУП ИЗ УТОЧКИ

ВСТАВНАЯ ГЛАВА ИЗ КНИГИ «УТКА НА ЗИМНЕЙ ДАЧЕ»

Недели через две после Нового года весь снежок на даче растаял, и на проталинах показалась осенняя грязноватая трава, почти не пожухшая.

Потом снова подморозило и засыпало снегом.

В тот февральский вечер я растопил плиту и поставил варить суп из половины венгерской утки. У меня было бодрое настроение. Усевшись за круглый большой стол, разложил почти сделанную игру «Мировое господство», клей, кисточки и ножницы. Сидел в полной тишине на пустой даче и думал о том, что будет со мной. С моей милой. Я был спокоен. Вот уж действительно: «Чему быть, того не миновать». Нет, не геройское это было спокойствие, но и не покойницкое. Я хорошо окопался. Предусмотрел всякие неожиданности. Знал, что будет, и не верил...

Суп из утки булькал, по комнате разносился вкусный запах, и березовые дрова в печке потрескивали, догорая. Только и оставалось, что подождать, пока супец немного остынет. Перед трапезой меня что-то дернуло, и я полез за

диван — взглянуть, как поживает мое шампанское. После Нового года я купил банку прекрасного виноградного сока. Разлил его в две бутылки из-под шампанского, бросил дрожжей и намертво закупорил. Сок в бутылках стал мутным. Пожалуй, недельки через две будет готово... Сел снова за стол. Бесцветным лаком я покрывал игральные карты... «КНР. Имея три таких страны, захватите 1 синюю и 2 желтых страны + 2 карты “А” ...»

Тут раздался откуда-то снаружи громкий треск. И снова полная тишина. Я готов, да, готов. Моментально выскочил на террасу. Не зажигая света, взгляделся. На улице и в проулочке — полная тишь. Снежок медленно падает. Яркий фонарь на столбе у дома вырисовывает весь участок как на ладони. Мрак и белизна — красота необычайная... Но это было, я не сомневаюсь. От мороза ли бревнышко крякнуло? Или же?..

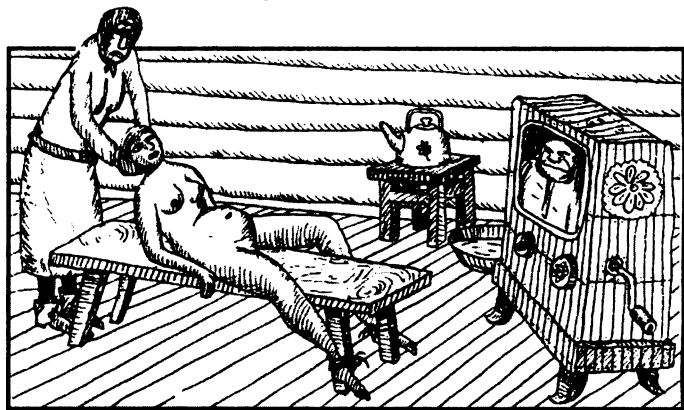


Я вошел в комнату, запер дверь, и тут вдруг снова раздался резкий металлический лязг. Я обернулся на звук: дверь в соседнюю холодную комнату была чуть приоткрыта. Крючок, сорванный, болтался на гвоздике, а в щель был виден свет. Я подошел к двери и резко толкнул ее...

Когда мы расставались, Е.С. сказала мне, что не знает, когда мы теперь увидимся. Перед этим ее остановил на улице человек, показавший удостоверение сотрудника МВД на имя Аптекарева.

— Передайте Сысоеву, чтобы он выходил. Теперь мы его найдем быстро. Он нам нужен.

Моя душа металась тогда, но я сказал: «Если Аптекарев еще появится, передай, что я не выйду. Пусть ищут. Они за это деньги получают».



ЖЕНЩИН ХОЧЕШЬ, А?

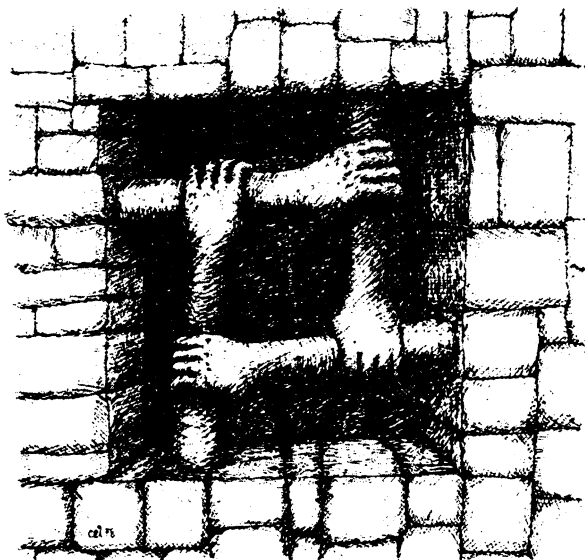
ВСТАВНАЯ ГЛАВА ИЗ КНИГИ «УТКА НА ЗИМНЕЙ ДАЧЕ»

Первое, что я увидел — два черных зрачка, смотревшие на меня. Пистолеты были в руках у двух ощерившихся молодых людей, стоящих в глубине комнаты. Мелькнула

мысль: грабители, пугающие меня игрушечным оружием. Уж больно маленькими казались «макаровы» в их здоровых лапах. Но проверить мое предположение я не смог.

Раздался окрик:

— Стой! Руки подними!



Повиновался.

— Что, не узнаешь? — спросил меня тот, что стоял справа. Одет он был в синюю куртку, на голове — мохнатая ушанка.

— Я Аптекарев.

Страх у меня хватило на несколько секунд. Потом затараторил что-то, свойским тоном давая понять сыскарям, что человек я сугубо штатский, мирный и невооруженный.

Видимо, опыт у Аптекарева и Лехи — так звали второго человека, с усиками, в меховой шубке серого искусственного меха, был солидный. Они просекли, что я действи-

тельно не опасен, и вошли со мной в теплую комнату.

Все немножко успокоились. Я ходил по комнате, вдыхая запах готового наваристого супа, и бесцельно хватался то за одну вещь, то за другую.

— Да не бери пальто, — сказал Аптекарев, — вот — ватник висит, бери его. Он тебе пригодится, я тебе точно говорю. Шапку... Шарф... Паспорт. Деньги возьми. Часы...

— Давайте пожуюм на дорогу, — предложил я.

— Хватит волынить, собирайся и пошли. Времени мало.

— А утка как же? — настаивал я. — Супец-то испортится. Давайте поедим.

— Пошли. Захвати хлеб с собой, сахар.

— Пять минут. Утка совсем готова!..

Далась мне эта утка! Долго потом, лежа после звонка на шконке в зоне, я вспоминал запах несъеденной утки — последний домашний запах моей прежней жизни.

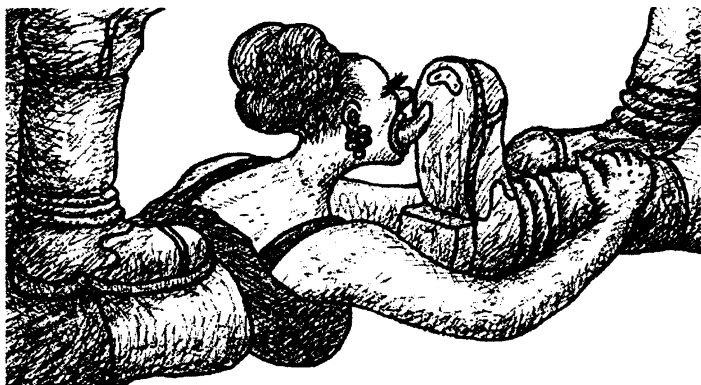
— Выходи. Запирай дверь. Свет погашен всюду?

— Слушайте, господа, раз вы меня забрали, надо дачу опечатать.

— Пошли.

— Как же это? Мы уйдем, а ваши придут и мне подкинут рацию или взрывчатку...

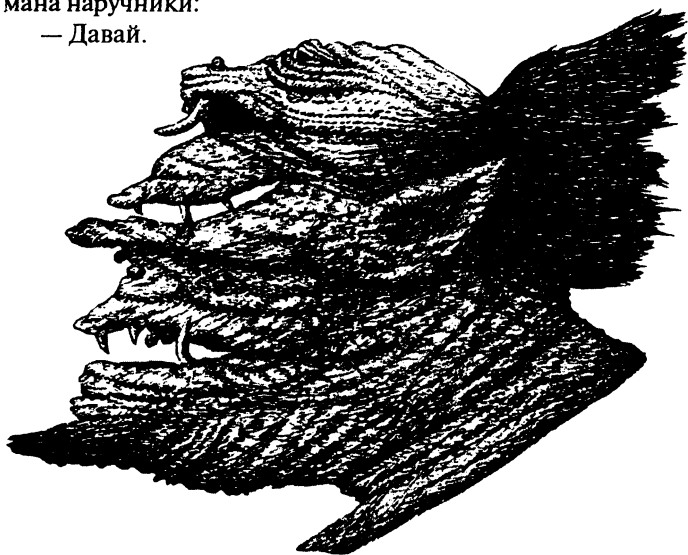
— Не подкинут, — ухмыльнулся Аптекарев. — Слово даю.



«Экий я олух, — сообразил я про себя. — Здесь же засада будет!..»

Вышли из дома. Пахнуло морозцем. Звезды сияли, снежинки опускались на крыльцо. Я запер дверь и ключ повесил на гвоздь, где он всегда висел. Аптекарев достал из кармана наручники:

— Давай.



— Господа, вы меня обижаете. Неужели вы еще не поняли, кто я? Куда я от вас убегу? В лес, что ли?

— Попробовал бы ты, — ухмыльнулся Леха, и усики его хищно изогнулись.

— Он у нас чемпион отдела по бегу, — пояснил Аптекарев и спрятал наручники.

— Ну вот, видите... Слушайте, а где же машина?

— Машины нет. Начальство бензин экономит. Мы на электричке поедem. Это тебе, кстати, доказательство, что мы из милиции, а не с Лубянки.

Мы двинулись к станции. Было часов одиннадцать. Шли поселком, потом леском, потом пустынным шоссе.

Я рассказывал о художниках. О том, что заставило меня почти четыре года скрываться. Слушали, спрашивали, хмыкали, посмеивались. На станции зашли в линейный отдел милиции. Аптекарев позвонил в Москву, доложил, что операция успешно завершена. Просил подогнать машину к Ярославскому вокзалу.

— Я хочу взять билет.

— Зачем это тебе? С нами как у Христа за пазухой.

— Нет. Дойдем до кассы.

Дошли. Я взял билет. Подошла электричка. Аптекарев посадил меня к окну, сам сел рядом. Леха — напротив.

— Слышь, — сказал Аптекарев, — ты не бойся...

— Да я уже и не боюсь. Страшно было, когда увидел пушки ваши, в живот направленные...

— Мы тебя сами в камеру определим. Хочешь — в тихую, никого не будет. Я тебе карандаш дам, ты мне нарисуй что-нибудь.

— Порнуху, что ли?

— Да нет, что угодно.

— Согласен. Давай сейчас тридцатник — и обещаю повторить что-нибудь из своих работ.

— Ну, ты даешь! — развеселился Аптекарев.

Все 55 минут до Москвы мы говорили, шутили и подковыривали друг друга. Друзья...

Поплыла платформа навстречу московская. Мы подождали, пока все выйдут, и направились к площади. Впереди Леха, я в середине, сзади Аптекарев.

У стоянки такси нас ждал милицейский пикап — не за решеченный, а оперативный. Видать, вся остальная техника была в работе.

Мы сели в машину. Сидевший в ней мент с добрым бабьим лицом кивнул сыскарям, потом взглянул на меня и спросил почему-то с кавказским акцентом:

— Слюшай, жэнщин хочешь, а?

ДЕНЬ СМЕРТИ СТАЛИНА

Доставили меня в КПЗ где-то у метро «Профсоюзная». Как Аптекарев и обещал, я находился в отдельной камере, без соседей. Но поскольку меня мурыжили в этом КПЗ 24 дня, что является само по себе грубейшим нарушением закона, то иногда я оказывался с самыми разными соседями — случайно забранными алкашками, мелкими грабителями и хулиганами. Одно время сидел с молодым парнем из Теплового Стана, который попался на неудачном угоне автомобиля. Парень был сильно бит ментами. Надеюсь, такая практика получения признательных показаний не вызовет ни у кого удивления. Иногда, ночами, в полной тишине и одиночестве, я слышал сквозь бетонные стенки крики, ругань и звуки ударов. Со слов сидельцев, менты для конспирации ночью увозили допрашиваемых в другие КПЗ, там били с целью получить признание, а потом привозили в «родную» камеру.



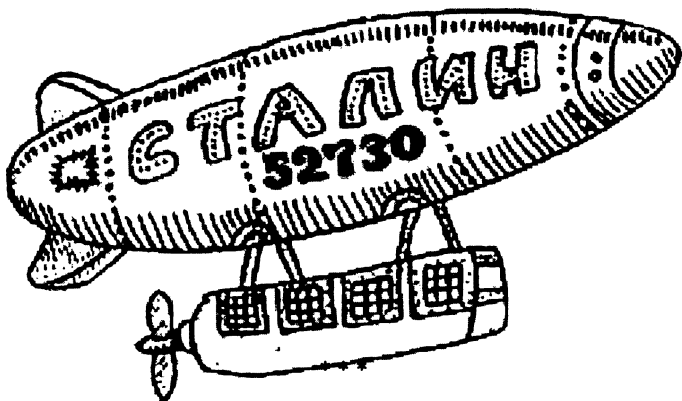
На следующий день после ареста явился ко мне следователь, назвал себя фамилией Приходько и вручил постановление об аресте.

После был вялый допрос. Впечатление было такое, что ему совершенно неинтересно вести мое дело. Будто все уже было решено, и он только тянул ляжку, отбывал в камере для допросов положенное время. Свое долгое пребывание в КПЗ объяснял я тем, что ГБ то инкриминировало мне статью о порнухе, то вдруг, после предъявления мне изъятых где-то на диссидентских обысках копий рисунков, — статью 190 (прим.) «Систематические измышления» — в адрес советской власти. Я от показаний отказывался, следователь, легко с этим согласившись, весело просил поставить подпись под фразой: «от показаний отказался», когда же я и от этой подписи отказывался, звал ментов-понятых, и те расписывались вместо меня. Однажды вечером, когда я, лежа на телогрейке, прокручивал в голове в очередной раз всякие события последнего месяца, дверь в камеру открылась, и туда с ревом ввалился здоровый мент-грузин:

— Ну, это здесь, что ли, мудака антисоветский сидит, а? Выходи, поговорим!

Когда тебе в КПЗ предлагают выйти — хочешь не хочешь, приказ выполнишь. Я был уведен грузином в знакомую мне уже камеру для допросов. Там стоял стол и два стула, привинченные к полу. Мент был настроен агрессивно. У него на рукаве была повязка дежурного по КПЗ. Интуитивно я понял, что он вызвал меня поболтать, а устрещающий тон — это игра, проверка на вшивость. Хватило ума не поддаваться на хамство. Уже через десять минут он участливо расспрашивал меня о жизни «нонконформистов». Потом мы посетовали на низкую мораль и бездуховность современной молодежи. Я все интересовался, что милиция делает, чтобы преступность снизить, а мент не отвечал — то ли ничего эта организация толком не делала, а лишь отчеты наверх поставляла, то ли не хотел мне

правду сказать. Говоря прямо, я вывод сделал такой: в мен-ты идут неудачники и лимитчики, работать они не умеют, и все «раскрытия» — это или работа стукачей, или признания, полученные при помощи кулаков. Только в МУРе да в каких-то районных УВД есть специалисты, умеющие работать.



5 марта 1983 года наконец меня доставили в Бутырку. Достойно, доложу я вам, пришлось мне встретить круглую годовщину со дня смерти Иосифа Виссарионовича. Когда меня вместе с другими арестантами сгрузили и мы оказались в огромном коридоре, пол которого был выложен плиткой, сравнение родилось само и сразу: я находился на вокзале, где выдан билет только в одну сторону. Кипела бутырская жизнь: шныряла obsлуга из зеков, не обращающая на нас внимания. Спешили вертухаи, шли какие-то гражданские с папочками. Высохшие ментовские воблы в белых халатах осматривали зеков, спрашивали, кто, чем и когда болел, заставляли приседать, смотрели в очко.

Ну, ничего, ничего нового! Будто задались они целью доказать всем (и мне, что ли?), что все, Солженицыным описанное, было, есть и будет вечно. Потом нас постригли тупыми машинками, откатали пальцы, сфотографиро-

вали и раскидали по камерам. В первый момент, конечно, стало страшно: на тебя смотрело пятьдесят зверских рыл. Но тут же я сообразил, что и наши физики ничем не лучше. Тут же подошел невысокий грузин, стал спрашивать, кто по какой статье идет. Слава Богу, камера оказалась вполне приличной. Омар, давний сиделец, к тому времени провел под следствием больше двух лет и был старостой камеры. Шконки были целевые и двухъярусные. Я прошел на место, указанное мне Омаром, и, подняв глаза, увидел перед собой Славу... Найденова! Этот пассажир работал переплетчиком в Художественном комбинате. Тип был довольно скользкий и мутный, в чем я потом и убедился.

А пока я обживался. Мне правильно советовали в КПЗ: поменьше болтай, побольше слушай и думай, что говоришь... Тогда, к нашему счастью, хотя и пошла андроповская волна арестов, в камере еще можно было дышать, мало того — по длинной нашей хате можно было гулять, что многие и делали ночью. «Тусовки нарезать», как сказал один уголовничек, лучше было именно ночью — многие спали, в камере было тихо, во время таких прогулок хорошо думалось. О чем? Обо всем. Как ни странно, но в таком большом «коллективе» было немного легче — некогда было особенно предаваться унынию.

ПАССАЖИРЫ

Подслеповатый Найденов попался на каких-то валютных операциях, был взят под стражу и парился в тюрьме уже несколько месяцев — подельники его не кололись и находились под следствием в других тюрьмах. Я оказался рядом с ним на верхней шконке, и он мне рассказывал, что его тесть работает в КГБ и, конечно, используя свои связи, из тюрьмы вытащит, а потом он станет таможенником... Все это говорилось как-то придурочно, с визгливыми интонациями, громко, с расчетом на то, что услышат

окружающие. В общем, вел он себя, как «стремный пассажир». Был в камере кроме Омара еще один давний зек — московский армянин Артур, благородный, уважаемый всей камерой арестант. Он сидел за организацию частной авторемонтной мастерской на территории одного парка. Найденов однажды сказал ему такое, что это зачлось ему вскоре, и еще как зачлось! С гигиеной в камере обстояло, как и во всей тюрьме: один умывальник на 50 зеков, горячая вода утром и два таза для стирки. Кто как успевал. Однажды кандидат в таможенники пошутил: взял свое грязное белье и носки и подошел к Артуру. Артур и Омар занимали на шконке привилегированные места у окна. Найденов с тазом, в котором лежали грязные вещи, подошел к ним.



— Артур, я скоро бабки получу, — сказал он, — ты мое белье не постираешь?..

Примерно через месяц камера наша уплотнилась. Было впечатление, что андроповская метла метет по-сталински.

Появилось много бомжей и бродяг. Были они, несмотря на прожарку, вшивые и грязные. Постарались от них как-то отгородиться, но все было бесполезно. Тогда камера подняла бучу, и прожарку стали устраивать чаще. Это помогло, но только отчасти. Появились и забавные персонажи. В камере оказался молодой человек интеллигентной внешности, хромой. Он работал техником в радиокомитете. Как-то начальник сделал ему замечание, а он прилюдно послал его... на три буквы! Тот немедленно вызвал дежуривший в здании радио наряд милиции, и загредел доктор Геббельс (так его прозвали зеки) под следствие, в общую бутырскую хату! В другой раз в камеру загнали полного мужчину средних лет в костюме и белой сорочке. Конечно, его наряд был уже жеваный-пережеванный. Я у него поинтересовался, как он тут оказался. Очень просто: это был переводчик с корейского, который несколько месяцев не работал и не обращал внимания на участкового, который требовал трудоустроиться... В результате был схвачен на улице в гражданском прикиде — костюм, галстук, портфель — и определен к нам. Без галстука и портфеля, естественно. Народа сделалось столько, что вновь прибывшие стали располагаться на ночь на матрасах, которые стелили прямо на полу. Гулять по ночам было уже просто невозможно. Утром матрасы запихивались под шконку. В первую ночь пребывания в камере переводчик вдруг распластался на полу и полез под нары. На недоуменный вопрос — ты куда, мужик? — пробурчал, что тут кругом тесно, а под нарами свободно. Ему пытались втолковать, что это не по правилам, что туда в наказание загоняют, но он уже заполз под шконку и затих...

За день до моего суда пригнали зеков с этапа из лагерей и посадили нескольких из них в нашу камеру, что было, конечно, грубым нарушением. Нельзя было смешивать отбывающих срок с еще не сидевшими. Среди прибывших был высокий худой мужик с разболтанными повадками блатного. Вор с Ростова — так он себя определил. Тут

же навел в тихой нашей хате новые порядки. Расспросив у старосты, кто есть кто, подозвал к себе Найденова, быстро тыкнул тому несколько раз в физиономию. Очки у Найденова упали, и блатной раздавил их сапогом. Потом он велел будущему таможеннику лезть под нары, а переводчика с корейского, наоборот, под нары не пустил и определил на верхнюю шконку.



В основном в камере была довольно спокойная обстановка. Особенно никто не выделялся, и было довольно весело. Однажды только это чуть не кончилось трагически. В камеру поместили совсем молодого пацана — Валу. Что он натворил — не помню. Пацан был веселый и глупый. Лез со всякой чепухой к зекам, и его отшивали, без грубостей, но решительно. Восьмого марта двое блатных, москвичи, уже имевшие судимости, решили над Валею пошутить.

— Сегодня, — сказал Санек, — в женский праздник надо тебе кличку дать, так, Валентин?

Тот, ничего не понимая, кивнул.

— Знаешь, как тюрьма кличку дает? Ты голову в окно высунешь, насколько можешь, и кричишь: тюрьма, тюрьма, как меня назвать?

На том и порешили. Кто-то стал у двери, загородил волчок. Валя подошел к окну в сопровождении двух блатных. Один из них крикнул в пустоту, во внутренний двор тюрьмы:

— Тюрьма, новому арестанту кличку дашь?!

Раздались крики из окон других камер:

— Дадим, и еще добавим!!!

Валя схватился за решку и закричал что было мочи:

— Тюрьма, тюрьма, как меня назвать?!

— Из глубины замкнутого пространства понеслось:

— Козел!

— Бычара!

— Мудила московская!

Вся камера содрогалась от гогота. Потом блатные с серьезными лицами сказали:

— Теперь ты законный пассажир и по случаю женского праздника сделай нам стриптиз.

Парень Валя, который до этого хвастался, что он очень гибкий, стал танцевать. Потом, подначиваемый блатными, стал раздеваться. Можно догадаться, чем это веселье должно было кончиться. Но ворвались менты и мгновенно выхватили из камеры организаторов действия и главного исполнителя.

* * *

ДВЕРЬ ЖЕЛЕЗНАЯ ДЛЯ ЗАКОНА ПОЛЕЗНАЯ

На такую дверь и с воли глядучи,
будешь мимо тюрьмы ходить крадучись.
Прапор-вертухай нового набора
открывает два запора:
один под ключ специальной работы,

другой из рельсы тагильского завода.
Вверху глазок — в каменный мешок,
ниже — кормушка для баланды из артишок.

(Из лубка «Ндравы тюремные». Москва, 1986 год)

СУД, ПЕРЕСЫЛКА, ЭТАП

Следователь за все время вызывал меня пару раз, задавал пустяшные вопросы, и мы расставались без всякого сожаления. По его равнодушию было видно, что дело мое успешно движется к завершению, причем уже известно, что будет, и сколько, и за что... Пару раз меня приглашали на беседу с адвокатессой — пустой и примитивной бабой, которой было абсолютно на меня наплевать. А мне соответственно на нее. Потом Приходько вызвал меня в последний раз. На столе лежало два тома. Он сказал, что дело мое закончено, скоро суд, и я могу ознакомиться с документами. Конечно, он был страшно занят, так он сказал, поэтому я успел только перелистать свое дело, да и то не до конца. Насколько я успел заметить, грамотный следователь всюду писал «парнография». Бросились в глаза фотографии, вклеенные во 2-й том: общий вид дачи в «Заветах Ильича», комната, где меня арестовали, диван, на котором лежал мой радиоприемник с блоком питания и наушниками. Просто Пеньковский какой-то!

В 6 утра следующего дня меня вызвали из камеры, и после обычных процедур я оказался в «воронке», который развозил арестантов по судам. Опять описания Александра Исаевича ожили для меня. Все, как положено: битком набитый «воронок», чад от курева, почти полная темнота, зеки полустоят, полусидят на коленях сидящих.

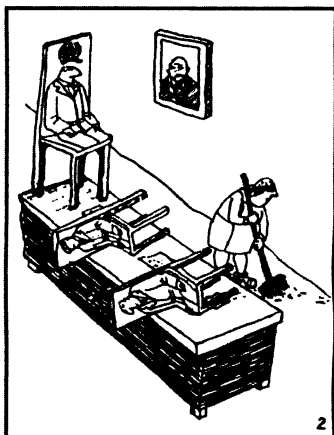
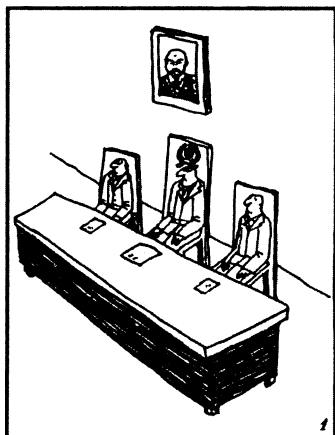
Суд был очень скорый. Зал пустой, заседание объявлено закрытым, поскольку судили по «порнографической» статье — так решил высоконравственный советский суд.

Судья, когда меня в зал ввели, спросил, указывая на двух смурных типов (лет по 35):

— Подсудимый, вы не будете возражать, если в зале будут присутствовать два стажера юридического факультета МГУ?

— Да нет, конечно. Не буду.

Красивая прокурорша требовала по максимуму — три года.



Вызывали свидетелей. Выступила жена. Сказала, что я ничего плохого не рисовал. Выступил Ленька Прудовский и девушка Алена. (Алена Кирцова, приятельница-укрывательница, верная подруга.) Сказали, что меня не судить, а награждать надо. Потом какая-то баба (оказалось, новая начальница Горкома графики, которой вскоре предстояло самой оказаться под следствием по подозрению в мздоимстве) сказала, что никогда меня не видела, что взносов я не платил, за что и был заочно отчислен из рядов. Что-то бормотала адвокатесса. Вины я своей не признал. Никто особенно и не настаивал. На том и разошлись. Осталось только судье и «кивалам» (заседателям) зайти в совещательную комнату и вынести приговор, но был по неизвестным причинам объявлен перерыв до завтра. На следующий день

все повторилось: «воронок», давка, пустой зал, те же «стажеры». Последнее слово. «Виновным себя не признаю». Два года. Нормально!

* * *

СУД

Ох ты суд наш скорый,
суд наш праведный,
ты отмерь нам мерой полною,
мерой полною, всенародною,
за грехи, за кровь,
за разбой ночной.
Во главе стола сам судья сидит,
по бокам его — два кивалы.
Судья скажет «раз» — головой кивнут,
судья скажет «пять» — два кивка опять.
Накивают так лет на десять —
на весах фемидиных и не взвесить.
А в углу сидит дева красная,
прокурорша юная, да опасная.
Очи долу гнет, призадумалась...
Может, жалко ей тебя —
вдруг подумалось...
Молчит мой защитник.

(Из лубка «Ндравы тюремные». Москва, 1986 год)

* * *

Лет через десять после описываемых событий к нам в гости в Берлин приехал Игорь Губерман*. И под выпивку (он пил водку, а я вино) мы с ним делились тюремными воспоминаниями. Он все меня пытал — почему я в Москву не еду, посмотреть, ведь интересно, столько изменений, а я все отнекивался и не хотел говорить на эту тему. Когда

он пошел спать, я оставил на кухне для него записку, зная, что встанет он утром раньше меня.

Товарищу Губерману для ознакомления

Меню Бутырское

- 1) Чикатила рубленая, кусочками
- 2) Почки отбивные, по-ментовски
- 3) Опущенка в собственном соку
- 4) Жульманы с белыми гробами

Наверно, Игорь Миронович утром прочитал «меню», поскольку больше он мне не задавал вопросы, почему я не хочу взглянуть на столицу.

А в Бутырке я был после суда переведен в камеру-«осужденку», где пробыл сутки. Там находились, понятное дело, уже осужденные. Именно так произносят это слово все следователи, судейские, менты и сами зеки. В камере была неразбериха, гам. Кто-то рылся в своих вещах, кто-то пытался рыться в чужих — глупые были, крысеныши, не понимали, чем им это грозит.. Молодые, собравшись кружком, уже кололи себе что-то на руках, плечах и пальцах. Потом была пересыльная тюрьма «Красная Пресня». Крохотные камеры. Невыносимая жара и духота. Зеки лежали на шконках, как патриции, полуголые, завернутые во влажные простыни.

На стенах, под рельефной «шубой», жили гигантские клопы. По вечерам, залезая на потолок, они по-солженицынски точно пикировали на шконки, на потные тела. Полтора месяца этой веселой жизни. Живем только ожиданием. Когда и куда нас повезут? Бывалые улыбались: Куда торопитесь?

* * *

ПЕРЕСЫЛКА

Собираемся в этап
из московской пересылки.
Остается мне, маманя,
полсрока до посылки.
Камера этапная,
вонючий дихлофос,
много помянется,
на душе — понос...
Сверху девки шальные
нам пришлют «коня» —
сало и бюстгалтеры —
выбери меня!
Утром нас погонят в баню —
может, повезет? —
и заочниц наших
мы увидим взвод.
Ох, не надо, и не думай!
Знаешь, что тогда?
Женщины в тюрьге —
дикая орда.

(Из лубка «Ндравы тюремные». Москва, 1986 год)

* * *

Ну, вот и этап! Две буханки и селедка на руки. «Воронок» прибыл на вокзал. Не поймешь, где мы. Ночь. «Столыпинский» вагон не у перрона, а где-то в отдалении.

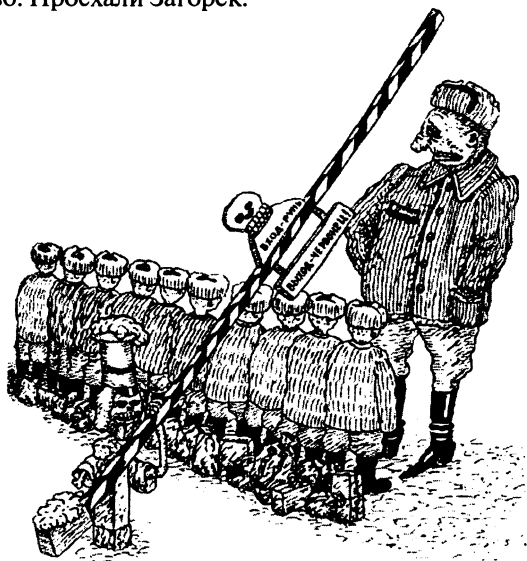
— Скорей!

— Быстрей, падлы!

— Пошел бегом, не оглядываться!

Набито, как и рассказал в «Архипелаге» А.И. Я лежу наверху. Пошевелиться трудно от тесноты. Но мы лежим и смотрим в окно. Поехали!

Прощай, столица! Опять Ярославка! Промелькнуло Софрино, платформа, от которой я на «кукушке» ездил в Васюково. Проехали Загорск.



Архангельск. Белые ночи. Пересылка. Грязная камера. Вонь. Пол покрыт жижей из засоренного сортира. Несколько шконок не вмещают московского этапа. Спим по очереди. Молодые опять разрисовывают себя опознавательными знаками. Я пишу текст песни, которую пел молодой Высоцкий:

За хлеб и воду и за свободу
 Спасибо нашему советскому народу.
 За ночи в тюрьмах, допросы в МУРе
 Спасибо нашей городской прокуратуре.

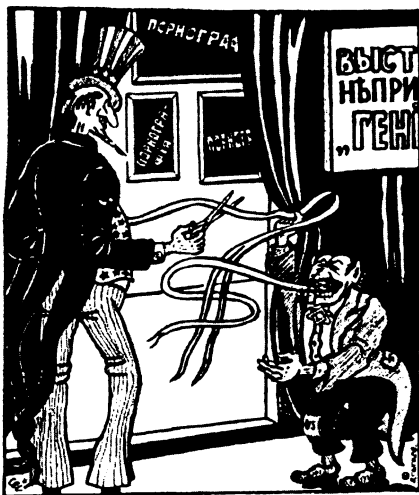
Приклеиваю листок к стенке мякишем. Зеки переписывают текст. В этой вони, толчее и бесконечном гомоне

проводим еще сутки. В голове что-то сдвинулось, то ли от того, что в камере всю ночь сквозь решетку видно серое, как бы предрассветное небо, то ли от ожидания непредсказуемого развития дальнейшей жизни, в которой сейчас от меня почти ничего не зависит.

И ДЕНЬГИ, И СЛАВА, И ОРЕОЛ

ВСТАВНАЯ ГЛАВА ИЗ КНИГИ «УТКА НА ЗИМНЕЙ ДАЧЕ»

Летом того последнего, свободного года шел я с приятелем по лесу. Подходили мы к лесу, и кончил я импровизировать. Минут пятнадцать рассказывал, какой фельетон обо мне напишут, и не ошибся! Все слово в слово. Только в числе ошибся. Думал — один будет, а было — два, подписанных простыми русскими фамилиями.



Во некоторых странах Запада поднимают на штырь деньги - доллары.

**Открываются...
ТАЛАНТЫ.**



Да кто же, Господи, знает, что будет? Я-то думал — будет тихое осуждение и всеобщее молчание, а как все вывернулось — не смолчали вражины, потратили киловатты и валюту и на определенных мегагерцах разнесли обо мне весть многомиллионным слушателям, да и в печати своей не забыли — жалом змеиным, как на рисунках Шепетко (вымышленная фамилия. — *Примеч. В.С.*), валютным раздвоенным языком ядовито расписали художника.

В таком большом мире, под ярким солнцем, шел художник с приятелем и не чувствовал, что он причина будущих страстей, возбужденных мощными передатчиками радиостанций, вещающих на русском языке и еще на языках многих народов Советского Союза. Надолго ли, впрочем?

Да уж, я не виновен, конечно! Это я говорю. А мне говорят: виновен. Сидел бы тихо и ничего бы не было. Так я и сидел. Как зайчик. Хлопал глазами. Не верят! Ох, не верят! Видят умысел коварный, крамольный.

Может, заблуждался в своем неведении? Да, вроде бы так. А в чем, собственно, заблуждался? Рисовал ли не то? Не тем ли продавал? Не туда попало? Да кто же сегодня знает, куда твое попадет, да сам куда попадешь? Надо было предвидеть? Да как же? Художник рисует, если честно — без оглядки. Свое сделал — а там хоть трава не расти. Умудрен-

ные люди, стоящие во главе угла, говорят — надо смотреть заранее, надо знать!

Да разве знаешь, что тебя ждет? Картинки рисовать — это же не голову на рельсу класть. Рисуешь-то в удовольствии, не по приказу. Думаешь, что пользу принесешь. А тебя шельмуют или превозносят, проклинают или приветствуют. Пойди узнай, где враги, где друзья. Да и друзья-то определяются смутно; через многие канавы надо перепрыгнуть, в дерьме повалиться, а уж потом выяснится, кто с тобой лобызаться будет. Да и тот — не вампир ли?

О, враги! О, друзья! Простите мне мою веру наивную в то хорошее, что есть где-то. Идеализм — вот мой враг.

Может, кто-то использует это свойство характера? Но не умея найти истину иначе, чем ощупью, я ищу, ищу ее на дне. И вот, вот, кажется... Да нет, — говорят.

Это не то. А что же? Деньги? Слава? Ореол? Деньги нужны. Слава — приятно. Ореол? Сомнительно. Но не надо жалости! Не будет самобичеваний.

ФИЛИАЛ ХОЛМОВ

Опять этап! Огромный «воронок» поглощает нашу камеру. «Воронок» не московский — это грузовик, в кузов которого помещен гигантский металлический короб, где нас и замыкают. Едем несколько часов. Часть этапа сгружают раньше. Нас везут еще час. Приехали!

— Быстро, пошел вниз!

— Быстреей, москвичи фуевы!

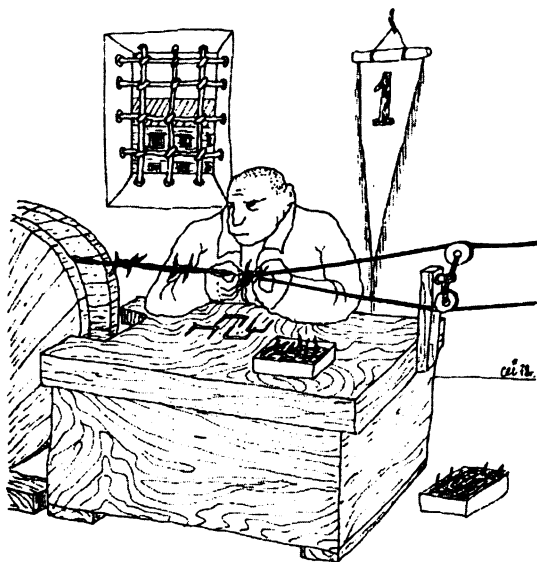
Зеки сыпятся из кузова под рык и тычки конвоя. Прибыли в Емецк, тут расположен маленький лагерьек, филиал Холмогорской зоны УГ 42/12.

Лето. Жара. Патриархальная обстановка. Никогда не скажешь, что где-то рядом Белое море. Чайки сидят, как вороны, на столбах у кухни. Ждут, что можно подхватить из объедков. Филиал маленький, человек на двести. Нет

петухов. Ни одного! В зоне власть администрации и «косяков» (треугольные нашивки «СПП» — «секция профилактики правонарушений»). Еще год назад, рассказывают, здесь была беспредельная зона: царствовали блатари и «шерстяные» (это те, кто на зоне причисляют себя к блатным). Пришел новый хозяин, уже при Андропове, и все быстро изменилось. Тут, в сушилке, рассказывает зек-старожил, каждую ночь стены были в крови, шли бесконечные разборки, буквально каждую ночь. Блатных зажали, и на зоне вовсю процветает стукачество, половина зеков ходит с «косяками».

Все блатные и отказчики от работы накрепко замурованы в ПКТ (тюрьма в тюрьме), сидят там безвылазно. Рассказываю бригадиру Васе, бывшему моряку, о себе. Он меня на какое-то время отмазывает от работы. Назначен художником — на кастрюлях пишу номера, крашу полки на кухне. Потом местный кум, похожий на немецкого шпиона из старых советских фильмов, узнает о нарушении и гонит меня на стройку, на общие работы. Работа у меня интеллектуальная: вместе с еще одним «зтапником» таскаю носилки, на которые положены огромные мешки с цементом. Пару раз носилки выпадают из рук. Реакция со стороны давних зеков однозначная: москвичи, что еще от них ждать? Строится вроде свинарник. Когда стену заканчиваем выкладывать, выясняется, что другой край стены уже треснул и готов рухнуть. Дизентерия. Я в лагерной больничке, прямо посередине зоны. Желудками мается больше половины зоны. Дальняк (сортир на много «очков») не вмещает страждущих. Приезжает жена. Ее не пускают: «Карантин». Когда карантин кончается, она все еще обитает в поселке, рядом с лагерем. Кум гоняется за ней на мотоцикле, требует, чтобы она уехала. Свидания так и не дают. У ворот вахты стоит гроб. Мне сказали, что Е.С., увидев гроб, решила, что свидания ей не дают, потому что я умер. Слава Богу, письмо разрешили передать. Пока живой!

Блатные все сидят в ПКТ, в штрафном изоляторе, а нравы блатные царят такие же, как и всюду. В бытовке пять розеток и пять кранов на умывальнике. Одной розеткой и одним краном никто не пользуется, несмотря на давку и толчею по утрам. Согласно легенде, несколько лет назад на зоне были «петухи», и они пользовались левой розеткой и левым краном. С тех пор — это табу! Бригадир соседней бригады, москвич, которому осталось сидеть месяц до конца срока, устав от зоновских «понятий», утром идет умываться к пустому крану и втыкает вилку электробритвы в левую розетку. Бригада немедленно объявляет ему бойкот — на работу не выйдем, пока этого не уберете. Угрозы не действуют. Бригада бастует. Бригадира срочно увозят на другую зону.



* * *

ЗОНА

ОГРОМНЫЙ ЗАНАВЕС
ЖЕЛЕЗНЫЙ
ОТЪЕХАЛ В СТОРОНУ
ПРЕД ТОБОЮ
НОВЫЙ МИР ВОЗНИК
ЗДЕСЬ ФИНН
И НЫНЕ ДИКИЙ ТУНГУС
НА ВЫШКЕ —
ДРУГ СТЕПЕЙ КАЛМЫК

Этап строится, не построишься,
все в бушлатах, в прохорях.
Масса серая, оробелая,
всем по бирочке, все во вшах.
Из штаба выходит бугор:
Ай вы молодцы этапные,
короли-блатари гитарные,
может, есть среди вас
урла москворецкая, или
вы все теперь люберецкие?
Затесались ли среди вас
петушки, опущенные,
панки-хиппи,
гребни вздрюченные?
Вы скажите мне,
не стесняйтесь,
всем воздам по делам,
не пугайтесь.
Отвечает этап: слава Богу,
наш этап благополучный,
ни к чему такому
не приучены мы.
Ах так, — говорит бугор, —
это другой разговор!
Вы, козлы московские,
фраера перовские,

вы все мясо наше съели,
ваши телки фирму одели.
Говорите, что все
московские, центровые,
все крученые да блатные?
Ни в шерстяных.
ни в мужиках вам не бывать,
весь срок носилки таскать!
Будете вы косяк носить —
за порядком следить,
за порядком следить —
полы мыть —
мужиком не быть,
стало быть...

(Из лубка «Ндравы тюремные». Москва, 1986 год)

КАК ТОВАРИЩИ РАБОТАЛИ -1

Размышления после суда (Вечерняя Москва.
№ 118. 24 мая 1983 года)

УГОЛОВНИК В ТЕРНОВОМ ВЕНЦЕ Фельетон

На страницах американских, французских, других западных газет то и дело мелькает имя Вячеслава Сысоева как большого мастера кисти и карандаша.

А вы слышали про такого живописца? Или, может, видели его полотна? Тоже нет? И не мудрено: с его «творчеством» познакомился лишь узкий круг людей — работники милиции, прокуратуры, суда Брежневского района.

А на Западе даже создан комитет в защиту Сысоева. А такая, с позволения сказать, газетка, как «Русская мысль», или Радио «Свобода» исходят пеной, провозглашая его

«талантливым», «поборником цивилизации» и т.д. Член сысоевского комитета, один из тех, кто за грош продал Родину, Виталий Длугий направо и налево раздает интервью. В них он злобно клеветает на СССР, горой встает за своего дружка, который-де страдает ни за что.

Комитет, заходится Длугий в экстазе, собирается как можно шире оповестить мировую общественность о сложившейся ситуации, подключить к борьбе за освобождение Сысоева как можно больше людей в США и Европе. Планируется даже персональная выставка непризнанного на Родине «гения», а также демонстрации протеста перед советскими посольствами и т.д. и т.п.

Словом, шум поднят невероятный.

Забавно, однако, будет поглядеть на устроителей персональной выставки Сысоева, когда они перережут ленточку на вернисаже и посетители во всей красе увидят... порнографию.



Да, как уже говорилось, работники 134-го отделения милиции, прокуратуры, суда Брежневского района довольно подробно ознакомились с таким творчеством «художника Сысоева». На его квартире, у его друзей были изъяты сотни диапозитивов с сюжетами непристойного характера, циничные рисунки, принадлежащие «кисти» В. Сысоева. Здесь же были и западные порнографические журналы, которые он выпрашивал у иностранцев,

Кто же все-таки этот В. Сысоев, который так занимает сегодня умы западных радетелей? В антисоветской истерике они как-то проходят мимо, не упоминают о его патологическом увлечении и, создавая для слушателей и читателей «светлый образ», всю расписывают страдания «таланта».

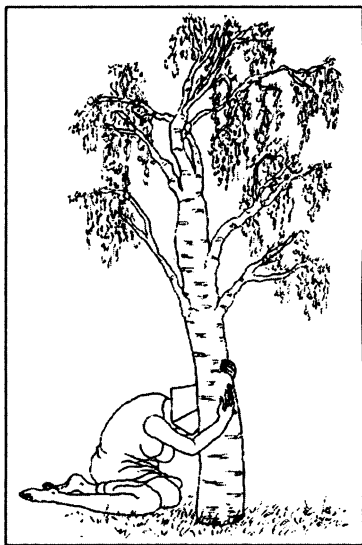
Мы побывали в 134-м отделении милиции, суде, где и познакомились с уголовным делом Вячеслава Вячеславовича Сысоева, 1937 года рождения, без определенных занятий, бывшего члена объединенного профсоюзного комитета художников-графиков. И «светлый образ» таланта и страдальца лопнул, как мыльный пузырь.

Начнем с того, что обвиняется он в изготовлении и распространении порнографических изделий (рисунков), что подпадает под действие статьи 228 Уголовного кодекса РСФСР.

Прожив до сорока шести лет, Сысоев, вероятно, никак не может расстаться с «туманной юностью». Намеревался стать художником, но специального образования не получил. Пришлось претендовать на роль некоего «самородка». Бывший председатель объединенного профсоюзного комитета художников-графиков Г. Чудина говорит, что с мая 1980 года по сентябрь 1982 года у Сысоева не было документов, подтверждающих его трудовую деятельность. Он не выплачивал членских взносов, не принимал участия в выставках, игнорировал вызовы на заседания президиума объединенного профкома и поэтому был исключен из членов профсоюза.

Зато Вячеслав Вячеславович преуспел в личной жизни. Сменил двух жен, сейчас числится супругом третьей.

Не чуждается он и иных развлечений. В 1979 году, например, в общественный пункт охраны порядка обратились жители коммунальной квартиры, что по Большой Садовой, 10, с просьбой оградить их покой от распоясавшихся гостей одного из жильцов, среди которых был и Сысоев. Пришлось урезонивать молодца всем миром. Отделался, однако, он легко, заплатив 20 рублей штрафа. Но не успокоился. Занялся изготовлением порнографических картинок. И снова его урезонивали — приглашали для объяснений в милицию. Но он уклонился и пустился в бега. Долгое время скрывался от органов милиции, хорошо понимая, что и изготовление, и сбыт порнографии караются законом. Кстати, не только в нашей стране, но и во многих других.



Конечно же, все это время он нигде не работал. Зато переправлял на Запад «заявления», «письма», «обращения», в которых апеллировал к иностранцам, стремясь найти сочувствие. Он писал, что его преследуют-де по политическим мотивам, а не за уголовные преступления. Прием этот не нов. Не один этот уголовник рядился в терновый венец «страдальца» за свои убеждения. Отщепенцы разных мастей за рубежом охотно подхватывали эту «утку». В случае с Сысоевым так рьяно, что даже третья жена Вячеслава Вячеславовича — Елена Бодэ в уже упоминавшейся газетенке «Русская мысль» за № 3452 сделала специальное заявление: «Возможно, что его творчеству кто-то захочет придать сугубо политический искаженный характер... Я против придания его деятельности сугубо тенденциозной окраски, я против навешивания на него каких бы то ни было ярлыков»...



Порнография и политика? Когда речь идет о том, чтобы устроить очередную антисоветскую шумиху, годится

даже она, порнография. «Борцы» за демократию готовы создать очередной ореол мученика любому аморальному, запятнавшему себя типу, лишь бы половить рыбку в мутной воде лжи и клеветы на СССР. Убеждение, идейность высокие слова... И когда ими прикрывают, как фиговым листком, бизнес, причем дурно пахнущий (ведь за произведения такого вида «искусства» кое-кто платит звонкую монету), становится особенно омерзителен лик западных доброхотов.

Воры, хулиганы, спекулянты, взяточники, клеветники — вот истинное лицо тех, кого антисоветская пропаганда рядит в незапятнанные одежды ангелов. Выдает их за невинных страдальцев, осужденных за высокие убеждения. То же самое происходит и сегодня. На этот раз в роли борца за «идею» выступает порнографист В. Сысоев.

Но как веревочке ни виться, есть у нее конец. В. Сысоев был задержан и предстал перед судом. Он полностью изобличен фактами и признан виновным в изготовлении и распространении порнографических изображений.

И в соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса РСФСР приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима.

В. АЛЕКСЕЕВ

* * *

МУЖИК

Я мужик фартовый,
на мне фофан новый,
штаны в обтяжку —
шил на промке Яшка.
Под ними плавки «free love» —

в них я имею кайф.
На работу хожу —
в кильдыме сижу,
с бугром чифир пью.
Перед ментом
не мельтешу,
плотно обедаю,
к куму не бегаю.
Кто со мной делится —
перед тем блатата стелется,
кто против меня возникает —
у того помидоры нарывают.
Имею нож —
да не кидайтесь в дрожь:
для резания сала,
что мать послала.
С бесконвойными дружу —
в их отряд хожу,
а уж что оттуда ношу —
и кенту не скажу.

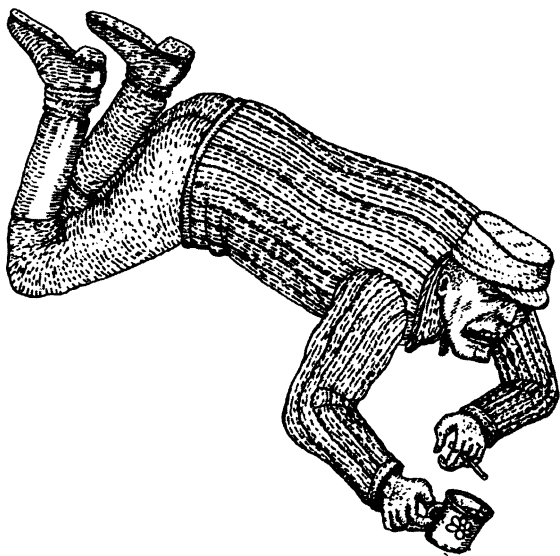
2/3 срока исполнилось в том году,
но я на химию не пойду:
что я — дурной?
Там раз — и снова под конвой!
Пойду на поселение —
если Бог даст постановление.

(Из лубка «Ндравы тюремные». Москва, 1986 год)

ХОЛМЫ

Не долго для меня музыка играла, не долго патриархальная тишь ублажала душу. Этап на Холмы, то есть Холмогоры, в основную зону, на родину М.В. Ломоносова. У Шаламова еще до ареста прочел, что в Холмогорах был большевиками создан самый первый советский концлагерь. Лагерек

небольшой, на тысячу душ. Семь отрядов, те же сучьи повадки, много зеков с косяками. Публика, как и всюду на общаке, — от 19 до 25 лет. Из всех мерзостей — самое мерзкое — утренняя «зарядка». Весь лагерь выстроен отрядами на центральной аллее и под музыку машет вяло руками, приседает, топчется на месте. Из всей публики самое отвратное — это зеки, которые надзирают за закрытием дверей в локалки, которыми отряды ограждены друг от друга. Из этой породы — самый худший — дневальный зек в ШИЗО и ПКТ. На что эта публика после освобождения надеется — не знаю. Солдат рассказал зекам: у вас зек, что на шизняке работал, недавно откинулся и поехал в Архангельск. Там его в тот же день встретили как надо, он в реанимации оказался и вскоре умер...



Другой солдат жаловался зекам на нравы в казарме: у нас полказармы стучит, надеются, что домой в отпуск пустят. По моим наблюдениям, вокруг меня было не менее трех стукачей. Делалось это, естественно, по распоряже-

нию кума Бибяева, редкой подлости офицера -«воспитателя». Стукачество на нашей зоне выродилось к 1984 году, как и все, что породила Советская власть. Сидим с Сергеем, москвичом, который, не скрывая, говорит, что ходит в штаб к «куму» в надежде чем-то разжиться. До отбоя час, в тумбочке — пустота, нет даже горсти чая, ну, просто голый вассер.

— Сходить в штаб, что ли, — раздумывая, говорит Сергей. — Что сказать о тебе? «Дядя Слава» (так он кума зовет) будет спрашивать, о чем мы с тобой говорили, что ты рассказывал.

Я периодически оповещаю всех, что я — американский шпион и сижу по порнушной статье из-за КГБ. В этом, кстати, и есть замечательное отличие общака от нормального советского общества. Ну, представьте, что вы в учреждении будете громко рассказывать, что вы американский шпион. Дурдом или пристальное внимание «товарищей» — вот что вас ждет. Но здесь-то все не так! «Товарищи» и их представители уже здесь присутствуют зримо и незримо, а общак — это и есть дурдом. Или что-то очень близкое к этому. Обнесенная проволокой пародия на советскую жизнь. Очень редко когда удастся побыть наедине с самим собой и задуматься о своем положении. Часто ловлю себя на мысли: никакой воли нет, все сидят на зоне, на воле — просто единицы: жена, друзья... Иногда чувство тошноты и отращения охватывает меня. Стоим как-то с земляком у ворот локалки, докуриваем сигарету и смотрим на зеков, шныряющих с разрешения «локальщика» по аллее: кто из бани, кто к врачу, кто на вахту, кто к куму с донесениями. Ощущаем себя зверями в клетке, но и те, кто шастают по аллее, для нас не лучше.

— Вот бы сейчас пулемет и оказаться вон там, — говорит земляк, мечтательно подняв глаза на холм, который возвышается за зоной. — Вдарить бы длинной очередью: трррр!

— А сами мы где в этот момент будем?

— Да тут же, где сейчас!

Я отвлекся. В данный момент я сижу на постели и перечитываю письма, полученные из дома, поскольку Сергей задерживается у кума. Наконец возвращается. Достает из-под «фофана» (бушлата) две пачки чая «со слонем» (индийского чая).

— «Дядя Слава» сказал, что больше не даст, — говорит он.

— Что так?

— Да ты, говорит, ни хрена нового не сообщаем, а то, что ты он, то есть, американский шпион, вся зона знает и смеется...

Какое-то время я не мог понять, с чем связано такое пристальное внимание администрации и «товарищей» к моей персоне. Пока, наконец, не произошел один случай. За час до отбоя я гулял по локалке, если можно назвать гулянием быстрое передвижение на 15—20 шагов взад-вперед, взад-вперед. Ко мне присоединился один из «моих» стукачей, здоровый амбал. Стал незатейливо задавать простенькие вопросы: как, мол, можно из зоны передать что-то на волю. Я сначала предлагал всякую хреновину, а потом сказал:

— Есть у меня один способ, думаю, им никто не пользуется.

Амбал вцепился в меня мертвой хваткой:

— Расскажи!

— Да ты что? А вдруг менты узнают?

— От меня, что ли? Ни в жисть!

Я сдался.

— Ну, тебе одному скажу. Я то, что нужно, ну текст, к примеру, или рисунок, переправляю с помощью...

— Ну!

Я оглянулся. Никого вокруг не было.

— С помощью голубиной почты! — торжествующе воскликнул я и оглушительно грохнул! Амбала как ветром сдуло. И я мгновенно понял, меня просто осенило: сейчас на дворе 1984-й, оруэлловский год. Почему именно сейчас

такая активность товарищей? Ночные шмоны именно в моем отделении тумбочки (тумбочка — на двух человек), персональные стукачи, такое внимание и со стороны администрации зоны? Да потому, что еще два года назад я сделал много работ, которые тогда уплыли в неведомые дали, и были многие из них помечены будущим 1984 годом. Вот и разгадка. Да они думают, что я прямо из Холмогор посылаю свежие работы и их на Западе печатают! Вот это козлодуи! Вот вам и хваленая проницательность, ум, честь и серость нашей эпохи! Обознались, товарищи! Я себя веду тихо и порядок не нарушаю.

Зимой, когда год Оруэлла подходил к концу, случилось нечто, подтвердившее мою гипотезу. На работе тащил вместе с зеками какое-то огромное бревно, шел где-то в середине. Потом зеки по команде бросили бревно, а я замешкался. Меня вдавило в снег, и бревно оказалось на мне. Зеки быстро его приподняли и помогли мне вылезть. Сел в снег, чувствуя, как немеет правая рука. Бригадир побежал к охране, зеки продолжили работу, а я сидел, прикладывая снег к опухающей руке. В это время я увидел, что к нам бежит Петр Яковлевич Шатунов, начальник по режиму. «Папа» бежал прямо по снегу, скашивая расстояние. Это где же видано, чтобы сам начальник режима так об обычном зеке заботился? (Честно сказать, я и до сих пор не знаю, в чем тут дело. Думается мне — «папе» по приказу из Москвы было велено пресекать все мои возможные попытки рисовать и... беречь от всяческих случайностей. Действительно ли было, как я предположил, указание с Лубянки, или какие-то другие обстоятельства сыграли роль? Письма в мою защиту, приходившие на зону из-за кордона? Две демонстрации в Париже? Рисунки в западной прессе? Никаких других очевидных причин подобного поведения лагерной администрации я не нахожу. Взятки ментам не давал. Академиком Сахаровым или великим диссидентом себя не считал, мании величия у меня пока, кажется, нет.) Шатунов подбежал ко мне:

— Что с рукой? Покажи! Идти можешь?

— Могу.

«Папа» лично повел меня в штаб, после чего стал названивать в Архангельск. Поскольку туда как раз шел «воронок», меня погрузили и отправили на больничку. Слава Богу, ничего серьезного не оказалось. Был просто сильный ушиб. В санаторных условиях я провел неделю и понял, почему зеки идут на все, чтобы хотя бы на день-другой попасть «на больничку». Место это, впрочем, совсем не безопасное. Вечером стоял у освещенного коридорного окна, смотрел через решетку, запретку и проволоку на архангельскую улицу, и в это время раздался оглушительный грохот — кто-то снаружи запулил здоровенным булыжником в соседнее окно. Побежали куда-то менты, разогнали зеков охранники-санитары.

Больничка — особая территория. Нравы тут царят строгие. Санитары — своя публика, все у них схвачено, как говорится. Разделений по зонам нет — вместе сидят и с общака, и со строгого режима, и с особо строгого. Ни с кем особо не познакомишься: только начинаешь привыкать к койке, к палате, тебя раз — и в другой корпус. «Пассажиров» все время тусуют.

Через недельку меня благополучно вернули в «родную» зону. Я еще долго ходил с «лубком» на правой руке, косил от работы. Лубок был наложен милой Ниной Аркадьевной: настоящий, из фанеры, а не мой, рисованный...

В отряде у нас был местный пацан, здоровый архангельский валенок, впрочем, тихий и не агрессивный — Федя Ткачик. Как раз, когда я возвращался, Федю на том же «воронке» этапировали в больничку с сильными болями в желудке. Ну, такое бывает — пища, знаете ли, не деликатесная. А то зеки глотают неизвестно что, чтобы в «санатории» оказаться. Потом, примерно через неделю, Федя вернулся. «Воронок» пришел как раз к обеду. И Федя прямо с этапа отправился в столовую. Вошел со всеми в столовую и ... сел за «петушиный» стол. Сами понимаете,

петухи столуются отдельно. В бараке Федя переложил свои шмотки в «петушиный» угол. Вскоре все узнали, что произошло на больничке. Когда Федя прибыл в Архангельск, он понадеялся на свою силу и знание арестантских законов, тем более что он уже достаточно отсидел. Кто-то что-то у него спросил, он не так ответил, его упрекнули в грубости и обидели. Федя коротко послал обидчика на три буквы. Ворвалась кодла блатных, и Федя стал... тем, кем стал. Всего за одно слово.



Вообще, с петухами была беда. Если сразу после прибытия в Холмогоры я насчитал в нашем отряде трех «опущенных», то к концу пребывания их число выросло до восьми. Всего отрядов было семь, легко сосчитать, сколько всего было опущенных на зоне. Незадолго до моего выхода в отряд поместили молодого интеллигентного москвича, опрятного и вежливого, который был размещен среди «петухов». Как-то ночью, после отбоя, он по просьбе зеков рассказал, что с ним произошло. В этапной камере, где

чаще всего и приключаются всякие неприятности, кто-то спросил его фамилию. Он назвал, и его тут же окружила толпа зеков. Его обвинили в «крысятничестве» — в воровстве у товарищей, хотя свидетелей не было, а была лишь «малява» (записка) из другой хаты, что зек по фамилии такой-то достоин быть опущенным. Напрасно он доказывал, что это ошибка, что он никогда не был в камере, где обнаружили «крысу». Его опустили. Буквально в этот же день выяснилось, что нашли настоящего «крысятника», однофамильца. Но дело было сделано, и ни в чем не повинный зек стал парией.

* * *

ШЕРСТЯНОЙ

Эй, москвич, дай закурить!.. Да
о чем с тобой говорить?
Радость большая —
если будет подогрев с чаем.
Может, макли навести
или этап потрясти?
Получил я бурило от биксы,
раскурочил и сделал фиксы.
Пидорка-самоотрочка
черна как ночка,
сапожки приблатненные,
каблуки наборные.
Курю через мундштук, чтоб
не получить заразу вдруг.
Кончил институт Воровского
на проспекте Склифосовского,
факультет карманной тяги —
показать бумаги?
Шизо не боюсь,
от нового срока откручусь...
В натуре!

(Из лубка «Ндравы тюремные». Москва, 1986 год)

* * *

ИЗ ПИСЕМ, ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ
УГ 42/12 МОЕЙ БУДУЩЕЙ ЖЕНЕ ЛАРИСЕ

...Больница — это отдых, конечно. Режим здесь больничный, а антураж — как в ИТУ. Тут дают молоко (по стакану в день), четвертинку черного и четвертинку белого хлеба, 20 грамм сливочного масла, суп с мясом. А сегодня был молочный суп с рожками. Одеты мы довольно странно — белые кальсоны, тапочки, сверху халат без пуговиц. В таком виде приходится ходить в баню, в ларек. Но сейчас очень тепло — снега почти нет, он растаял за эти дни, а в окно в этот момент, когда я тебе пишу, светит яркое солнце.

А. КЛАРК

ВСТАВНАЯ ГЛАВА ИЗ КНИГИ «УТКА НА ЗИМНЕЙ ДАЧЕ»

Библиотекарь Женя, который сидел за клевету, меня уважал. Особенно после того, как он прочел в «Литературке» фельетон «Как стать великим».

Я приходил в библиотеку, долго листал всякие журналы. Однажды в «Технике молодежи» я натолкнулся на повесть Артура Кларка. Действие происходит в космосе. В неизведанные бездны космоса летел межпланетный корабль с интернациональным экипажем. Все фамилии героев были диссидентские. Те, о которых говорят по «Голосам».

Вскоре после этого меня вызвали в штаб. Туда прибыли по моей просьбе люди из КГБ. После фельетона в «Литературке» у меня было несколько вопросов, касающихся моего положения и дальнейшей участи. Мне хотелось проверить, насколько верны мои предположения насчет гебистской

режиссуры. Удивительна та скорость, с которой отреагировали архангельские чекисты на просьбу обычного зека.

В беседе выяснилось, что я во всем виноват. В частности, в том, что кто-то где-то шумит, требуя моего освобождения.

Мы довольно долго разговаривали, и я пытался доказать, что не я один виноват в этом шуме. А потом спросил:

— Как бы вы отнеслись к тому, если бы выяснилось, что в одном солидном журнале публикуется произведение, положительные герои которого сплошь носят фамилии диссидентов, сидящих за антисоветскую деятельность?



Мои собеседники замерли на миг и потом, не ответив, как бы они отнеслись к этому сообщению, задали мне встречный вопрос:

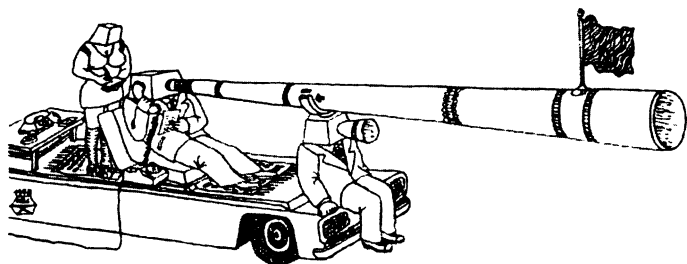
— Что за журнал и когда он вышел?

Какое-то время я торговался, пытаюсь договориться о встрече с более высоким начальством, но потом «раскололся»...

Прошло полгода. В последнем, 12-м номере «Техники молодежи», в перечне вещей, опубликованных за год, романа А. Кларка не было. Фамилия редактора сменилась еще раньше — через месяц после моей беседы...

Но самое смешное, что, когда я вернулся в Москву и рассказал эту историю, меня сразу поставили на место, сказав:

— Не обольщайся, дорогой! Ты был не первый. «Сигналы» поступали сразу после выхода в журнале первой части...



* * *

ИЗ ПИСЕМ, ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ УГ 42/12 МОЕЙ БУДУЩЕЙ ЖЕНЕ ЛАРИСЕ

... Еще когда я был молодой и имел неосторожность приводить в дом жен(у) на шею родителей, иногда хотелось вырваться куда-то. Тогда я звонил знакомому сумасшедшему Осе и одному студенту, который позднее пробыл долго в дурдоме. Мы ехали на ВДНХ. Там шли пешком, доходили до забора, где был расположен Ботанический сад. Рядом находился совершенно гениальный павильон, деревянный и одноэтажный. Павильон дегустации. В зале много столов, каждый стол буквально уставлен десятками бутылок. Содержимое — всякое, какое только можно представить. Наше и не наше. Сухое и марочное. Виски энд водка. Коньяки, ликеры, настойки, вермуты, шампанское.

Рюмочки по 25 и 50 грамм. Для сухого вина — фужеры по 100 грамм. Цены — повышенные. Но это тогда не имело значения. И те, кто туда заходил, не напивались пьяные. Я, по крайней мере, ни разу не видел. Очень строго следили за тем, чтобы павильон не превратился в распивочную. Году в 70-м павильон закрыли по неизвестным мне причинам.

...С ВДНХ связано еще одно воспоминание о выставке в Доме культуры, незабываемое, конечно!

После закрытия выставки художники арендовали какое-то кафе недалеко от ДК. Пригласили рок-группу. Кажется, это был «Последний шанс». Или нет.

В общем, весь вечер исполняли шлягеры. Только по-английски. Художники веселились, что все так удачно кончилось. Я там был один, так как с Е.С. еще не был знаком. Ну, и как всегда, не очень веселился. Не танцевал. Помню, даже с кем сидел рядом. Напротив был Оскар. Я сидел рядом с Зелениным и Гавриловым. Недалеко были Комар и Меламид. Где все это? Где все? Никого, представляешь, никого, кого я перечислил, тут нет. (То есть в СССР. Все пятеро перечисленных художников — давно на Западе. — *Примеч. В.С.*) В зале было много народа, человек двести. Конечно, большая часть их работает по-прежнему в Москве. Но я помню, что те, кого перечислил, были незаурядными личностями. Я это мнение не изменил.

КАК ТОВАРИЩИ РАБОТАЛИ -2

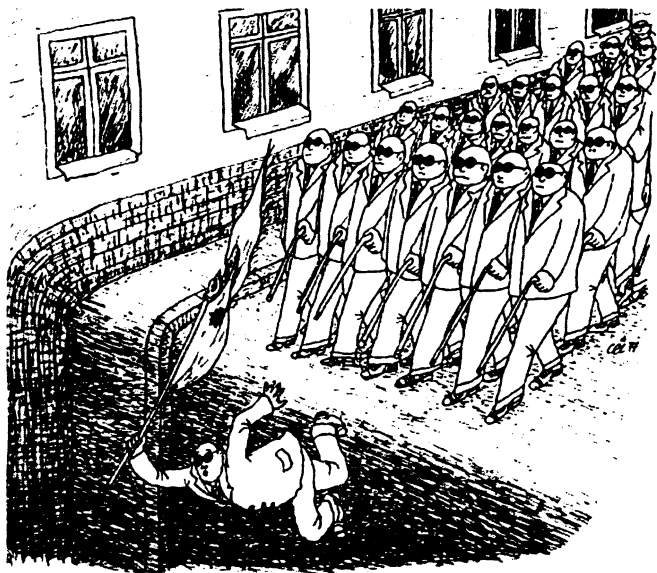
КАК СТАТЬ ВЕЛИКИМ

(Литературная газета. 2 мая 1984 года)

Фельетон

Способов много. Главные записаны в книге рекордов Гиннеса. Можно простоять на голове пару месяцев, но

для этого нужно иметь по крайней мере крепкую голову. Можно съесть тонну морковки и при этом даже не пожелать, что говорит о сверхъестественных возможностях вашего желудка, печени и проч. Но речь сейчас не об этих действительно необыкновенных людях, а о тех, кто, увы, ничем таким не обладает, а прославиться очень даже хочет. Для них, мы уверены, наша история будет весьма поучительной. Может даже так случиться, чем черт не шутит, что ее посчитают достойной гиннессовской энциклопедии абсурдов...



Речь о Сысоеве Вячеславе Вячеславовиче, который иначе как художником себя не мыслил. Конечно, художник не обязательно должен иметь специальное образование, но уж икру боiously — как минимум. Так вот, ни того ни другого у нашего героя не просматривалось. Надо заметить, что это не наше непросвещенное мнение, а суровый приговор, вынесенный в свое время его бывшими приятелями — художником-авангардистом Рабиным и «коллек-

ционером»-спекулянтом Глезером. Первый в порыве откровенности скажет: «Извини, Слава, но ты не живописец», второй откажется приобрести творения Сысоева по причине отсутствия у него таланта. Суровые были ребята, но справедливые. Правда, до поры до времени. Теперь эти двое, оказавшись на Западе, входят в «комитет в защиту Сысоева» и уверяют других в его «гениальности».

От кого же защищают Вячеслава Вячеславовича? Естественно, от советских властей, точнее, от нашей милиции и суда, которые... Но давайте все по порядку. Поскольку живописца из Сысоева не получилось, он начал заниматься графикой весьма особого свойства. И в этом деле наконец преуспел. Преуспел настолько, что о нем заговорили. И не только в Нью-Йорке, Париже и т.д., но и в Москве. Дело в том, что наши правоохранительные органы установили: гражданин Сысоев В.В., 1937 года рождения, занимается изготовлением и распространением порнопродукции. Его пригласили в милицию, чтобы познакомить с соответствующей статьей Уголовного кодекса (вдруг человек не ведает, что творит) и предупредить о возможных последствиях. Оказалось, ведал, но не внял. Ударился в бег. Потом, конечно же, поймали, арестовали, судили.





Во время следствия вскрылся источник вдохновения далеко не юного «дарования». Сначала Сысоев изготовлял собственные картинки. Я видел их — они приложены к делу — и свидетельствую: жалкий и дешевый кич, заимствованный у безымянных авторов настенной «живописи» в общественных туалетах. Подобная продукция вряд ли могла найти сбыт. Тогда Сысоев завязывает обширные связи с иностранными поставщиками. Нет, он не ошивается в гостиницах или на вокзалах, как примитивный фарцовщик, в поисках фирменного барахла. Вячеслав Вячеславович жаждет пищи духовной, ему подавай журнальчики, да чтобы меньше текста, а больше иллюстраций. И такие, глянцевые и многоцветные, ему контрабандой доставляют прямо на квартиру. При аресте у Сысоева нашли тысячи слайдов, переснятых и смонтированных умелой (тут уж ничего не скажешь) рукой. Вот за эти-то «художества», согласно 228-й статье Уголовного кодекса РСФСР (изготовление или сбыт порнографических предметов), его отправили на два года в колонию общего режима.

...И началось превращение Сысоева «из грязи в князи». В Париже организовали «комитет в защиту». В нем кроме вышеперечисленных — сам Ив Монтан, у которого нынче голова полна всяческих пасквильных идей. «Свободу великому Сысоеву!», «Совесть народа — за решеткой» — кричат заголовки буржуазных газет. Среди них выделяется особенно пронзительным голосом респектабельная вроде бы «Монд». Некие личности демонстрируют у советского посольства, неся в руках «творения» непонятого на родине порнографа. Издают даже альбомчики с его картинками.

На здоровье, скажем мы. Пользуйтесь, если своих уже недостаточно или приелись. Вот только негоже превращать «нашего Сысоева» в того, кем он никогда не был. Мастером порнобизнеса — это да, это имело место, а вот в «борцах за свободу», во всяком случае до ареста, не ходил. Не верите нам, поверьте его последней жене Елене. А она, словно предвидя нынешний «бум Сысоева», утверждала: «Возможно, что его творчеству кто-то захочет придать сугубо политический искаженный характер... Я против этого...»

Вот видите, она тоже «против». А кто же «за»? Только тот, кто готов ради своей антисоветской цели на любого уголовника натянуть венец великомученика. Так уже бывало не раз. Только сейчас организаторы «вселенского плача» остановили свой выбор на странной, мягко говоря, для такого архиважного политического дела фигуре, способной у нормальных людей вызвать не слезы жалости, а гомерический хохот.

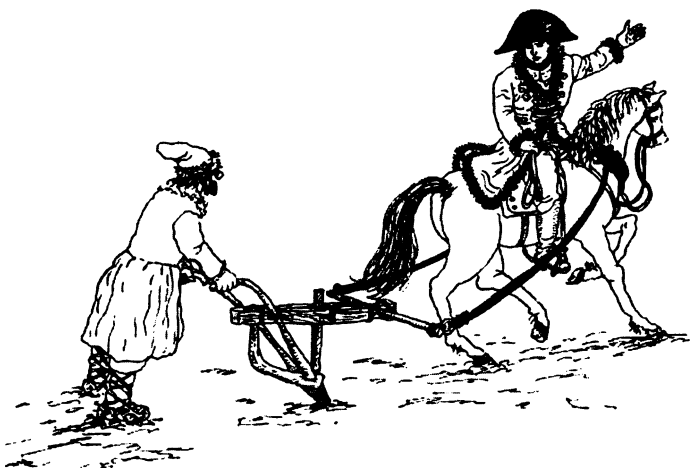
Впрочем, на безрыбье...

М. МИТИН

* * *

В лагерной библиотеке почти не было хороших книг. Вернее сказать, что все они постоянно находились «на руках». В наличии были какие-то журналы и современная неудобоваримая литература. Роясь среди этогохлама, я

натолкнулся однажды на стопку изданий «роман-газеты». Взял оттуда книгу «Лицо ненависти». В аннотации было сказано, что автор — известный журналист-международник Виталий Коротич*, работающий ныне корреспондентом в Америке. Ну, доложу я вам, и жизнь была в этой самой Америке, по описанию Коротича! Ну, ни единого просвета! Дети ненавидели взрослых. Те, в свою очередь, подсыпали яд в пирожные и толченое стекло в торты. Белые ненавидели черных. В общем, непонятно, как они еще друг друга от такой ненависти не изничтожили. Коротич нарисовал апокалипсическую картину саморазрушающегося мира капитализма. Очень было странно все это читать, когда рядом, на соседних шконках спали люди, готовые стучать друг на друга из-за пайки хлеба или пачки «со слонем».



Пройдет всего несколько лет, и перестроечный журнал «Огонек» возглавит прогрессивный журналист В. Коротич. Журнал станет раскрывать читателям, какая ненависть руководила вождями СССР к собственному народу, как они ненавидели Запад и что делали для его уничтожения. Леня Прудовский после перестройки часто бывал в «Огоньке» и позднее даже стал вести там рубрику «Расска-

зы о господах и товарищах». Это были байки о всяких известных советских людях. Правда ли, ложь — кто его разберет. В общем, это была работа как раз для Прудовского. Несколько раз Леня приносил в журнал мои работы, но, насколько я знаю, их все откладывали и откладывали под разными предлогами.

Однажды я увидел в каком-то номере свой рисунок. Это было уже во времена, когда я находился в Берлине. Не было никакого желания звонить за две тысячи километров и устраивать скандал. Рисунок был небольшой, и под ним была просто указана моя фамилия. Впечатление было такое, будто я печатаюсь в этом чудесном журнале всю жизнь. Никаких объяснений, кто, что, почему... Может, это был не первый рисунок в «Огоньке»? Леня не мог сказать ничего вразумительного, видимо, и сам не знал.

ЧЕЛОВЕК-ШИШКА

ВСТАВНАЯ ГЛАВА, НЕ ВОШЕДШАЯ ВО ВТОРУЮ КНИГУ

Петухов у нас в отряде было 5—6 человек. Они спали на шконках около двери. Однажды, придя из рабочей зоны, я заметил на одной из тех шконок новое существо. Оно сидело ко мне спиной. Несколько раз я прошел мимо него и увидел, что большие пальцы на его руках забинтованы, а на стриженной голове огромная шишка, размером с блюдец.

Вечером, когда я стоял в «локалке», докуривая последнюю сегодняшнюю сигарету перед проверкой, человек-шишка выполз во двор. Он не шел, а как бы переползал по заснеженному асфальту. Одет он был в какие-то лохмотья. Около входа в барак стояла металлическая урна. С нее свисали обледеневшие плевки и сопли зеков. Человек-шишка, чье лицо, с двумя впадинами на месте глаз, не имело вообще никаких признаков разума, доковылял до урны,

неловко изогнулся и, опустив руку, стал шарить в урне в поисках окурка. Когда началась проверка и зеки нашего отряда выстроились в колонны, петухи, стоящие чуть поодаль от нас, стали пинать ногами человека-шишку: брезговали стоять рядом с ним. Только с приходом ДПНК (дежурный помощник начальника колонии) и прапорщиков ему удалось встать где-то сзади петухов. За все это время человек-шишка не вымолвил ни слова. Когда его били, то время от времени из его беззубого рта вырывались какие-то жалобные звуки — писк с хрипом.



Через пару дней «семьянин» рассказал мне, что человек-шишка — местный, архангельский. Он заманил маленькую девочку и, как говорят юристы, совершил «развратные действия», пальцами разорвав ее девственную плеву. В тюрьме человека-шишку зверски избили, выбили зубы, изнасиловали «хором», повредили гортань и сломали большие пальцы на руках. Через месяц я вдруг вспомнил об этом существе. Мы с напарником тащили носилки с кирпичами. Остановились перекурить.

— Слушай, — спросил я его, — а куда делся из нашего отряда петух с шишкой?

— На больничку отправили. Он ходить уже не мог. Ну, а на больничке — сам знаешь — и с общака, и с особого... В общем, замочили его там.

Я даже не спросил — за что. Докурили, сплюнули в чистейший, ярчайший снег и потащили дальше свою ношу. Дым из всех труб в зоне поднимался вертикально. Ветра не было, и мороз не казался таким крепким.

* * *

ШНЫРЬ

Шнырь-поломой,
скоро домой!
Баланды жрет три миски —
если ментов нет близко.
Из каждого посылняка —
шнырю головка чеснока.
В штаб бегом —
за табаком.
Просто так не дают:
настучишь — подумают...
Петухов гоняет,
дальняк убирать посылает.
Сам бледный,
переживает, бедный,
что на воле будет —
может, полчерепа убудет.

ПЕТУХ

Что есть предел паденья человека?
Найдя окурок с соплями в грязи,
Петух на зоне громко кукарекал,
Он счастлив был... И гоготали мы!

(Из лубка «Ндравы тюремные». Москва, 1986 год)

ГЛАЗА

ВСТАВНАЯ ГЛАВА ИЗ КНИГИ «УТКА НА ЗИМНЕЙ ДАЧЕ»

Мимо 7-го отряда я первый раз шел в баню. Из локалки меня окликнул Равиль, мой сокамерник по Бутырке. Дал мне пачку сигарет — не забыл, как я угощал его. Спросил, как дела. Какие у меня могли быть дела? Все время хотелось есть — вот и все дела. Равиль шепнул мне пароль и явку. Сразу после бани я шмыгнул сквозь открытую калитку на задний двор столовой. Там мне пришлось потусоваться, но когда дверь из кухни открылась, я успел сообщить котломою, кто мне нужен. Тот исчез, не забыв захлопнуть за собой дверь. Примерно через полчаса возник уголовничек в грязном белом халате. Поманил меня пальцем, я зашел, и дверь сразу закрылась.

— Ментов не видел?

— Вроде нет.

— Слышь, земляк, курить есть?

— Откуда? Я же только с этапа.

— Пойдем к Серому.

Прошли в маленькую комнатку. Там сидел кент из 2-го отряда, главный воруяга, зоновский повар. Днем он спал, а вечер и ночь проводил на кухне.

Ясное дело, что он пальцем не мог шевельнуть без распоряжения Петра Яковлевича Шатунова, начальника режимно-оперативной части, которого все звали «папой».

Серый подробно расспросил о моем деле, и я рассказал все, что знал, ничего не умаляя и не прибавляя.

Он позвал меня с собой в подсобку. На кафельном полу стояла бочка. Он открыл фанерную крышку, и я увидел, что там лежат коровьи глаза со слизью и кровью.

— Будешь есть?

Первым желанием было отказаться, но я подумал и бодро ответил:

— А как же!

Серый накидал полкастрюли глаз, я отнес ее на кухню, налил доверху воды, поставил на плиту, посолил.

— Когда сварится, дадите ему полбатона хлеба. И не лезьте, кишкометы, когда он хавать будет. Захочет — сам оставит, — приказал Серый обслуге и испарился.

Когда глаза сварились, я вывалил дымящийся продукт в несколько мисок, черпаком разлил бульон. Придурки достали хлеб, луковицу, немного подсолнечного масла.

Мы с наслаждением пожирали варево. В этот момент раздался хозяйский стук в дверь. Я переполошился, стал прятать миску, но опытный придурок остановил меня:

— Не дергайся. Если спросят, четко отвечай на все вопросы.

Резко открылась дверь, и на пороге показался «папа» Шатунов.

— Садитесь, кто сидит! — «Папа» подошел ко мне:

— А это кто такой? Какой отряд?.. Третий?.. А где бирка?.. С этапа?.. Как фамилия?.. Сысоев? Что-то знакомое. А, это вы порнографию рисовали?.. Не вы?.. Статья какая?.. 228? Так это и есть порнуха, что вы мне дуру гоните?.. Не рисовали, а все равно посадили? Так не бывает. А что вы здесь делаете, Сысоев?.. Случайно? Я вот загашу вас в шизняк, это будет не случайно. Вы москвич? Вот опять, москвич — и сразу на кухню!.. Как не так?.. Что значит есть хочется? Вы сюда на курорт прибыли? А?.. Нет? Может, тут Сорренто?.. Не слышу, что?.. Не Сорренто, правильно. Здесь, Сысоев, Холмогоры...

Тут я взглянул на стол и увидел, что пар из мисок уже не идет. Набрался наглости и обратился к «папе»:

— Гражданин начальник, разрешите доесть суп из субпродуктов?

«Папа» тяжелым взглядом посмотрел на меня, на миски, на обслугу.

— Хорошо, садитесь и ешьте. Первый и последний раз. Иначе шизо. 15 суток. Вы поняли?

— Так точно, гражданин начальник, — хором ответили мы.

«Папа» присел за наш стол и с изумлением уставился на миски.

— Это что такое?

— Глаза, Петр Яковлевич.

— Чьи?

— Коровьи.

— Откуда?

— Из списанной бочки.

— И вы их кушаете?

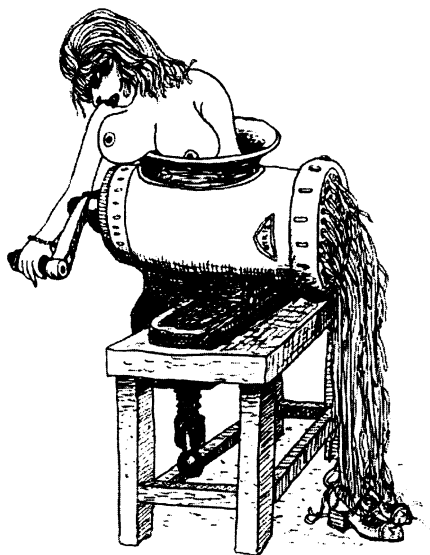
— Так точно, Петр Яковлевич.

— И ничего?

— Ничего.

«Папа» встал и молча пошел к выходу. Хлопнула дверь, и со двора донесся его зычный голос:

— Эти глаза напротив — калейдоскоп любви...



ИЗ ПИСЕМ, ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ УГ 42/12 ЗНАКОМОМУ, ГАРИКУ ОСИПОВУ*

...Еще лет 20 назад, нет, лет 25 назад, я увидел его (Сальвадора Дали. — *Примеч. В.С.*) альбомы. Тогда почти не было интереса к Дали, джинсам, дубленкам, вельвету, плюшу, абстрактной живописи, крабам, икре, сервелату, салями, пепси-джоли-кока-фанта-коле, кэмэлу, мальборо, кенту, блайзерам, карате, кроссовкам, финским холодильникам, абсолютной монархии, бюстгальтерам с дырочками, тигровой мази, Грэму Грину, Дюма, Дрюону, Сименону, башлям, гринам (капусте) и еще кое к чему.

ЗУБ

ВСТАВНАЯ ГЛАВА ИЗ КНИГИ «УТКА НА ЗИМНЕЙ ДАЧЕ»

Однажды у меня сильно разболелся зуб. Я пошел в медпункт, надеясь, что Нина Аркадьевна, наш милый и добрый врач, поможет чем-то. Но перед дверями кабинета толпилась куча блатных, а в кабинет, помимо этого, лезли без очереди «шерстяные» и всевозможные «бугры». Плюнул на все и вернулся в отряд. Через два дня левая щека распухла у меня так, что один глаз стал совсем китайским. Так я и ходил на работу. А потом, когда опухоль спала, меня дернул к себе «папа» Шатунов:

— Садитесь, Сысоев. Как дела?

— Все нормально, Петр Яковлевич.

— Как жена? Пишет?

— Пишет, Петр Яковлевич.

— А в отряде не обижают?

— Да что вы, Петр Яковлевич. Кто же это будет обижать?

— Мда... Ну, а как в общем-то дела? Работа?

- Работаю, Петр Яковлевич.
- Ну, а еще что-то вы можете сказать?
- Я не понимаю...
- Ну, заявления, претензии есть?
- Нет, Петр Яковлевич.
- Так ничего и не хотите сказать?
- Вроде бы ничего...
- Ну, идите, Сысоев.

Я пришел в отряд и рассказал нескольким зекам о вызове. Поломали голову, но так и не придумали — для чего меня вызывали. Попили чаю. Тут вбежал дежурный и велел одному из заключенных лететь к «папе». Тот чай не успел допить, схватил полагающуюся ему «глюкозу» (конфету) и ринулся из локалки на центральную аллею. Пришел он перед самой вечерней проверкой. После звонка, когда погасили свет, он свесился с верхней койки и рассказал, как «папа» вызвал его и задал вопрос в лоб: что произошло в отряде? Зек не понял, а начальник режимно-оперативной части пояснил, устрашающе двигая нижней челюстью:

— Почему у Сысоева глаз заплыл? Кто его так избил? Ты мне все скажешь, понял?

— Никто Сысоева не трогал, — клялся и божился зек.

«Папа» отпустил его, промариновав в кабинете около часа. Так я узнал, что о моем состоянии здоровья очень заботятся.

* * *

С МАЛОЛЕТКИ

С плеча
гусарочка глядит —
неисправимый,
значит, и
на груди

тигриный рык
слегка лишь
обозначен.
Он с малолетства
в КПЗ
привык к таким
побоям!..
На взрослом
общаке
пацан стал
подлинным
героем.
За каждый зуб,
потерянный
в ментовке,
за униженья
в камере
блатной,
он бьет шныря,
запершись с ним
в каптерке,
из ПКТ он выйдет
чуть живой.
На теле еще есть
свободное
пространство,
тебе колоть
церквей —
не переколоть,
судьба с
угрюмым
постоянством
не раз подставит
тушь с иглой.
Храм одноглавый —
первая отсидка,
три маковки —
три ходки
сделал ты...
Василия Блаженного

под утро
колоть устанут
верные кенты...

Писать заочницам цветастые открытки,
ждать писем, прокурора и весны,
не верить ни в Христа, ни в черта...
Все начинается с Матросской Тишины.

(Из лубка «Ндравы тюремные». Москва, 1986 год)



ПОЛОВИНА

ВСТАВНАЯ ГЛАВА ИЗ КНИГИ «УТКА НА ЗИМНЕЙ ДАЧЕ»

Мои кенты — опытные уголовники.

— Да что ты выпендриваешься? Кто ты есть? Сегодня ты бригадир, а завтра — кто? — это я «распрягся», чувствуя поддержку.

Лишили свидания. Письма. Работа. Посылочка подвалила. Ем с уголовничками.



— Вот бы заснуть летаргическим сном! Только тебя на зону определили, а ты заснул. Лет этак на пять. Проснулся — а тут звонок. Как заснешь, тебя сначала будить будут по-всякому. Не косишь ли? А потом на «больничку» отправят. Лежишь там, в нос трубка вставлена. Пища идет. И срок.

— А все это время около тебя мент сидит. Охраняет. Кайф! Вот только не получится это.

— Почему?

— Менты срок не засчитают.

— Ну уж нет! Как это не засчитают? Летаргический сон. Это как болезнь. А ты виноват, что ли, что заснул? Нет уж, ты спишь, а время идет.

— Проснулся, а у тебя уже пятнадцать посылок накопилось.

— Посылки-то зачем? Все равно освободиться.

— Ну — кому-то отдашь.

— ...Пять лет на зоне, и ни дня не работал! А тебе характеристику надо — при выходе в личное дело вкладывают. И в суд копию...

— Напишут, что не работал по состоянию здоровья.

— А Дума пятьдесят процентов берет из твоих денег. С каких это х...в?

— С кредитного счета снимут.

— А у меня на кредитном счете ...

— Так ты и не заснешь.

— Это почему?

— Да вон ты какой здоровый, и рассуждаешь, как здоровый. А сон — это для хворых, у которых психика тонкая, легко ранимая.

— Вот всегда вы, москвичи, себя выше других ставите...

— Ну уж, позволь...

— Вас, москвичей, послушать, так вы все в одном подъезде с Высоцким жили и Пугачеву трахали...

— Я тебе об этом говорил?

— Ты не говорил, а другие — говорили.

— Да ты в Москве-то был?

— Не был. Что мне там делать.

— Ты приезжай, у нас есть много интересного...

— Да что я у вас не видел?

— Ну, как хочешь.

Прошла половина срока.

* * *

ИЗ ПИСЕМ, ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ УТ 42/12 МОЕЙ БУДУЩЕЙ ЖЕНЕ ЛАРИСЕ

(Примечание В.С.)

Лариса написала мне, как отмечали мой день рождения на квартире Елены Сергеевны и чем это закончилось. Во время чествования «юбиляра» пропала книга «Бесы» Достоевского, издательства Маркса, конца XIX века. Я в письме рассказал, как увидел из-за колючей проволоки это событие, и чтобы не опускаться до обличительного пафоса, придал письму зощенковское звучание.)

11.10.84

... В одном доме день рождения справляли. Самого юбиляра дома не было. Гости поэтому пришли без подарков. Дескать, сам юбиляр и без подарков обойдется, а жене дарить — вроде бы неудобно. Обидится. Поэтому спиртные напитки тоже решили не приносить. Чтобы много не пить, не напиваться и в пьяном виде не травмировать нежную хозяйку ненужными вопросами и соболезнованиями. Когда все попили и поели, что было выставлено на столе, сделалось грустно. Юбиляр смотрел с портрета, вывешенного в углу, хмуро и неодобрительно. Поговорили немного о нем. Похвалили хозяйку. Потом гости стали собираться домой. Один юный гость попросил старый том «Бесов» — почитать на несколько дней. Хозяйка немного поколебалась, но книгу с полки достала.

— Не заиграйте только, — встрял один знакомый. — Сейчас часто забывают отдавать книги...

Юный гость воспринял это как шутку. Взял книгу и положил около зеркала. Поговорили о книгах. Рассказали, кто что достал за последнее время. Как-то так получилось, что достали одно и то же — томик Цветаевой, Мопассана, современный бангладешский детектив и роман-трилогию Ю. Семенова. Опять собрались уходить. Хозяйка спросила у юного гостя, положил ли он книгу в свою сумку. Тот ответил, что нет. И тут же вывернул сумку. Действительно, там было пусто. Один гость, с усами, говорит:

— Я считаю, что всем надо вывернуть карманы и открыть портфели и сумки.

Хозяйка обиделась:

— Я что-то не понимаю, кто тут хозяйка? Я или этот, с усами? Вы, если хотите, на улице открывайте. Здесь, у меня, я не могу позволить. Тем более — близкие люди.

Один гость говорит:

— Давайте свет погасим, пусть, кто взял, выбросит в темноте.



— Зачем это свет гасить? Мало ли что соседи в доме напротив подумают?

Дамы тоже возражают, не согласны гасить свет.

Один гость предположил: может, книгу случайно взяли? Но все дружно запротестовали. Тогда он говорит задумчиво: может, взяли, чтобы послать юбиляру в день рождения? Из его дома? Так пусть лучше вынут, все равно не пропустят, а книгу могут зачитать по дороге. Так, постояв в прихожей еще минут десять, поговорили и стали прощаться с хозяйкой. Она дома с сыном осталась. Села на кухне среди вороха тарелок и пустых бутылок, закурила. И подумала, что сидел сейчас за столом и чокался с ней и говорил — мародер. Один из гостей. И стало ей очень тоскливо.

ДВА ОПЕРА

Петр Яковлевич Шатунов, колоритный персонаж, был вовсе не так добр, как это может показаться из моих рассказов. Блатарей он не жаловал и расправлялся с ними абсолютно безжалостно. Я был на приеме у врача, когда мимо меня бегом пронесли окровавленного зека. Нина Аркадьевна удалила всех из кабинета и занялась прибывшим. Дверь была

чуть приоткрыта, и я увидел, как она, склонившись над телом зека, лежавшего в разложенном зубо­врачебном кресле, что-то делает с его лицом. Потом рассказывали, что «папа» ворвался в шизо, когда ему доложили, что два зека шумят и качают права. «Папа» изуродовал их до полусмерти, сильно повредив одному глаз. Я стоял среди зеков в предбаннике, смотрел на все это и представлял, как двое этих пострадавших от «справедливого советского закона» будут в дальнейшем любить советскую власть и милицию...

Ко мне Петр Яковлевич относился оригинально: он как бы меня охранял, окружив «своими» стукачами. Институт стукачества, пусть и выродившийся, существовал так, как и положено в тоталитарном обществе, он был основан на конкурирующей основе: одни стучали для «кума», другие для «папы», третьи — постукивали и на тех, и на других, соревновались, кто больше заложит.



Смешной случай произошел со мной, когда я отбыл полсрока. Я уже знал, что по «Голосам» обо мне говорили.

Доказательство дал однажды конвой. После работы нас шмонали перед входом в жилую зону. Очередь дошла до меня, и маленький узкоглазый нацмен, поглядев на мою бирку (с фамилией и инициалами, с номером отряда), вдруг тихо сказал:

— Сисоев, Сисоев, нарисуй парнаграфию, а? Чаю дам!

Я заулыбался и прошел дальше. Зеки очень сокрушались, что я отказался от такого выгодного предложения.

Кум Бибяев несколько раз вызывал меня к себе и неизвестно чего требовал. Собственно, известно, чего оперчасть хочет от обычного зека — чтобы он стучал на товарищей. Сидя в «кумовской», я по полчаса выслушивал, что все он обо мне знает и что будет лучше, если я ... Он никогда не говорил, что же ему надо, а на мои «недоуменные» вопросы не отвечал. Однажды я его вывел своими смешочками из себя, и он заорал:

— Сейчас возьму тубарь, да ебну по жбану, падла!

Я перепугался и промолчал. Молча вышел из кабинета. Тут же пришел в отряд и написал два заявления о том, что меня хотел убить начальник оперчасти, — одно в режимную часть на имя «папы» Шатунова, другое на имя прокурора по надзору. Буквально на другой день случилась оказия: по всей зоне прошел слух, что приехал как раз прокурор, надзирающий за «законностью в местах лишения свободы».

Я пришел в штаб, одно заявление отдал «папе», а со вторым пришел к прокурору. Прокурор оказался женского пола. Глаза ее были понимающими и усталыми. Заявление она прочитала и посмотрела на меня жалостливо.

— Я, конечно, могу принять это заявление и назначить проверку, но вы же понимаете, что вам тут и дальше находиться...

Я это как раз прекрасно понимал, для того и бумагу написал. Для вида помявшись, я сказал, что согласен, да, не надо это официально считать жалобой, но пусть прокуратура примет к сведению, как в этой колонии оперчасть уг-

рожает жизни зеков... Бумагу я оставил прокурорше. Буквально через час меня снова «дернули» в штаб, на этот раз к «папе» Шатунову.

— Сысоев, он больше не будет!

— Кто?

— Ну, Бибяев.

— Я не верю. Он снова будет грозить, может и убить.

«Папа» поднял трубку и попросил «кума» зайти.

— Скажите, Бибяев, вы ведь вправду не будете больше угрожать Сысоеву?

Раскосые глаза кума сузились, и он с ненавидящей улыбочкой молча уставился на меня.

— Не будете? — снова спросил «папа».

— Нет, — вымолвил начальник оперчасти и удалился, не прощаясь.

Несколько раз после этого кум устраивал мелкие пакости — лишал ларька, лишал свидания с Еленой Сергеевной якобы за то, что я «мочился ночью рядом с отхожим местом». Больше, однако, для «бесед» он меня не приглашал. В нашей жизни столько всего за эти годы изменилось, что трудно и представить, что могло произойти с тем или иным персонажем. Кум Бибяев моложе меня был лет на 10. Значит, сейчас, в начале третьего тысячелетия, ему около полтинника. Стал ли он предпринимателем в Башкирии, двинулся ли в местную думу или тихо консультирует представителей теневого бизнеса? А может, лежит зарытый где-то в лесополосе близ Уфы, получив сполна за свои подлости? Одно знаю наверняка: такие люди никогда не каются и не раскаиваются в подлостях своей прежней жизни. Всегда и во всех случаях виноваты у них окружающие их обстоятельства: советская или антисоветская власть, злые зеки, плохая жена, «дерьмократы», «новые русские», евреи... Есть у них универсальный ответ, почему сейчас хуже, чем было раньше: давить надо было в корне всю эту заразу! Слабину дали, вот и расхлебываем! Мало сажали, мало стреляли, мало высылали!

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?



ОТРЫВОК ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «УТКА НА ЗИМНЕЙ ДАЧЕ»

...Каждый вечер, перед отбоем, в арестантском строю, затерявшись в зековской массе, я мысленно переносился домой. Ностальгические картины из прежней жизни оживали, и я мысленно беседовал с Е.С., отгоняя прочь тревожные видения.

Молчало мое сердце, не подсказало оно мне, что уже не тлеет, а горит ярким пламенем огонь измены. И были покойны мои письма к Ней, и нежны, и полны сожаления, что столько раз заставлял я Ее плакать и страдать. Я чувствовал себя виноватым и, стоя на вечернем шмоне (как называл я ежевечернюю всеобщую проверку. — *Примеч. В.С.*) думал, что, может быть, недаром дано мне все это: месиво на асфальте, сбитое во многие колонны серое уголовное стадо, озноб, черное небо с редкими большими

снежинками и бьющий в глаза свет прожектора на вышке. И я молился про себя каждый день, вплоть до самого выхода, молился на каждом вечернем шмоне, повторяя наивно:

Господи, спаси жену мою,
и детей наших,
и мать мою,
и всех наших родных и близких.
Да святится имя Твое,
Да будет царствие Твое,
и ныне и присно,
и во веки веков.
Аминь.

* * *

ИЗ ПИСЕМ, ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ УГ 42/12 МОЕЙ БУДУЩЕЙ ЖЕНЕ ЛАРИСЕ

Без даты.

...Лара, я сейчас каждый месяц отовариваюсь в ларьке на 7 рублей и еще на два — «плановых». Итого, значит, 9 рублей. Последний месяц был хороший ларек; конфеты подушечки — 1р. 05 к. за кг, маргарин — 1р. 90 к. за кг, повидло в банках — 80 коп., печенье — 1р. 10 к. за кг, сигареты «Памир» — 12 коп. пачка, мыло «Клубничное» — 22 коп. Теперь представь, что все это хочется купить, а уложиться надо в вышеуказанную сумму. Я еще забыл чай — в месяц одна пачка (маленькая) — 38 коп. Это я к вопросу о ваших стенаниях. Знаешь, как делается смесь для бутерброда? Берешь поровну маргарин и повидло, смешиваешь, пока не получится однородная масса, и потом это мажется на черный хлеб.

А ты говоришь об универсаме. Есть простой довод в пользу употребления простой пищи. Надо сначала от нее

отвыкнуть. После этого и вареная картошка с подсолнечным маслом, с укропом и соленым огурчиком покажется деликатесом.



**Памятный знак ветерана
"Он видел Дзержинского"**

КАК ТОВАРИЩИ РАБОТАЛИ-3

За два дня до освобождения вызвали к «хозяину» — полковнику Лобанову, начальнику зоны. Был он чем-то взбуряжен. Сняв «пидорку» (так у зеков зовется бесформенная шапка), как и положено заключенному, я представился: фамилия, статья, срок. Полковник вдруг взволнованно и быстро заговорил:

— Вы вроде бы культурный человек, м о с к в и ч, а такие безобразия делали! Как вы могли?!

Неизвестно откуда возник вдруг черный альбом с моими рисунками, выпущенный во Франции в год Московской Олимпиады. Лобанов раскрыл его на картинке, где вертухай показывает сыну конструктор «сделай сам» с вышками, солдатами, колючей проволокой.

— Это вы нас изобразили?

— Да что вы, гражданин начальник! Я ведь тогда ни одного лагеря не видел.

— Вы ведь за порнографию были осуждены? — уточнил он.

— Да. Вы знаете, гражданин начальник, я вины своей не признал.

— Вот, вот! И вины не признали, и не исправились! Как вы могли себе такое позволить! Издеваться над нашими советскими девушками, над нашими женщинами!

«Хозяин» уже почти кричал.

— Да они во время войны нас, мужиков, заменили, на заводах вкалывали, на трактора сели! А вы — такое делали!

— Гражданин начальник, мне во время войны четыре года было. Вы же меня прямо власовцем и полицаем изображаете, как будто это я наших девушек живьем в ров скидывал.

«Хозяин» задохнулся на секунду, но промолчал.

Откуда-то появился ладный, среднего роста человек в штатском. Он переглянулся с «хозяином», и тот исчез, оставив нас вдвоем.

— Давайте познакомимся, Вячеслав Вячеславович, — незнакомец протянул мне руку, и я пожал ее.

— А вы кто? — прямо поинтересовался я.

— Старший следователь УКГБ Архангельской области, полковник...

Из внутреннего кармана пиджака он достал красную книжечку. Я впервые в жизни увидел чекистское удостоверение. У него было приятное, открытое, располагающее к разговору лицо с живыми, умными глазами. Красивая седина на висках делала его похожим на какого-нибудь народного артиста. Он положил на стол черный «атташе-кейс». Щелкнув замочками, полковник вынул оттуда какие-то документы и положил их на черный альбом с рисунками, оставленный «хозяином».

— Вы догадываетесь, по какому я поводу приехал?

— Догадываюсь, — грубо сказал я. — Вы приехали мотать мне второй срок.

— Ну, Вячеслав Вячеславович, зачем вы так говорите, вы ведь интеллигентный человек.

О том, что я еще и москвич, он не сказал. Полковник стал перебирать бумаги и показывать их мне.

— Это — вырезки статей о вас из эмигрантской антисоветской прессы. Это — радиоперехват сообщений по Радио «Свобода» и «Голосу Америки». Это — ваша книга, вышедшая в Париже в антисоветском издательстве «Третья волна». Это — альбом, который вы уже видели, а это — письма в вашу защиту, написанные на Западе и пришедшие в лагерь.



Открой нам, Отчизна, просторы свои,
Заветные чаши открой ненароком,
И так же, как в детстве, меня напои
Берёзовым соком, берёзовым соком...

— Вы, гражданин полковник, хотите сказать, что я занимался антисоветской деятельностью?

— Пока мы так не говорим.

— Тогда объясните, пожалуйста, почему вы, то есть КГБ, десять лет делали вид, что я для вас не существую, а

сейчас, за два дня до выхода, вы приехали и показываете мне все эти бумаги?

— Потому, Вячеслав Вячеславович, что вашим именем пользуются антисоветские зарубежные центры для подрыва советского строя.

— Но я-то не виноват, что кто-то чем-то пользуется! Вот, враги именем Ленина и товарища Брежнева тоже пользуются, но вы же понимаете, что они не несут ответственности...

— Не будем спорить, вы ведь очень хотите освободиться и вернуться в Москву, домой?

— Да, я хочу вернуться. А сейчас мне что, надо покаяться, признать, что я уже десять лет рисовал антисоветчину, чтобы вы мне намотали срок?

— Успокойтесь, пожалуйста. Нам достаточно будет обещания, что вы, ммм..., не будете общаться с иностранцами и передавать свои работы на Запад — с подрывными целями. Я вам продиктую...

Отказавшись от любезности полковника, я взял лист бумаги и написал заявление в КГБ (без указания — кому, в какой отдел). Сообщил, что я никогда не занимался антисоветской деятельностью и не собираюсь ею заниматься и в дальнейшем. Я написал, что никогда не передавал в подрывные «центры» мои скромные произведения, которые могли быть использованы во враждебных целях. Кроме того, я заявил, что не буду общаться с иностранцами, желающими подрыва могущества нашей Родины.

Полковник прочитал написанное и сложил бумаги. Снова щелкнул замочками «атташе». Встал и протянул мне руку.

— Жалобы есть? — спросил он на прощание.

— Жалоб нет.

— До свидания.

С тех пор прошло достаточно лет. Видит Бог, я постарался не нарушать данного КГБ обещания. До отъезда я общался только с хорошими, исключительно порядочными

иностранцами — американскими и французскими корреспондентами, американскими и французскими посольскими работниками и сотрудниками консульской службы Голландского королевства. У «товарищей» ко мне не должно было быть претензий. А у меня к ним были и есть, но, чтобы не быть занудой, промолчу, пройду мимо. Да если бы я им сегодня свои претензии и выложил, то знаю, как бы они ответили.



— Ну, что вы, Вячеслав Вячеславович, никак не можете забыть прошлое? Столько лет прошло! Уже и советской власти нет, и 5-го управления КГБ тоже. Это даже как-то не по-христиански. Вы же русский человек?

— Да, русский. И по этой причине надо все это похерить, забыть скорее, так? Но что-то держит все это цепко в памяти. Я, дорогие товарищи, ничего не забыл и по-прежнему убежден, что суд над вами и вашей партией должен состояться. Невзирая на трусость, беспамятство, равнодушные Запада и окаянное наплевательство русского народа на свою жисть, прошлую, нынешнюю и будущую.

И будто вчера было — вижу все картины позорного бытия: подлянки, трусость одних, беспричинный страх других, изворотливость третьих... Пусть душа успокоится сама, без понуждения, когда пожелает.

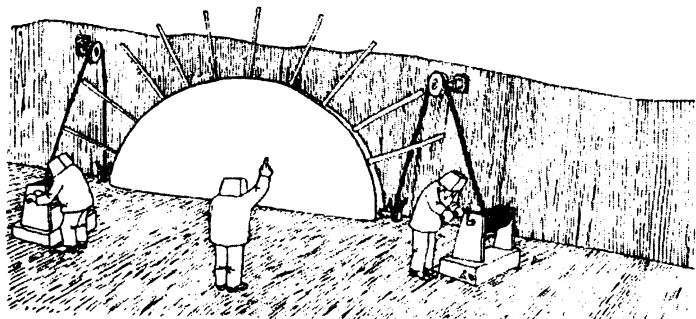
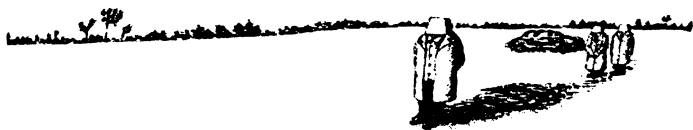
А тогда, в драматический момент, когда гебешники проверяли меня на вшивость, им нужна была отписка для Центра, откуда, конечно, все зло и происходило. С таким же успехом я мог им написать расписку, что никогда не буду распространять свои рисунки на Марсе или Луне.

БРЮКИ

ВСТАВНАЯ ГЛАВА ИЗ КНИГИ «УТКА НА ЗИМНЕЙ ДАЧЕ»

В то утро, когда меня освобождали, в наш отряд пришел «папа» Шатунов. Он тяжело поднимался на второй этаж, и по всему зданию разносился его громовой голос. Испуганно шмыгали в норы «шныри». Завхоз Лопухин с напряженным, подобострастным лицом выкатился из каптерки и молча кивал «папе» на каждое его слово.

— Слушай, Лопухин, а где у тебя Сысоев? — проревел «папа».



— Он в умывалке, гражданин начальник! Готовится к выходу.

— А ну пойдём! — и «папа» рванул дверь умывальника. Я разложил брюки на столе и гладил их через мокрое полотенце. Мысли мои были там, за проволокой, на воле, где я окажусь через час. Брюки плохо гладились. Два года они лежали скомканными в бауле, и сейчас, при глажении, от них исходил затхлый запах; унылый запах несбывшихся мечтаний и сбывающихся надежд.

«Папа» вошел. Я поздоровался с ним и продолжал гладить. Лопухин стоял рядом, настороженно и преданно глядя на «папу». В молчании прошло несколько минут. Потом «папа» сказал:

— Слушайте, Сысоев, вы что это гладите?

— Брюки, Петр Яковлевич.

— А что за брюки?

— Вольные, Петр Яковлевич.

— И вы хотите в этом в Москву ехать?

— Так точно, Петр Яковлевич.

— Да вы что, Сысоев?! Вы же всех нас опозорите! Что о нас в Москве подумают! А другие у вас есть?!

— Только казенные, гражданин начальник.

— Нет, Сысоев. Вы в этом не поедете!

— Да в чем же мне еще ехать? Я в них на воле ходил, и все было хорошо. Вот я сейчас их отутюжу...

— Слушайте, Сысоев, через полчаса я вас должен за зону вывести, а вы тут х... ней занимаетесь... — И, повернувшись к Лопухину, сказал: — Завхоз, покажи, что на тебе за брюки! Откуда это на тебе? Кто разрешил?! Это не казенные брюки! А ну — снимай!

Лопухин покраснел, посмотрел на «папу» умоляюще и стал медленно расстегивать ремень.

— Быстро, быстро! — проревел «папа». Руки завхоза задвигались чуть живее, но тут я отставил утюг и сказал:

— Петр Яковлевич! Зачем вы это делаете? Неужели вы думаете, что я его брюки одену?

— Оденешь!

— Не одену, Петр Яковлевич! Что обо мне заключенные скажут? Что Сысоев на выходе с завхоза штаны снял? «Папа» понял по моему тону, что я не уступлю, и сдался.

— Ладно, Лопухин, иди. А вы, Сысоев, пожалуйста, скорее заканчивайте и бегом — к выходу. Там вас ждут уже.

Свобода. Я вышел с баулом за ворота и увидел их. Они тряслись от холода, дожидаясь меня. Было минус тридцать. А я — попривык!

* * *

ЗОЛОТОЙ ПОЗУМЕНТ

Ах ты мент,
золотой позумент,
Цвет малиновый, мент
Дисциплинированный!..
Спуску вам не дам,
нашим врагам,
Будешь пайку есть,
сеть-авоську плесть,
у жены моей Дуси Шмоновой,
вам учиться теперь в школе зонавой.
А уж срок придет — отворю замок,
эк, кругом простор, и в сельпе — кагор!..
Да ведь ты хитер, нож припас остер!
Значит, скоро нам снова встретиться,
скоро свидеться, поприветиться,
снова паечка, снова шконочка,
фотка Алочки — как иконочка,
что не жилося тебе на тебе на волюшке?
Чифир снова пей, да до донышка!
Погулял ты лишь полгодика,
эк опять у нас запогодилось!..
Звон малиновый, шмон богатый,
стоит зек перед ментом — шапка снята...

(Из лубка «Ндравы тюремные». Москва, 1986 год)

«Я УСТАЛА»

Утро, 9 февраля 1985 года. Еще корчится в предсмертной агонии К.У. Черненко, еще только вынашивают свои замыслы прорабы перестройки, но никто, никто! — не знает о том, что ждет великую Империю. Тем более не догадываюсь об этом я. Поскольку именно сегодня я выхожу на свободу с очищенной совестью. Только что я спустил в очко все порванные письма Елены Сергеевны и друзей.



Это сделано назло «куму». Вчера он предупредил, что будет лично меня шмонать. И я, как персидскую княжну, бросил все, выстраданное и написанное близкими, в выгребную яму, чтоб не досталось никому! Чего сожалеть! Вот сейчас, через полчаса я увижу их, я знаю, они приехали и уже ждут. Прощаюсь с зеками. Иду к вахте. Кум шмонает. Да, ради Бога, начальник! Выхожу. Минус тридцать градусов. Вижу Елену Сергеевну, трясущуюся

от холода Ларису, закутанную в черную шубу, и Ленку Прудовского. Ждем автобуса на Архангельск. Холода не чувствую, настолько к нему привык. Иду на холм, с которого так хотелось пустить очередь по зоне, и кричу обидное вниз, через проволоку и запретку, в адрес системы, хозяина, кума, ментов и всей той «жизни», из которой я только что вылез...



Елена Сергеевна, любимая жена, отводит меня в сторону от друзей и говорит:

— Я везла этот воз столько лет, что больше нет моих сил. Ты вымотал всю мою душу. Я от тебя уйду. Ты не пропадешь. Пропишешься в Москве и не пропадешь.

Я ошарашенно что-то говорю. В ответ слышу:

— Я везла этот воз и больше не могу. Не задавай мне никаких вопросов.

— Но почему...

— Я везла и больше не могу.

В Архангельске ночь проходит в гостинице как в бреду. Я все лезу с какими-то вопросами к Е.С., а в ответ слышу или молчание, или все то же:

— Я устала и больше не могу.

Весь путь до Москвы в купейном вагоне проходит под этот рефрен. Я слезаю с верхней полки и сажусь на полку. Целую руку жены. Рука бесчувственна.

В Москве выясняются некоторые подробности моей будущей жизни. Мать за время моего отсутствия была вынуждена поменяться и сейчас живет в одной комнате в коммунальной квартире, где еще двое соседней. По слухам, менты лютуют и вопрос с пропиской — сложный. Елена Сергеевна холодно сообщает, что пока я могу пожить у нее, если не буду ни на что претендовать, то есть могу пожить соседом. Ведь я порядочный человек? Предлагает пожить у себя Лариса. Она одна, с сыном. Муж ее оставил.

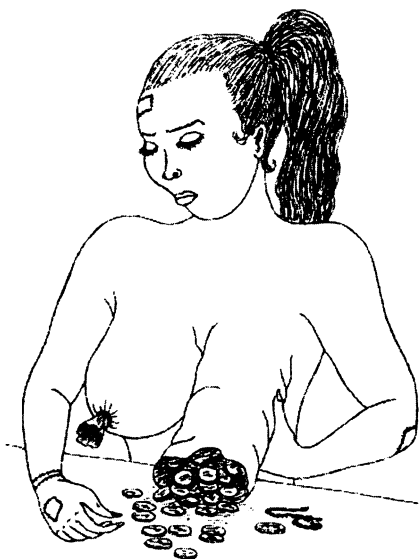
Я все это время нахожусь как в тумане: почему я должен жить у жены как сосед? Что значит — она меня бросила? За что? Я же в лагере был. Почему меня могут не прописать? У нас же была квартира с видом на Беляевское поле. А сейчас мать живет с соседями. А я — где? Живу ли вообще? Это что, плата за то, что я рисовал? Извилины мои никак не воспринимают истины: со мной что, действительно, захотело разделаться государство? Да лучше бы грохнули на зоне или кирпичом тогда пришибли в переезде у Трубной.

Едем к матери. Мать не изменилась. Зажатая. Почти без эмоций. Напряжена. Елена Сергеевна молчит. Я что-то говорю, хорохорюсь. Что-то рассказывает Леня Прудовский, Лариса. Остаюсь ночевать у матери. Елена Сергеевна, Лариса и Леня Прудовский едут в метро по домам. Позднее Леня рассказал, что Лариса втолковывала Е.С., что так нельзя поступать, что это не по-людски. Моя жена молчала или вяло отвечала, что все уже решено. Лариса, перед тем как выйти, наклонилась к ней и сказала:

— Тебя ждет климакс и одинокая старость.

Вечером следующего дня приезжаю на Преображенку. Совершенно выскочило из головы, что вчера Е.С. предупредила, что ждет меня сегодня неожиданная встреча, что будет какой-то замечательный человек, ну, вроде ангела-хранителя. И вот на подъезде к Преображенке я вспоминаю об этом. Да будь что будет! Ну, если совсем невмоготу будет, уйду куда-нибудь, не привыкать. Приютит кто-нибудь из друзей, а потом — посмотрим.

Шесть лет назад я покинул этот дом и теперь возвращаюсь сюда как сосед. Вернее, как зек, отпущенный хозяином и не имеющий своего угла и прописки. Вот и парадное, из которого я уходил ранним утром с рюкзаком в неизвестность. Звоню в дверь.



ЗАЖГЛАСЬ СЕРЕБРЯНАЯ ЛУНА

ВСТАВНАЯ ГЛАВА ИЗ КНИГИ «УТКА НА ЗИМНЕЙ ДАЧЕ»

Дверь широко открылась, и на пороге возникла Елена Сергеевна.

— Ну, здравствуй.

Это было приветливо сказано. А потом мягко добавлено:

— Я не одна.

Как всегда к месту, спросил:

— Что, гебешники уже тут?

— Ну зачем ты так... — Она засмушалась, и тут из ванной, вытирая нашим полотенцем руки, вышел некто в костюме, белой рубашке, галстук и в носках. Ему было лет за 50, и лицо его носило отпечаток канцелярской работы. Губы расплылись в улыбке, глаза же смотрели на меня изучающе-внимательно. Это был человек с серым цветом лица. Было на нем написано: я знаю, кто ты есть, я вижу все.

Это я прочел сразу, а потом, приглядевшись, еще прочел: я болен (почки? печень?), но я это скрываю. И еще прочел напоследок: да, я неудачник, но ты об этом не узнаешь.

— Это Леонид Сергеевич, — сказала Лена, улыбаясь скупко. — Мой самый лучший друг и твой... ангел-хранитель.

Был накрыт стол, и стояли бутылки с водкой, венгерским вермутом, красным вином. Все было очень красиво. Леонид Сергеевич уверенно уселся, со знанием дела стал разливать. Посмотрел на меня вопросительно: что налить?

— Я не пью.

Меня долго уговаривали, но я не выпил. Е.С. сказала:

— Леонид Сергеевич занимает очень большой пост...

Там...

— Где это?

— Не придуривайся. Сам знаешь. Его ребята обложили весь дом и слушают. Но Леонид, — она ласково дотронулась до его плеча, — велел сейчас, именно сейчас, отсоединить микрофоны.

Я радостно улыбнулся, а Леонид Сергеевич встал, подошел к телефону, который был рядом со мной, поднял его и стал ногтем ковырять регулятор громкости звонка. Я улыбнулся еще более радостно.

— Ты зря смеешься, Вячеслав, — укоризненно и серьезно сказал он. — Впрочем, твое дело. Можешь не верить. Давай выпьем за то, чтобы все было у тебя хорошо.

— Я не пью.

Посидели молча. Е.С. суетилась, подкладывала нам еду, бегала на кухню.

На столе стоял магнитофон, тот самый, что стоял тут шесть лет назад, когда я уходил из этого дома. До-ма. Я огляделся и увидел, что все было так, как и тогда. Мебель. Занавески. Книги. Несколько кассет — остатки жалкие от моей коллекции. Самовары на шкафу. Только жена была другая. Да рядом сидел человек, которого я не знал.

Леонид Сергеевич придвинулся ко мне и спросил:

— Помнишь, как ты в камере в карты играл?

— Эх, Леонид Сергеевич, не играю я в карты. Что это вам так нужно показать, что вы все знаете? Играл однажды какой-то тип, а я рядом стоял — разглядывал самодельные карты.

— Ну, рядом, но было ведь?

— Зачем ты с ним так говоришь? Он же тебе добра желает, — вмешалась Е.С.

Леонид Сергеевич подливал себе и подливал.

— Могу еще кое-что рассказать.

— Ну, давайте.

— Да ладно, потом.

— Будет вам ссориться. Давайте музыку послушаем, ты же так давно ничего не слушал. — Это мне было сказано.

Она достала мою кассету. Там был записан Жоржик Иванов* из Парижа. Вспомнил, что когда записывал Жоржика на магнитофон, то на пластинке увидел факсимильно отпечатанную надпись: «Жоржик, спасибо тебе за твою русскую душу. Е. Евтушенко». Она поставила кассету и нажала клавишу.

Оч-чи черная, оч-чи страстны-йе,
Оч-чи жгучия и прекрасны-йе...

— Ты знаешь, кто это? — спросила жена.

— Знаю, конечно. Жорж Иванов.

— Это Леонид Сергеевич, — мягко, но уверенно поправила жена.

Я опять радостно улыбнулся.

— У вас неплохо получается...

— Не ехидничай.

Вместо того чтобы помолчать и послушать, я стал вдруг рассказывать, как достал эту пластинку.

— Это все неважно, что ты говоришь, — сказала она. — Твое право, можешь не верить. А поет Леонид Сергеевич.

Я радостно закивал.

— Фу, какой ты! — возмутилась Она. — Леонид Сергеевич — наш разведчик. Он работал под псевдонимом в Париже и пел в цыганском хоре.

Я взглянул на певца. Он сидел, значительно и скромно потупясь, и не вступал в дискуссию.

— А с Алешей Дмитриевичем* на пластинке «Джипси энд ай» — не вы, случайно, поете?

Он не отвечал. Потом меня снова уговаривали выпить, и я снова отказывался. За окнами было темно, а в квартире накурено. Воплощались вдруг чьи-то образы — возникали в голубом сиянии, тянулись к Леониду Сергеевичу, беззвучно докладывали, четко отдавая честь. Она уменьшилась до размера пупсика и бегала теперь по полочке, наливая бензин в крохотные модельки машин — «фольк-

сваген» и джеймс-бондовский «остин-мартин». Леонид Сергеевич вытягивался новогодней канителью, его ноги в серебряных носках были в комнате под столом, тело, легко колышась, вытягивалось, загибалось за угол, еще тянулось, серебряно блестя чешуйками, текло по коридору и плыло на кухню, а там вверх, вверх, к вентиляции. Но вот беда — вентиляции-то там нет, и решетки нет.

Зажглась серебряная луна, Леонид. Гуд Полли, мисс Молли. Я нашел другую бэби. Извините. Я нашла другого, бэби. Шум, грохот и толчки, а я в голубых замшевых ботиночках, ну что, потанцуем, крошка, — как пел Элвис 30 лет назад — да ты же знаешь, что я не танцую. А ты совсем другая стала, да нет, дурачок, это ты совсем другой. Она не сказала дурачок — когда говорят дурачок — значит, любят. А я ее боюсь, она просто меня прикончит. Этот Леонид Сергеевич мне почему-то не так страшен, а ее я боюсь. Сейчас что-то произойдет. Я сейчас заплачу. Нет, я никогда не прощу себе, если... Поставьте что-нибудь русское. Истопи ты мне баньку по-черному... Нет, по-белому. Интересно, как цыгане наши ходят в Париже? В косоворотках, с бубнами, в бородах? Как хорошо, что я ничего не пил, да и не хочется — совсем-таки, абсолютно! Господи, да что же это? Откуда это? Почему я здесь? Что это за человек? А она-то, она как перед ним вырывает! Обхаживает, подливает, подкладывает, да еще так интимно наклоняется и будто невзначай рукой нежно дотрагивается, да зачем она это делает, ведь знает, что я внимателен, все вижу, и специально делает, будто хочет еще побольнее ударить, наотмашь, в кровь...

— Ты устал, Вячеслав. — Леонид Сергеевич стоял над мной. В руках он держал ватку, чем-то смоченную. — Дайка я тебе глаза протру. Глаза у тебя устали...

Леонид Сергеевич опытно протер ваткой веки и под глазами.

— А с Иваном Ребровым* не приходилось выступать? — не унимался я.

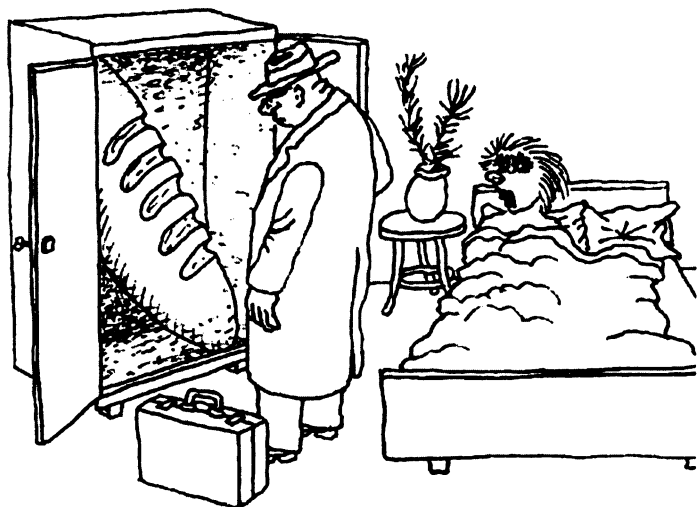
Леонид Сергеевич, шелестя чешуей, обвивался вокруг боярской шапки Реброва, а тот, распялив огромный рот, отчего бородачи и усы поползли во все стороны, сказал мне басистым голосом:

— Голюпчик ти мой! Я путу петь только красифый французски шансон. А ти есть глупи, раз не феришь сфой красифый лутший жена. Йя.

Леонид Сергеевич прощался с Е.С., обидчиво поглядывал на меня, долго надевал ботинки, подминая задники, гремел мелочью — время позднее, придется на такси ехать.

— А где же мальчики твои, Леонид, — хотелось спросить мне, но я молчал, давая понять, что ничего не понимаю. Я улыбался радостно, а она застегивала Леониду Сергеевичу пальто. Он еще долго стоял у дверей и многозначительно смотрел на меня.

— Могу предложить на выбор три города: Копенгаген, Гамбург и Антверпен, — сказал он мне вдруг трезво. — Думай.



Ох, как улыбался я лстыиво, а серебряные носки парижского цыгана, уменьшаясь, вылезали из ботинок, а из них мишурой тянулось тело, все удлиняясь, и порхало по комнате, то подлетая к глупому абажуру, то к моим несчастным работам, развешанным, почему-то не унесенным.

Господи, ну почему так все получилось? Неужели то, что я делал, так страшно? Я ведь один, а у Леонида Сергеевича целая машина людей.

Маленький Джеймс Бонд на полке, сидя в своем «Остине», нажимал на потайную кнопку, и вражеский агент катапультировался вон — вместе с креслом. У него был пистолет, и он, пролетая, целился в меня, да нет, чушь — в меня Аптекарев и Леха целились, но стрелять-то не могли: пистолеты пластмассовые, в «Детском мире» купленные. Ну да, хочешь попробовать? Спасибо, не надо. А Леонид Сергеевич — это и есть Жоржик, я запомнил. Это его фото на конверте, не может быть, чтобы Е.С. во все просто так верила, тогда и я тоже, выходит, ничем не лучше. А чем я лучше? Картинки рисовать не всякий может, но это еще не вся жизнь. Вот я совсем не рисовал одно время. Два времени. До — и после. А сейчас — до или после, или как раз самое то, самое настоящее? Ведь никто не поверит... Очень даже поверят. И не такому верят. Вот она во все верит. Она добрая, легковнушаемая. Господи, как я устал.

Когда дверь за Жоржем-Леонидом закрылась, Е.С. быстро убрала все со стола и ушла в маленькую комнату. Лежа на диване, я смотрел на стены, завешанные иконами, заставленные наличниками с резьбой, на мои странные и совсем не смешные работы. Я смотрел на них, как Леонид Сергеевич смотрел на меня. Я могу теперь плакать, никто не узнает.

Но какой в этом смысл? Хорошо плакать, когда она хочет это услышать. А сейчас, когда она тихо лежит в соседней комнате, зачем же лить слезы — все равно ничего не изменишь.

А НАДО ЛИ МЕНЯТЬ? — вдруг ярко вспыхнула надпись на маленьком экране Ее давно не работавшего ящика, и раздался голос диктора на хорошем русском языке:

— Изменения хороши только тогда, — сказал премьер-министр, — когда мы можем измениться в результате этих изменений...



Эту фразу я не смог расшифровать, поэтому в раздражении треснул по ящику. Все исчезло. Плакать не хотелось. Сердце билось спокойно. Я видел перед собой чужие стены, пузатые самовары, вычурные инородные наличники. Я выключил свет и мгновенно уснул.

ПОБЕГ

С пропиской вроде бы уладилось. Елена Сергеевна меня уверила, что это «брат» помог. Дома у нее было невыносимо находиться. Все в доме было чужое. Мои вещи, оста-

вавшиеся у нее, были чужие. Мало того, они были теперь и никчемные — абсолютно все было переломано — большой советский магнитофон «Маяк», маленький кассетник «Сони», который я возил с собой, приемник. Даже транзисторный телевизор имел жалкий вид — его треснутый красный корпус был заклеен изоляцией. Пропали почти все не унесенные когда-то на обысках альбомы по искусству. Зачем я сюда вернулся, что хотел найти? Елена Сергеевна находилась в истерическом состоянии. Говорить было не о чем. Запахом валерьянки была пропитана вся квартира. Елена Сергеевна спала в комнате сына, по моему, запершись на ключ. Ночью, накрывшись с головой одеялом, позвонил Ларисе, лучшей подруге моей жены. Я спросил, могу ли приехать к ней завтра. Кончилось мое терпение! И я бежал из своего бывшего дома, сложив шмотки в синюю сумку, которую много лет таскал на плече.



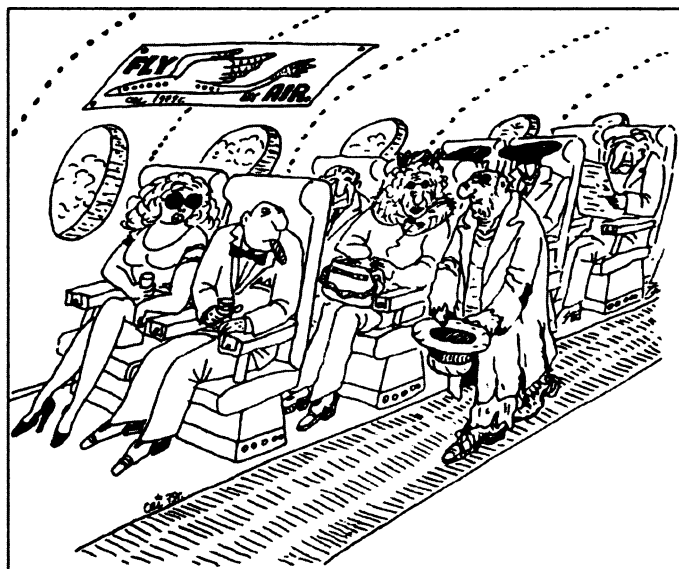
Для объективности добавлю, что еще один раз я побывал в том доме. Я договорился со своими друзьями Ле-

ней Прудовским и Лешей Немчиновым, и мы приехали на Преображенку днем, когда дома был сын Е.С. В его присутствии я забрал что-то свое, еще не уворованное, — книги, отдельные альбомы по искусству, старые краски и кисти. Все это было продемонстрировано ее сыну, что не помешало, конечно, в дальнейшем Елене Сергеевне обвинить меня в разграблении ее имущества и воровстве. Спасибо ей, что в милицию заявление не написала, а то не миновать мне повторной судимости.

Итак, я приехал к Ларисе. В квартире кроме нее находился ее сын Саша и жуткого вида белый лохматый пес по имени Дик. Это явно была чья-то приبلудившаяся душа. Лариса потом рассказала, что после того, как она осталась одна, к ней около дома подбежал почерневший от грязи пес, стал ластиться и тявкать. Лариса взяла псину — не смогла пройти мимо.

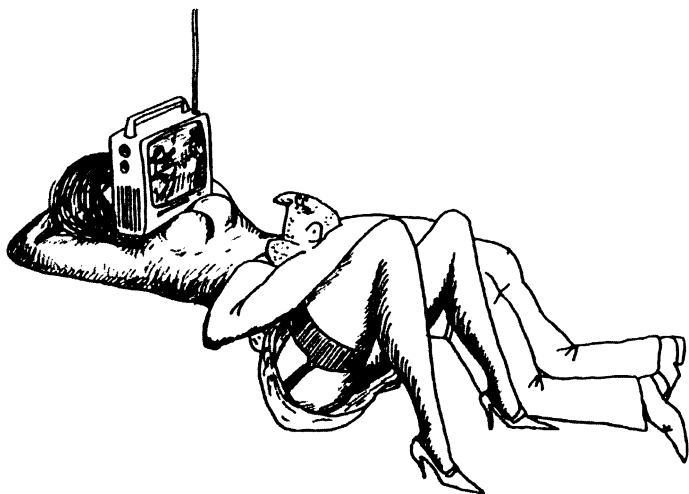
В день приезда я был немногословен, да еще «микрофонный» синдром действовал вовсю: может, гебисты прослушки поставили? За эти годы у Ларисы бывали разные люди, в том числе и западные, и диссиденты тоже заходили.

Следующим утром я, ничего не объясняя, довез ее до станции «Заветы Ильича». Зашли в магазин, я взял какого-то пойла, и мы двинулись вглубь «Заветов». Прошли мимо нежилой «моей» дачи, дошли до края поселка. Тут и устроились. Сидя на бревне, выпили из горла немного, и я выложил все, что накипело на душе. Все, без утайки. Сгоряча даже Ларису обвинил, что она что-то знала, но от меня утаивала. Потом понял, что этого не могло быть — она бы обязательно мне сообщила. Кое-что она чувствовала. Какое-то отдаление от нее Е.С., и еще заметила, что ей постоянно стало некогда общаться, все дела, дела какие-то. Какие — не объясняла. Насчет «брата» Лариса ничего не знала, один раз вскользь Е.С. сказала что-то о друге, который появился откуда-то. Но у Е.С. постоянно в голове какие-то мистически-романтические образы мелькают, принцы на белом коне...



Я остался у Ларисы и после стремительного развода с Е.С. стал законным мужем ее бывшей лучшей подруги. В соответствии с лучшими традициями женской логики, моя уже бывшая жена тут же предложила мне вернуться, а Ларису объявила «жидовкой», умыкнувшей у нее мужа. Житье мое на новом месте было сначала странным: я никак не мог привыкнуть, что не надо вставать в шесть утра, строиться и махать руками на центральной аллее. Но у меня были заботы и посерьезнее: пришлось быстро устраиваться на работу. В Горкоме графиков начальники делали вид, что ничего обо мне не знают. Прописали меня, после унижений и нервотрешки, у матери, куда я должен был приезжать раз в неделю для «профилактических» бесед с участковым. Еще меня несколько раз тягали в РОВД по месту прописки, где развязные опера вновь фотографировали мою морду лица так и этак и катали отпечатки пальцев — на всякий случай.

Я очень хотел увидеть свое уголовное дело. Долго обивал пороги присутственных мест. Потом меня направили в министерство юстиции. Я немного удивился, узнав, что оно расположено на улице Ермоловой, в бывшем Большом Каретном. Лариса, которая меня одного никуда не отпускала, пошла со мной. В родном переулке, взглянув на нужный мне дом, понял, что судьба сыграла еще одну странную шутку. Искомое министерство находилось теперь... в 186-й средней школе. Дальше предбанника меня не пустили. Нужного начальника не было. Я еще несколько раз заходил в свою бывшую школу, и все было впустую — не то что своего дела, я и чиновника, выдающего якобы дела, не увидел. После одна добрая душа мне сообщила, что мои два тома истребовал КГБ. Не знаю, что их интересовало. Как-то я поуспокоился после всего. Грело душу, что люди вокруг проявляли ко мне интерес. И не шарахались от меня.



Первым, кто пригласил меня к себе в дом после стольких лет моих скитаний, был Генрих Сапгир. Мы с Ларисой приехали к нему на Ленинский проспект. Был накрыт стол, на

котором было все, что только можно в те годы представить. Генрих познакомил меня с Женей Поповым, писателем-«метропольщиком». Выяснилось, что Попов все эти годы следил за моей судьбой. Сейчас, в этой теплой уютной квартире, сидя с людьми, которые в открытую меня поддерживали, я помягчал душой. Впрочем, все мои разговоры за столом постоянно и невольно сводились к воспоминаниям — этап... пайка... шленка... шконка... шмон.

Благодаря Генриху и Жене я перезнакомился со многими интересными людьми, что ранее было для меня крайне затруднительным. Но в миру я продолжал оставаться только что «откинувшимся» зеком с непогашенной судимостью. Я устроился рабочим в детский сад. Это было неплохое место: я обедал вместе с воспитательницами, съедал пюре и котлетки, оставшиеся от детей, пил компот. Потом, если не было работы, шел в подвал, где спал до конца рабочего дня.

ДУША ЖЕНЩИНЫ

ВСТАВНАЯ ГЛАВА ИЗ КНИГИ «УТКА НА ЗИМНЕЙ ДАЧЕ»

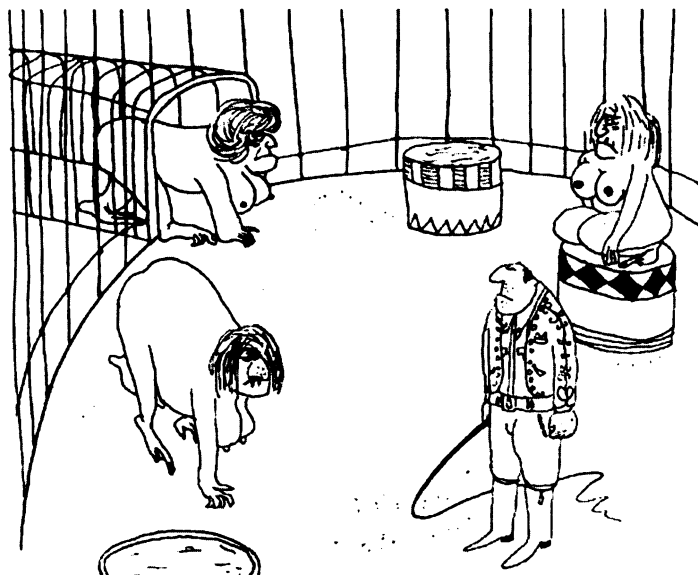
Театр К.Н. Незлобина
Завтра в 19 ч. 30 мин. концерт
ансамбля «Черноморская чайка»
в программе ГОЛОГРАФИЯ:
Северный, Высоцкий, Худяев,
Лес-Стравинский, Зеппелин, Битлзлы,
живой М. Джексон, Балет

В аудитории Политехнического музея
лекции с 10—26 марта с.г. на тему:

«Душа женщины».

Читает О.Д. Гершензон.

Следите за афишами



Я доехал до Мясницкой, поставил машину на стоянку и пошел к Политехническому. Прочел афишу. Улыбнулся про себя. Это очень насущно; узнать именно сейчас, что представляет собой Ее душа. А может, душа Нины, которую она вкладывает в то дело, которое мы задумали про-вернуть?

А что вы, О.Д. Гершензон, можете сказать о душе женщины?

Что-то новенькое? Может, вы новый Фрейд? Или же, наоборот, будете уверять, что всякие там сексуальные порывы совсем не имеют отношения к Ее душе? Нет, не пойду я на вашу лекцию, уважаемый О.Д. Я сам могу прочесть лекцию. У меня нет слушателей. При желании, конечно, мог бы записать все это нелегально на видео и распространить на черном рынке, скомпилировав кое-что.

Душа женщины, уважаемые клиенты, простите, господа, — вещь неосознанная, и каждый, кто будет уверять, что он познал ее, — заведомый аферист или профанатор.

Что мы знаем о ее душе? Когда мы впервые сталкиваемся с женщиной, мы очень часто получаем некий удар током; рушатся наши мечты, мы сталкиваемся с пошлейшей реальностью. Когда мы ищем себе пару уже всерьез — для жизни, а не только для развлечения, мы стремимся вылепить женщину по своему образу и подобию, страстно, по-детски, веря, что это и есть самый лучший, единственно приемлемый для двух сторон вариант.



Взять этих девушек, что сейчас в театре под Северного задирают ноги. Почти все уверены, что они *бельдюги*, раз идут на такое, забывая, что делают они это за деньги. И каждый день перед глазами жлобов мелькают изящные длинные женские ножки, а их души остаются такими же сокрытыми от взора, как и ваши бумажники, господа. Да вы, конечно, никогда и не интересовались, есть ли у них душа, разве только под Рождество, когда полагается проявить сочувствие и согреть чью-то душу обязательным пяталтынным.

Чем ваши жены отличаются от этих бельдюг? Только тем, что проделывают они свои закидоны перед одиночными зрителями, да часто и бесплатно — ведь за деньги это позорно, правда?

А если женщина чиста и верна, спрошу я вас, можете ли вы что-то сказать о ее душе? Нет, господа, вы и тут не можете ничего сказать, и должны после моих слов заерзать и покраснеть. Объясните мне, как у вас, плешивых и волосатых гамадрилов, могут быть такие жены или подружки? Объясните мне, почему они вам верны и не изменяют, не выделывают ногами кренделя — как в журналах, специализирующихся на группен-сексе?



Молчите, господа? Тогда я вам скажу.

— Я, группенсексфюрер, который четыре года был в подполье и делал для вас революцию, плодами которой вы сейчас пользуетесь, который два года сидел за порнуху, отвечу вам: ваши верные и непорочные жены и подружки,

живущие с вами, если и не обманывают вас и не наставляют вам пластиковые рога-вибраторы, то потому только, что они умнее вас и рассуждают так: зачем я буду изменять своему м... у? Что от этого изменится? Я познаю еще одного, или еще трех, десятерых таких же вонючих, немощных ублюдков, каждый из которых мнит себя пупом земли. А на ... мне это надо?

Тут, конечно, публика должна была бы меня освистать, выступай я вместо Гершензона, забросать яйцами и пластиковыми фаллосами.

А что, может, попробовать все-таки?

Я выйду на сцену из-за кулис, и вид мой будет страшен. Будет на мне бескозырка с надписью «Венера», японская куртка, имитация под кожу, перекрещен я буду холщовыми лентами, в которые вставлены будут поочередно липстик — собачий гуммифаллос, липстик — собачий гуммифаллос, а в руке будет деревянное ружье, — которое я делал когда-то, будучи макетчиком.



Сгорела Бородинская панорама, и министр Катя Фурцева издала приказ — восстановить панораму за три месяца, к славной годовщине, и мы все сидели и делали ружья со штыками, образца 1812 года, а потом вошел старый хохол Арюлин, макетчик, работавший еще при Сталине в мастерских на Трифоновке, увидел наш арсенал и сказал только: «Да, крепка Советская власть!»

Но к вам не подступишься. Вы оберегаете себя. И в зале и за кулисами полно бодигардов и ментов — терроризм растет, и все боятся взрывов, и одиноких чемоданов в метро, и закутанных немков и турков, но меня-то вам чего бояться? Да нет, я понимаю, вам тошно слышать то, что вы сами о себе знаете; кому приятно, когда тебя в зеркало тыкают, — на, смотри на себя. Плевать мне на вас, у меня сейчас дело поважнее, чем перед вами распинаться, надо уже ехать, пожалуй, как там Нина моя, вот еще одна загадка, за что она меня любит, — а женщины никогда не отвечают — за что и смеются, да я и сам не знаю, а другие думают, что они знают, но это пройдет, и вообще от любви до ненависти один шаг, один мы уже сделали, а мне осталось сделать следующий, но вам об этом совсем не обязательно знать, тем более что уже минут пять стоит за мной мент в штатском, я его отражение в стекле вижу, наблюдает, как я сам с собой говорю.

Ну и хватит. Я еще не настолько свихнутый, чтобы себя не контролировать, и штатский отходит от меня и теряет интерес, а я иду обратно к своей машине, под ногами грязь, слякоть, и на душе так паршиво, что хочется ей позвонить, но я не буду, нет, я не буду, я позвоню Сиделке, нет, и ей не буду, мне стыдно, она меня ждала, я должен был к ней ехать, конечно, да вот втемяшилась идея бредовая, и я у Ниночки, а она, как верный пес, все исполняет, что я прошу. Господи, избавь ее от любви ко мне, я смрад и дым, нет меня, от меня, как от чумы, как от СПИДа, бежать надо, а она любит, дай ей, Господи, зрение, пусть увидит, что делает — по злой воле, пусть ужаснется, ведь я

не остановлюсь. Господи, ты меня знаешь, я ведь как помешанный, пока своего не достигну, не успокоюсь, но ее отвлеку, осени ее своей благодатью, пусть я сам от Нины отшатнусь, но не покидай, Господи, и сделай так, чтобы эта девушка все поняла и сбежала, или лучше меня ночью пристрелила, или выгнала из дома, но на самом деле я этого не хочу — ты же все знаешь. Господи, это я все для понта гоню, а что же мне делать, прав ли я в своем устремлении, меня все время страх берет, что подл я и не прав, а как все узнать, человек и себе лжет, и внутри ложь растит и себя уверяет, вот я весь перед тобой и дай мне знак, Господи.

«Мойте руки перед едой» — возникла неоновая надпись на аптеке, где продавались «новые лучшего сорта душистые гигиенические мыла фабрики братьев Факс».

(Хочу заметить, что в этой главе фигурируют три женских персонажа, три грации: Она (Е.С.), Сиделка (жена Лариса) и Нина (персонаж вымышленный). — *Примеч. В.С.*)

КАК ТОВАРИЩИ РАБОТАЛИ-4 и-5

Однажды, в самом начале перестройки, Ленька Прудовский позвонил и сказал, чтобы я приезжал в центр, с деньгами. Не сказал зачем. Он встретил меня около нового МХАТа, где он работал техником, и повел в переулок. Там находилась палатка макулатуры.

По темному помещению были разбросаны кипы газет и журналов.

Я внимательно посмотрел под ноги и обомлел!

Кругом валялись подшивки белогвардейских газет за 1918—1919 годы, отпечатанные на рыхлой синей, серой и серо-желтой бумаге. Кипы журналов валялись чуть поодаль. Это были свежие подшивки «Тайма» и «Ньюсуика». Достаточно сказать, что эта американская продукция считалась антисоветской и отметалась на обысках. Что

уж говорить о белогвардейщине! Чтобы увидеть один-единственный номер любой антисоветской газеты, надо было быть ... ну, Юлианом Семеновым, что ли, иметь друзей в КГБ, иметь доступ к секретным материалам, быть партийцем с хорошей репутацией и, главное, обладать документом о том, что тебе этот конкретный номер необходим для работы над идеологически выдержанной статьей или книгой. Кроме того, такой документ никогда нельзя было выносить из архива. А тут все это антисоветское богатство лежит под ногами, а лучший друг — приемщик макулатуры что-то пишет, подсчитывает на счетах... Он нам рассказал, что кипы старых газет привезли из какого-то архива, а журналы доставлены русским шофером прямо из американского посольства. На все деньги, которые у меня были, я скупил все, что можно было увезти на такси. И увез! На следующий день приехал снова — но было поздно! Утром на черной «Волге» подкатили разъяренные чем-то гебешники, забрали остатки запрещенной прессы, облаяли приемщика и строго приказали звонить, если вдруг такую крамолу снова кто-то привезет.

Белогвардейские газеты у меня сохранились, а американскую прессу за давностью лет давно бросил где-то в Москве.

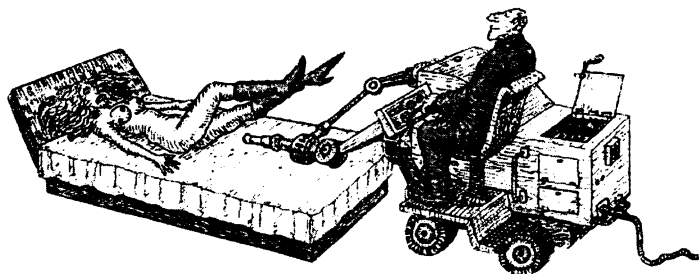
* * *

Если кто-то думает, что после выхода любимая организация оставила меня в покое, удовлетворившись моим письменным обещанием, то глубоко ошибается. Мало того что их присутствие рядом ощущалось, так они взяли себе за правило регулярно приглашать меня на «беседы». Приглашения эти я не игнорировал, поскольку судимость моя еще была не снята. Лариса, моя верная подруга, не отпускала меня одного. Вот и на первое свидание с товарищами она отправилась со мной. Москвичам хорошо известен краси-

вый зеленый особняк на улице Дзержинского. Вот туда мы и заявили по повестке, посланной мне. Я сказал двум симпатичным молодцам на контроле, что вызваны, мол, оба, но повестка только у меня. Около кабинета, куда меня вызвали, откуда-то из глубины особняка появились две фигуры. Товарищи поздоровались и пригласили пройти меня в кабинет. На Ларису они не смотрели, как бы делая вид, что ее тут нет. Она же, напротив, проявляла активность, хотела зайти в помещение для «бесед». Тот, что был повыше, сказал ей:

— Если понадобится, мы вас вызовем.

К этому времени, а был это еще 1985 год, я уже общался с иностранными дядями и тетями, рассказывал им о себе, вел переписку с заграницей, катал жалобы на ментов и прокуратуру.



Вошли в казенный кабинет. Стол, несколько стульев, сейф. Я спросил, как их называть. Высокий назвался «Николаем Ивановичем», глаза у него были белые, как у рыбы, жесткие и внимательные. Низенький, «Юрий Алексеевич», имел темное, землистого цвета лицо и черные рассыпчатые волосы. Беседа была невразумительная. Что-то невнятно было говорено о моих «связях» с Западом, какие-то глухие угрозы сквозили в их словах. Я напрямую спросил у «Николая Ивановича», запрещено ли мне общаться с иностранцами. Ответа прямого не последовало. Намекнули, что лучше поостеречься. Тогда я попросил составить мне список

тех, с кем не надо общаться. Товарищи шутку не приняли, смотрели хмуро, без всякого удовольствия. Не понравились мы друг другу. Еще больше, чем я, не понравилась им моя жена. Мне кажется, она вызвала у них состояние легкой аллергии.

Было еще несколько встреч. Поскольку вызывался я по повесткам, то мог заранее продумать, какие претензии и жалобы у меня накопились. И все беседы начинал с претензий. Конечно, мои собеседники говорили, что они никакого отношения к моим проблемам не имеют. В 1986 году я несколько раз пытался восстановиться в Горкоме графиков. Все твари, сидевшие в начальственных кабинетах, делали вид, что не знают меня и не понимают, в чем дело. Художники наши старались мне помочь, по своим каналам пытались выяснить причины отказа в восстановлении. Все сводилось в результате к одному: торможение идет из любимой всемогущей Организации. Новый гражданин начальник Горкома Дробицкий* делал вид, что от него ничего не зависит, кивал на потолок, молча тыкал вверх пальцем, там все решают...

На очередной вызов в особняк я пришел, как и раньше, с женой Ларисой. Опять товарищи завели меня в кабинет, и началась задушевная беседа. «Николай Иванович» вытащил из папочки несколько листков ксерокопий и стал ими размахивать:

Мы вас предупреждали, чтобы вы ничего на Запад не передавали, а вы слово нарушили... «Николай Иванович» продемонстрировал мне «Рассказы о Данииле Хармсе» с моими же рисунками, которые недавно были опубликованы в парижском журнале «А — Я», который издавался Игорем Шелковским*. Я-то знал, что рассказы эти, собранные в рукописную книгу, были сделаны еще в бегах... Я прекрасно помнил, как я писал и рисовал, сидя в жару на терраске в Васюково. Но не стал разубеждать товарищей, которые меня корили за новую «связь с Западом». И «Николай Иванович», и «Юрий Алексеевич» обидчиво заяви-

ли, что они хотели меня предостеречь, но у меня, видимо, напрочь после выхода отсутствует чувство самосохранения, раз я себя так веду. «Я должен...» — вместе сказали они...

Мне только это и было нужно. Я принялся буквально орать:

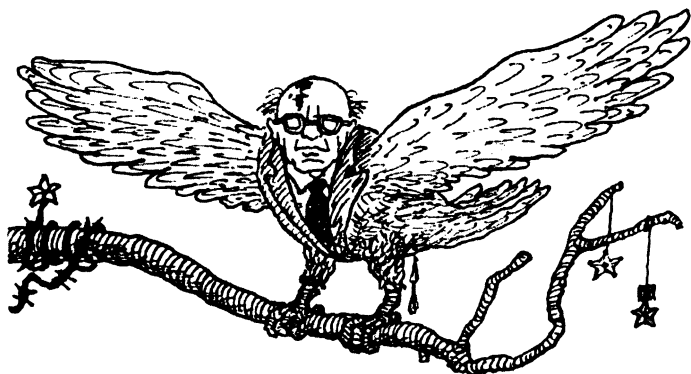
— Это сколько я еще буду вам должен?! И что же, интересно, я вам должен?! На дворе перестройка, Михаил Сергеевич говорит о новых отношениях, а я вам все должен? Я свое уже отсидел. Хотите, заводите новое дело, но больше я к вам добровольно не приду и молчать об этих «беседах» не буду! (Как будто раньше молчал.) Вы бы лучше подействовали моему восстановлению как художника в Горкоме графиков!

Собеседники сидели ошарашенные моим криком и хамским тоном. Вдруг они начали оправдываться:

— Председатель Горкома — вне нашей компетенции. Мы ничего не можем сделать...

— Сделать не можете, так и вызывать нечего! Я никаких преступлений не совершал, хватит надо мной издеваться! Чего вы вообще хотите от художника?

Лариса, когда мы вышли из симпатичного особняка Московского управления, сказала, что орал я так, что все было слышно сквозь закрытую дверь.



Через день раздался звонок из Горкома графиков. Звонил сам начальник над художниками. Свойским тоном, будто вчера мы с ним выпивали в его кабинете, посетовал на занятость и пригласил заехать к нему. Выяснилось, что документы мои («потерянные») нашлись. Меня буквально за день-два восстановили, выписали удостоверение, с которым я теперь мог не работать на советской работе.

Никаких симптомов стыда или смущения у чиновников не наблюдалось. Это я, наивный, думал, что они будут мучаться от стыда. Мучался я — за них.

ПОХОРОНЫ И ПОМИНКИ

В декабре 1986 года умер Анатолий Зверев*. Я его очень мало знал. Однажды, лет за десять до смерти, он зашел ко мне домой со знакомым. Я немного знал о его поведении, поэтому не удивился, увидев затрапезного вида мужика с авоськой, в которой лежала бутылка водки и большой соленый огурец. Оглядев меня снисходительно и не взглянув на стены, где были развешены работы, Толя сказал:

— Тащи стаканы и нож.

Принес три стакана. Толя разрезал огурец на три части. Разлил, и мы выпили. Все это напоминало какое-то концептуальное действие. Да, оно таким и было! Вот простой мужик Толя. Вот его приятель, который пришел с ним. А вот художник, к которому они пришли. Простому мужику совершенно неинтересны мои картины. Он пришел выпить. Говорить ему тоже неинтересно — все известно заранее, что окружающие могут сказать. Зверев был гений, и ему совершенно было плевать, что о нем подумают. Точно так же плевал он на иностранных покупателей — знал, что его работы все равно купят.

И вот Толя упокоился. Художники решили устроить пышные поминки. Время было тяжелое, безалкогольное. Пришлось задействовать знакомых, связанных с торгов-

лей. Закупку напитков поручили мне, как самому малопьющему. Несколько ящиков водки и вина были под моим присмотром отправлены в кафе на Большой Грузинской. (Надо ли говорить, что после отпевания Зверева я снова нес гроб, находясь на обычном своем месте — впереди и справа?) В полутемном кафе собралось очень много народа. Выступал начальник Горкома. Голосили тетки — родственницы Зверева, воспевавшие его замечательные черты характера. Понемногу все напивались. В какой-то момент на пороге возник удивительный пьяноватый персонаж. Некто в расхристанном виде, в расстегнутом пальто, пиджаке и рубашке, с огромным, в ладонь, крестом на пузе на толстенной цепи. Имел персонаж круглые темные очки и клочковатую бороду. Это был не кто иной, как бывший председатель Горкома Владимир Ащеулов. При этом человеке я поступал в Горком графиков, при нем же, заочно, меня исключали. Ащеулов увидел меня с порога и почему-то сказал:



— Ты не прав, Слава. Давай поговорим.

Наверное, продолжал дискуссию сам с собой.

Я отвернулся. Совсем не хотелось скандалить. Бывший председатель время от времени подходил ко мне и тыкал пальцем:

— Давай поговорим!



Он быстро назюзюкался. Потом упал на пол, лицом в опилки. Художники преодолели стадию скорби и уныния и несколько оживились. В зале становилось шумно и суматошно. В одном углу уже хватали друг друга за грудки. Известная всему московскому бомонду богемная дама Лорик наотмашь била действующего начальника Горкома по морде сумочкой. Начальник отворачивался и терпел. О покойнике как-то подзабыли. В середине зала образовалась целая группа художников, выяснявших между собой отношения. Замелькали кулаки. Мы с Ларисой встали и вышли на улицу. Толпа дерущихся выкатилась вслед за нами и каталась по грязному снегу, перемещаясь постепенно на мостовую. Так закончились похороны гениального русского художника.

Пройдет лет 20—30, и все эти детали забудутся, останутся картины Анатолия Тимофеевича Зверева. Точно так же забудутся и начальники, управлявшие художниками. Когда мы уехали из России, кто-то нам сказал, что Владимир Ащеулов умер. Хрестоматийно, как и положено: будучи не у дел, одинокий и спившийся, загнулся в полном отчуждении от художественного мира, как собака, под забором.

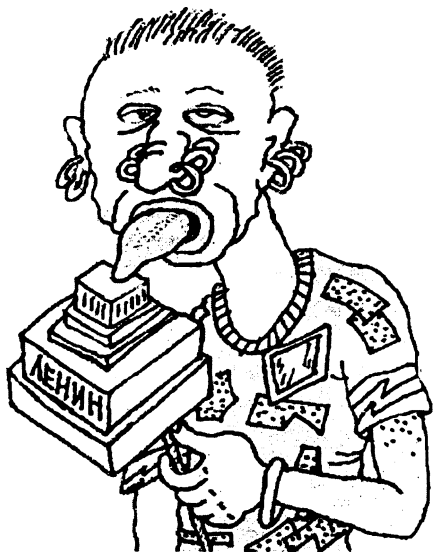
СПАСИБО

ВСТАВНАЯ ГЛАВА ИЗ КНИГИ «УТКА НА ЗИМНЕЙ ДАЧЕ»

О, необозримые дали! Кто вас выдумал? Не англичанин же странный, затыкающий мойку пробкой и моющий в одной воде посуду? И не порхающий француз! И не правильный немец! Он никогда бы так привольно и весело не раскидал по земле холмы и леса, и болота, и не поставил бы как ни попадя деревушки, не напетлял бы дорог и тропинок через буйные кусты и травы. Может, американец? Говорят, они сродни русским. Но какой американец позволил бы реке так вольготно течь, не извлекая из этого полной и окончательной прибыли?

О, великое пространство, на котором без всякого удовольствия можно было разместить 100 Бельгий-Голландий-Люксембургов! Разместившись здесь, вы сумели бы извести комаров, настроили бы мотелей, харчевен и бензоколонок с раковиной — и пропала бы Россия! Нет, не разместятся здесь страны, которые по статистике можно было бы разместить. А будут стоять серые, тихие деревушки, и дома будут оседать, зарываясь по оконца в землю, и будут покорные эти деревушки ждать своего часа. Того ли, когда сгниют? Или же другого, когда, торжествуя ревя, прорвется к ним мастодонт-укладчик «Катерпиллер» и по

горячему шоссе ринутся на отдых тысячи каких-нибудь трехсотсильных «Шляпинных» с любителями пошуметь и загадить вокруг себя землю?



Все противится этому: и природа, и тихие бабки, привычные к рюкзакам и баулам, носимым через плечо. Каждый листок и травинка кричит: не надо, не хотим ваших опытов!

Но нет, ничего не слышно. И бабка Нюра, что каждый день носит парное молоко, с привычным недоверием присматривается: а эти что приехали? Не нашумят ли? Не напакостят? А вон, внизу, под фермой, широко лежит река. Время от времени идут баржи, буксир тянет плот. Но и тут, в тиши и забвении, нет-нет, да дает знать о себе Бельгия-Голландия. Вот на берегу осколки бутылок из-под водки «Сусанин». Вот жестянка валяется, а наверху прошумел «Шляпин» — приехал в гости к соседям городской родич. Мало пока «видео» в деревне, да ведь это — дело наживное — стоит захотеть. Но не захочет никто. Хотеть некому.

Пройдет лето, зарядят дожди, и опустеет деревня. Бабка с дедом останутся одни, на долгие полгода отрезанные от мира бездорожьем и равнодушием, и все будет сохранено в целости: и зайцы, и волки, и рыба подо льдом. Некому будет выбивать, некому бежать по следу. Останутся Бельгия-Голландия без русской дичи, пушнины, рыбы.

Прозимует в стойле Красавка — чтобы к весне, отошав, обрадоваться свежей травке, и, значит, лишатся Бельгия-Голландия русского сыра, творога, молока. Дед много не ест, он не бельгиец. Раз в месяц в деревню на лошади приезжает мужик из центрального села — деду привозит 2 килограмма мяса — как инвалиду ВОВ. А к зиме, глядишь, теленка забьют — и будут дед с бабкой солить мясо: на зиму хватит.



Ежели бельгийца-голландца послать в русский сортир, он возмутится и сочтет, что над ним издеваются. Не поймет он, что это нехитрое сооружение было вызвано к жизни не ленью и бестолковостью, а мудрым желанием устро-

ить все практично и просто. Имея такие сортиры, может, были бы они более понятливы — в своем немыслимом желании познать загадочную русскую душу.

Привыкнув к «пипифаксу» и всевозможным «тампаксам», видя катастрофу в добывании воды из колодца, ушли они далеко вперед. Да только туда ли?

Без «пипифакса» и голландец проживет, а куда денется он, ежели вся земля его загадится стеклом, синтетикой и радиоактивной пылью? Не спасут его ветряные мельницы, тюльпаны, клонперсы и шоколад.

А дед с бабкою, прожив долгую, молчаливую жизнь, придут к тому же итогу, что и все. От них останется много детей, которые никогда не будут жить в деревне, а может быть, проявят себя еще в той же Голландии, будучи там с официальным визитом или по туристским делам.

Река тихая, холодная. Стоят пустые избы по берегам. Но трудно, к счастью, к ним добраться. Бюрократы, незаменимые начальники, спасают пока русскую красоту. Нечего, к счастью, больше ломать. Это не их заслуга, но все равно — спасибо им, этим равнодушным людям!

ВСЕ ГЕНИАЛЬНО

Иностранные гости просто как с цепи сорвались. Шли и шли в квартиру, будто им делать было нечего в Москве. Приехал австралийский художник-карикатурист. Вручил хорошо изданный альбом своих работ. Нарисовано было хорошо. Только темы — как в газете «Вечерняя Москва», где принято было публиковать «изошутки». Потом антипод попросил показать мои работы. Я показал. Он немедленно достал видеокамеру и стал фиксировать каждую работу на пленку. После просмотра спросил: «Вы, правда, все это сами нарисовали?» Ну, не хотелось господину верить, что где-то кроме Австралии еще есть мыслящие существа!



Приехал из Америки Джерри Робинсон*, художник, президент одного из многочисленных в США агентств по распространению карикатур. Выяснилось, что и он принимал каким-то образом участие в моей защите. Робинсон приехал не один. С ним был Стивен Кинг, знаменитый автор романов ужасов. Я как-то тогда не придавал этому факту значения. А зря! Надо было бы к этому Кингу присосаться намертво, как некоторые соотечественники умеют делать, и эксплуатировать тему, бесконечно рассказывая о «друге Стиве»!

Разные люди приходили. Пришел голландский консул и попросил сделать несколько рисунков со жвачками. Оговорили цену. Мизерную, по западным понятиям, и, конечно, в рублях. Когда консул приехал вновь, он внимательно оглядел сделанное, остался доволен и на неплохом русском языке сказал:

— Я покупаю у вас работы оптом, не могли бы вы скинуть 10 рублей?

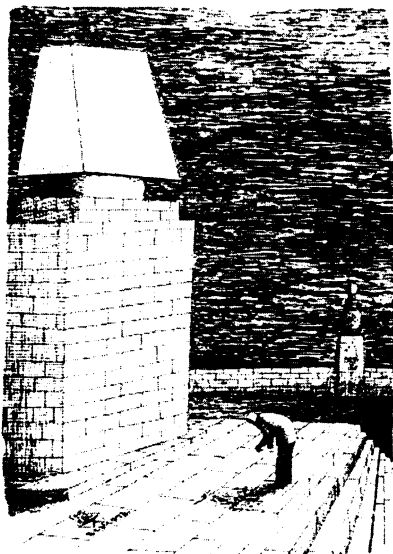


— Да, пожалуйста, о чем разговор, вы же бедная нация! Впрочем, консул оказался неплохим человеком. Когда нам с Ларисой надо было оформлять документы для поездки в Голландию, на выставку, этот чиновник за полчаса сделал всю работу, оформил все бумаги и поставил печать.

Приходило к нам много наших знакомых, старых и новых. Приходили писатели, поэты и диссиденты. Приходили будущие известные личности, поднявшиеся после перестройки. Пришел известный искусствовед и привел человека из кино по фамилии Дондурей*. Долго сидели, рассматривали работы, Потом, как я узнал, Дондурею стало нехорошо от увиденного. Приходила Нина Шорина*, режиссер из «Союзмультфильма». Не могла оторваться от «колбасной» серии. Долго рассматривала, обмирая от восторга, работы, потом сказала, что хочет снимать мультфильм по колбасной теме. Стала просить меня написать сценарий. Я долго отказывался, потом сдался. Сценарий написала жена Лариса — за полчаса. Я позвонил Нине, мы

встретились, и я передал ей несколько страничек текста. Она прочитала их тут же и с замиранием в голосе сказала:

— Все, что гений делает, — все гениально!



НЕ ЧЛЕН. С НОВА ЧЛЕН

Года через два после того, как я вышел, я попросил иностранных граждан сделать мне частное приглашение. Быстро выяснилось, что свободная Академия искусств Гамбурга готова сделать выставку. Организовала это замечательная женщина Сибилла Аллерс, которая руководила гамбургским филиалом «AIDA». Приглашение мне лично в руки передал немецкий журналист. Мы с Ларисой явились в районный ОВИР (прелестная организация, которую шутники в застойные годы окрестили «Отказ в визах и регистрациях»). Пришли в кабинет, где сидела дама-начальница в милицей-

ском мундире. Дали ей конверт. Приглашение на выставку было напечатано на русском и немецком языках. Дама с уважением доброжелательно посмотрела на меня:

— Дайте, пожалуйста, ваш билет.

Наверное, я должен был дать членский билет Академии художеств.

— Нет у меня билета.

— Как — нет?

— Я неофициальный художник. Бывший член Горкома графиков.

— А где вы работаете?

— Работаю я слесарем в детском саду. Справку показать?

— Не надо. Я не могу вас... пустить.

— Почему? Вот перед вами мой паспорт и приглашение для меня на мою выставку.

— Но вы не член...

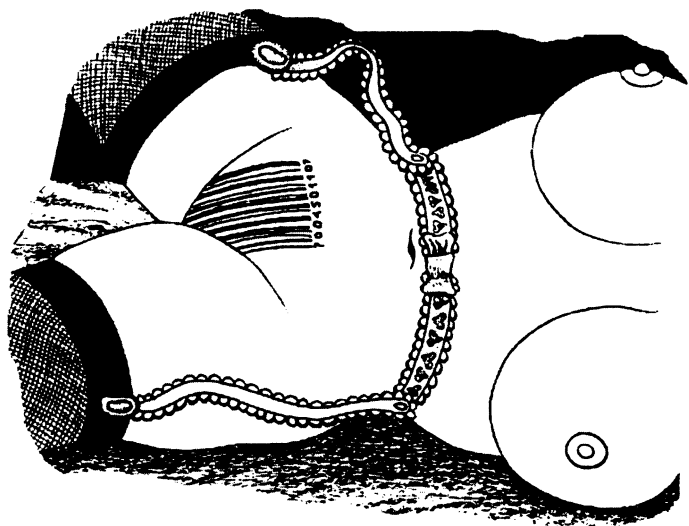
— Не член, но приглашают меня...

Я вел себя спокойно, понимая, что дама не виновата. Ну — нельзя не членам. Если бы хоть кто-то позвонил, из Моссовета, из райкома, может, и стали бы рассматривать вопрос. Звонков не было. И не предвиделось. Я был спокоен. Зачем шуметь? Стену прошибать головой? Значит, время не пришло.

* * *

После восстановления в Горкоме графиков художники выдвинули меня в комиссию, где я вместе с другими наблюдал, как принимают новичков в секцию живописи. (Это и была та самая знаменитая секция «модернистов-нонконформистов».) Наблюдать за всем этим надо было: начальники все время пытались протащить своих клеветников или просто тех, кто давал взятки. На одну из приемных комиссий пришел некто Еликолепов — чистенький и благостный, средних лет, совсем не похожий на худож-

ника. Картины его представляли собой холсты, на которые были наклеены разные предметы. Сопровождалось это назидательным текстом. Все было страшно «острое», «смелое», «злободневное». На холсте среди приклеенных искусственных зубов и дужек очков было написано примерно следующее: «Допросы. Допросы. пытки. Проклятие палачам! 1937. Магадан». На другом были, кажется, наклеены какие-то листки, а текст сообщал: «Ждем возвращения на Родину великого писателя Земли Русской Александра Исаевича Солженицына!» Когда принимаемый поставил две работы и удалился, художники молча уставились на смелое антисоветское произведение. Наступила перестройка вместе с гласностью. Антисоветчина уже была и в прессе, и по ящику, никого удивить ею нельзя было. Тут же — явный конъюнктурный случай графомании, игра в «честность» и «смелость». Подытожив общее мнение, кто-то из художников сказал:



— Работы, конечно, говно, даже не говно, а просто — никакие. Но принесены они к нам с конкретной целью —

автору очень хочется быть принятым в Горком графиков. Если мы его не примем — распишемся в собственной трусости, а если примем... Будет у нас одним графоманом больше...



Таких художников расплодилось несметное количество, когда стало не опасно быть модернистом. Мало того, выяснилось, что именно они и являются двигателями прогрессивных художественных идей. Еще существовала какая-то мода на «рашен арт» на Западе, чем и пользовались всевозможные жучки от прохиндей-арта. Выискивая в Москве третичных «модернистов», они вербовали их для поездок «за границу», суля небывалые заработки и, конечно, мировую известность. Дальше, естественно, происходило то, что и должно было произойти. Между прочим, с русскими девушками, которых прельщали обещаниями, происходило похожее. Разница состояла в том, что от девушек требова-

ли полного сексуального повиновения, и у них должны были быть симпатичные мордашки и красивые фигуры.

Какой-то жучок увидел на какой-то выставке группу серых гениев, среди которых был Еликолепов, и предложил им увлекательный тур в Германию. Очень скоро с ними был заключен «контракт» и оформлены документы, на немецком, конечно. Был подан микроавтобус, на который со всеми своими амбициями и были погружены гастарбайтеры. Привезли их через три границы и поселили где-то под Берлином. Там они и вкалывали, согласно контракту — что-то оформляли, надеясь огрести бешеные бабки. Естественно, что к моменту расчета благодетель устроил скандал, объявив гениям, что сделано все не так и плохо.

Еликолепов, еще в бытность мою в Москве, преклонялся передо мной, а мне было смешно. В гостевой книге на моей выставке он огромными буквами написал: «Слава, я тебя люблю!» Видимо, с такими горячими чувствами он и явился ко мне в Берлине. Я, естественно, рассказал, что с ним и группой «гениев» произойдет дальше — слава Богу, иллюзий о «рашен арте» я был уже лишен. Посмотрев на меня, как на идиота, то есть соболезнующе и снисходительно, он попросил разрешения оставить у меня свои шедевры, поскольку гении меж собой пересобачились, а благодетелю веры не было. Я от подобной чести отказался, и, думаю, правильно сделал.

— А как же Александр Исаевич, великий писатель Земли Русской? — спросил я, когда Еликолепов уходил.

Он улыбнулся:

— Это когда было...

ПЕРСОНАЖИ ИЗ ПРОШЛОГО

Французы, которые приходили к нам с Ларисой, рассказали, что моя бывшая жена Галочка собирается приехать в Москву и заодно привезти мне какие-то альбомы по ис-

кусству, которые я давно просил. Передал для нее наш телефон, заранее обговорив все со своей женой, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно обманутые мечты. И как в воду глядел! Была начальная стадия перестройки. Уже разрешали довольно спокойно приезжать оттуда, но еще старались не пускать туда. Галочка позвонила и сказала, что остановилась в гостинице... Нет, нет, товарищи!! Больше я по гостиницам не ходок! Договорились встретиться около Большого театра. Галочка была с сумкой, которую она привезла для меня. Смотрела на меня сквозь темные очки и рыдала от полноты чувств. Это была первая русская душа, прилетевшая оттуда, и она мне поведала, что происходило в Париже, пока я находился в местах, не столь отдаленных от Белого моря. Ну, конечно, массовых демонстраций трудящихся в защиту русского художника не наблюдалось. И рабочий класс Франции забастовок не объявлял в мою защиту. Зато выступали самые разные журналы и газеты, кроме «Юманите», конечно. Печатались рисунки. Причем, поскольку они были без слов, их присобачивали к самым разным статьям. В журналах были специальные публикации. Там рассказывалось, какой я замечательный художник, борец против тоталитаризма. Оставим все эти лестные замечания на совести журналистов. Взглянем на суть. Она состояла в следующем. В семидесятые годы в Европе был создан «Комитет защиты деятелей культуры» — «AIDA». Возглавила его талантливая и крайне популярная во Франции Ариана Мнушкин*, театраль- ный режиссер. Защищать ей приходилось самых разных людей — в Азии, Африке, Латинской Америке и, естественно, в «странах социализма», которые оказались за решеткой за свои взгляды. В начале 1984 года книга «Ходите тихо» вышла по-французски. И вскоре «AIDA» устроила демонстрацию у советского посольства в Париже в защиту советского художника, приурочив эту «антисоветскую акцию» к выходу книги, которая во французском переводе называлась «Осторожно, дурдом». Посольство за-

нимает целый квартал, обнесено мощной решеткой, и тем не менее сотрудники его потребовали от французских властей запретить демонстрацию. Уж не знаю, какая была мотивировка. Факт остается фактом: когда демонстранты развернули плакаты и приблизились к посольству, французские менты их отогнали. Среди собравшихся были русские и французы, много художников, выехавших из СССР. Они пытались сопротивляться, но их отодвинули, к удовольствию прессы, которая все это фиксировала на пленку. Ариана Мнушкин сказала, что демонстрация состоится еще раз и будет необычная. И через неделю к советской цитадели снова собрались демонстранты. На этот раз кроме плакатов мелькали мольберты художников. И вот что интересно: выяснилось, что художникам-сатирикам во Франции тоже нужен толчок извне, чтобы объединиться на какое-то время. Самые известные карикатуристы стояли с мольбертами и изображали, кто как мог, «Сысоева в тюрьме», или здание советского посольства. Французская полиция стояла на расстоянии и не вмешивалась. Окна в посольстве были закрыты наглухо. Оно как будто вымерло. В самый разгар «антисоветской акции» приехал Ив Монтан — бывший лучший друг Советского Союза, который прозрел осенью 1956 года, после Венгерского восстания.



Галочка, конечно, многого не знала, это я сейчас постарался изобразить стройную картину защиты художника, но и того, что она мне рассказала, было достаточно, чтобы понять: меня, к счастью, не забыли и готовы принять ... в гости. Правда, приглашения никто не делал. Я жене Ларисе в деталях рассказал об этой встрече и сказал, что приду проводить бывшую жену на вокзал. И как я был прав, товарищи, предупредив ее об этом заранее! «Юрии Алексеевичи» и «Николаи Ивановичи» не дремали! Все им хотелось меня в чем-то уличить, а потом, может, подбросить компромат для жены Ларисы, чтобы видела, с кем дело имеет!



Я встретил Галочку у метро «Белорусская» и, взяв чемодан (!), понес его по перрону. Дошли до ее вагона с табличкой «Москва—Париж». Галочка стояла рядом и опять обливалась слезами. Я что-то снисходительно бормотал. Из вокзального репродуктора раздался сигнал к отправлению, и она встала на подножку поезда, продолжая рыдать.

В этот момент к нам приблизилась ... свадьба. Все было как положено — жених, невеста, свидетели, толпа гостей. Был даже человек с видеокамерой. Только снимал он почему-то не свадьбу, а меня с бывшей женой. Я, товарищи, может, и не слишком умен, но и не идиот ведь, чтобы не видеть, куда направлен объектив видеокамеры. Мало того, когда «свадьба» прошла, оператор вывернулся и долго фиксировал расставание плачущей красивой женщины и «нонконформиста».

* * *

Когда жизнь моя несколько стабилизировалась, я написал вторую книгу, отдельные главы из которой сюда включил. Там был выведен среди других персонажей и Иосиф, с которым я много лет не виделся и не поддерживал отношений. Повествование в книге шло от первого лица, и по ходу действия я, как главный герой, должен был немедленно смыться из страны. Цитирую. «Доехав до центра, я зашел в ночные паромные кассы и, горестно вздохнув, купил билет 2-й категории до порта Латакия, Сирия, Ближний Восток, на будущую неделю».

Прошу особенно отметить этот факт.

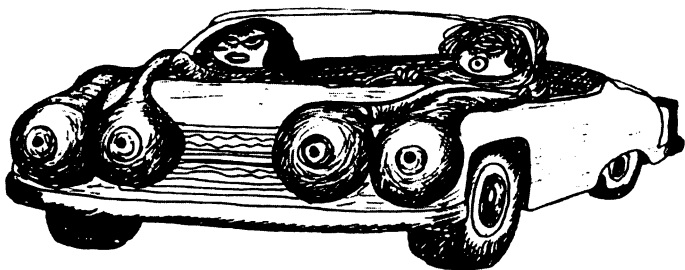
В один прекрасный день мне позвонила старая знакомая, которая сказала, что Иосиф хочет ко мне приехать. Я действительно, наверно, помягчал, раз тут же согласился. Ну, Иосиф и явился с очередным своим детским портфельчиком в руках. Прямо с порога, увидев Ларису, он протянул руку в ее сторону и громогласно сообщил:

— Сысоев, вот женщина, которая тебя любит!

Потом он сказал то, что повергло меня в изумление: «Я сделал тебе в жизни несколько подлостей. Если можешь — прости меня».

Вы когда-нибудь слышали от кого-то слова покаяния? Иосиф рассказал, как он ходил в КГБ с доносом, как делал надписи в телефонных будках, где от моего имени посы-

лал Любимую Организацию на три буквы, как опасался все годы, что с ним что-то сделают из-за знакомства с Маленковым и со мной. Потом он рассказал, что теперь у него новое хобби — ходить по центру и делать «находки». С этими словами он расстегнул портфельчик и достал оттуда дорогой бумажник.



— Около «Националя» из урны достал. Дарю. Наверно, кто-то вытащил у араба из кармана, деньги взял, а бумажник скинул.

Внутри оказался дипломатический паспорт на имя некоего уроженца Саудовской Аравии и пароходный билет из Одессы... до сирийского порта Латакия. Все это я после ухода Иосифа уничтожил — не хватало мне еще иметь дома чужие документы и билет на иностранное судно.

БЕДНЫЙ ЛЕНЬКА

Леня Прудовский настойчиво просил меня пойти с ним в «Крокодил». Якобы там теперь начальники совсем по-новому мыслят. Просто ждут не дождутся, когда же я их посету. Журнал после начала перестройки я совсем не видел, но говорили, что в нем какие-то новации — что-то перестроечное печатают. Идти, однако, никак не хотелось. Больно тошнотворное впечатление этот «орган ЦК КПСС», как было написано на обложке, производил

прежде. Не было ни одного важного события в жизни страны, которое в советские годы не нашло бы отображения в этом журнале. Скажем, партия объяснила (при отце родном), что Тито — кровавый палач югославского народа, и, пожалуйста, толстозадый Тито в упряжке, которой командует дядя Сэм, несется к пропасти. Причем извращенец и палач еще умудряется, вывернув назад голову, лизать подошву американского ботинка, держа в руке окровавленный топор с изображением доллара.



Когда шла борьба со стилягами, в «Крокодиле» появился рисунок Бориса Ефимова: за стойкой бара (видимо, имелся в виду один-единственный «коктейль-холл» на Москву) сидит недомерок в клетчатом пиджаке и в ботинках на толстой подошве, сосет через соломинку коктейль. Подошедший к нему халдей, угодливо изгибаясь, говорит: «Я извиняюсь, звонила ваша мама. Она беспокоится, сделали ли вы уроки».

Каждое эпохальное событие, о котором писалось в центральной прессе, немедленно преподносилось в виде рисунка советскому читателю. Пастернака надо заклеить — пожалуйста. Дядя Сэм из коробки с надписью «Отравя США» сыплет в котел, где что-то варится, какую-то гадость. Внизу текст. Видимо, С. Михалкова.

Помню начало:

...Антисоветскую заморскую отраву

Варил на кухне наш заклятый враг.

Что-то там такое сыпал дядя Сэм, ... добавлен был и Пастернак.

Солженицына выперли — пожалуйста, рисунок Ю. Черепанова, заполонившего в брежневские годы страницы центральной прессы своими ничтожными «изошутками», — Солженицын вылетает из нашей советской двери и на заду его ясно виден отпечаток подошвы разгневанного простого советского человека.

Хоть кто-то из этих людей что-то осудил из своего творчества? Ну, что вы! Они были правы. Время было такое. Это у них такая присказка. И следом другая. Все мы были замараны, все служили тоталитарной системе! Некоторые предпочитали служить ей и жить вполне комфортно — имели свои машины, дачи, получали за свои гадости неплохие гонорары. Этим рабов КПСС даже выпускали на длинном поводке в другие бараки социалистического лагеря, а совсем преданным разрешали ездить на Кубу, во Вьетнам или Чили времен Альенде. О чем теперь все эти заслуженные деятели кисти и пера с гордостью рассказывают, как бы ставя себе в заслугу.

Вот в такое заведение, где мастера кисти и пера копошились, как черви, интригуя, грызя друг друга и строча доносы, меня и затянул Леня Прудовский, наивная душа, порядочнейший человек. Искренне желая мне помочь напечататься, он сказал, что обо всем договорился с заместителем редактора по фамилии Стуков. Я взял самые разные работы, старые и новые, в том числе и из «Чернобыльской

серии». Вошли в кабинет. За столом сидел настороженный, сдержанный, седовласый начальник. Я раскрыл папку и положил перед ним, думая, что русскому человеку, партийцу, старому журналисту, не надо ничего объяснять. Как я ошибался! Буквально вонзившись взглядом в первый рисунок, он спросил:

— А это что?

Я объяснил. Он вынул следующий рисунок.

— А это что?

Я объяснил снова. Так я объяснял все работы, пока он не дошел до большого лубка под названием «Сильный славный Михаил и Рональд рыцарь». Два богатыря сидели на конях и похвалялись друг перед другом оружием — ракетами и водородными бомбами.

Тут редактор Стуков не стал спрашивать «А это что?», поскольку все было написано на лубке — похвальба Михаила и похвальба Рейгана. Причем все это было, естественно, выполнено в простонародном духе, как и положено в лубке.

Прочитав весь текст, Стуков пристально уставился на меня:

— Это что же, выходит, Горбачев — идиот?

— Почему идиот, у меня и Рейган такой же.

— Но почему вы Горбачева так изобразили?

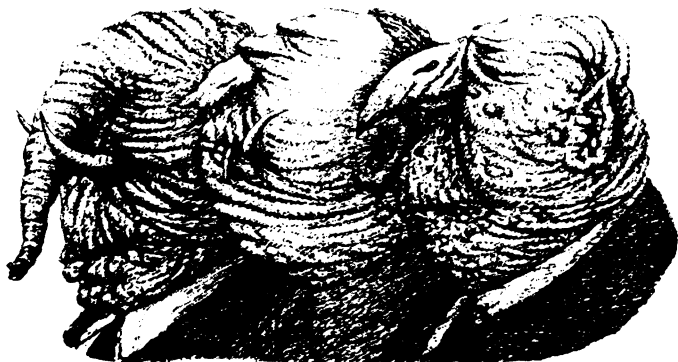
Наверно, он хотел продолжить и спросить «кто разрешил?», но вовремя сдержался. У меня терпение кончилось, и я заметил:

— Вообще-то каждый грамотный человек легко понимает, что изображено на моих рисунках. Ведь они все, кроме лубков, без слов.

— Ну, значит, я неграмотный, — сказал начальник, закрыл папку и отправил ее толчком по полированному столу в мою сторону.

Слащаво улыбаясь, я поблагодарил его за внимание, которое он мне уделил, и вышел. Следом вышел молчавший все это время Прудовский. Ну и досталось ему, пока

мы ехали в лифте, какими только словами я его не крыл, а вместе с ним и сатирический журнал «Крокодил», идеологов ЦК КПСС, всю перестройку вместе с гласностью и лично Михаила Г., прораба перестройки.



ОПЯТЬ!..

Мое вторичное членство в Горкоме графиков длилось недолго. К 1987 году художники почувствовали себя относительно свободными. Вот только начальники хотели, чтобы все оставалось по-прежнему. В кабинетах у них, впрочем, появились портреты Горбачева с заретушированным пятном. Уже многие годы цензуру над художниками осуществляло так называемое «Управление культуры». Там работали какие-то дяди и тети, у которых были полномочия надзирать за нравственностью и политвзглядами «нонконформистов» и других деятелей культуры и искусства. Естественно, организация была полузасекреченная. Особенной стервозностью и шизофренической подозрительностью страдали две бабы — Григорьева и Кирюшова. Говорят, они учились в художественном вузе, с молодости отличались редкостной серостью и никчемностью. Именно эти дамы уже несколько лет решали — что

можно смотреть на выставках московским зрителям и что — нет. В Горкоме должна была открыться какая-то выставка. Дамочки прицепились к работе одного из наших художников. Художники пытались дамам втолковать, что времена нынче другие, что никто ничего плохого не думает о власти, но все это было напрасно. Постепенно собралась большая толпа. Разговор шел на повышенных тонах. Включились в скандальную разборку и другие представители Горкома, какие-то дяди из других секций — плакатисты, изготовители почтовых марок и открыток, приглашений на похороны и свадьбы.

Мне, как всегда, было больше всех надо, так же как и известному художнику, горячему Отари Кандаурову*. Перейдя от защиты отдельных полотен к общему положению в искусстве, мы с Отари выдвинули ряд тезисов, которые сводились к тому, что власть у нас говно, начальники говно и те, кто власть поддерживает, — говно вдвойне. Досталось и открыточникам-плакатистам. Постепенно скандал переместился по коридору в сторону кабинетов начальства. Тут я совсем разъярился, увидев, что двери кабинетов открыты и оттуда с усмешками пялятся на нас знакомые хари. Со стены с легким перестроечным прищуром взирал на нас ретушированный самодовольный партиец Горби. В данном случае он был ни при чем. Но и ему досталось. Я с порога заорал:

— Развесили тут, гады, портреты! А, ну, снимайте живо! Нет у вас тут никакой перестройки, сволочи!

Отари изогнулся и, повернувшись к ним спиной, гаркнул:

— Хотите нас поймать, как все эти годы имели? Хрен вам, больше этого не будет! — и хлопнул себя по заду.

В течение месяца в обстановке непрекращающегося скандала наше поведение «рассматривали» какие-то начальники над начальниками и их помощники. Потом, учитывая новейшие веяния перестройки, решили нас «разбирать» на высшем горкомовском уровне. Мы с Отари тоже

выработали свою тактику. Мне после пребывания в УГ 42/12 было, конечно, смешно все это. Но я ведь хочу быть в Горкоме? Хочу. Значит, играть надо и дальше. Вечер того судилища я запомнил хорошо. Особенно мне понравился состав судейского синклита. Если бы я был антисемитом, лучшей пропаганды своих идей я бы не придумал. Почти все начальники и руководители секций, кроме нашей, живописной, и самого председателя Горкома графиков, были евреи. Ну, просто наглядная иллюстрация: масоны давят честных художников — грузина и русского! Мы с Отари вошли в кабинет, где штук двадцать красных, возбужденных холуйских рыл уставились на нас. Они просто захлебнулись от ненависти, увидев у меня в руке включенный кассетник. Тут же с ревом потребовали, чтобы я выключил его или убирался. Я и убрался. Художники были тоже крайне возбуждены. Запахло классовыми боями. Тут какая-то шестерка вновь позвала нас с Отари на ковер. Теперь на включенный диктофон товарищи не обращали внимания. Что-то они там говорили, мы что-то отвечали, объясняли. Очень это было скучно. Особенно угнетало, что происходило это в разгар всяких разоблачений на всех вышних уровнях... Кончилось все тем, что Кандаурова и меня отчислили из секции живописи за «хулиганские действия». На недоуменный вопрос художников, как можно исключать из профсоюзной организации за «хулиганские действия», никто нам ответа не дал. Должен сказать, что художники наши проявили тогда редкую сплоченность — ходили на приемы во все инстанции, даже в ЦК партии, писали множество жалоб. Ничего не помогло! Так это же хорошо, товарищи! Раз нечистая сила так ярилась и бесилась, значит, мы действовали правильно! Мы дали понять, что мы не стадо, и они ничего не смогли сделать, кроме как лишить нас счастья быть с ними в одном стойле.

Я еще по инерции принимался протестовать. Я уговорил Ларису (она очень не хотела!) сходить к моим кураторам в Любимую Организацию. Товарищи в свое время ос-

тавили мне свой телефон. Лариса, созвонившись, пришла в Московское управление. «Юрий Алексеевич» встретил ее и провел в кабинет.

— У вас магнитофон есть? — спросила жена.

— Да что вы, что вы! — замахал рукой искусствовед в штатском.

— Вы не так поняли. Магнитофон, чтобы прослушать запись, у вас есть?

Товарищ сказал, что нет. И с изумлением уставился на Ларису, которая достала из сумки кассетник. Запись он прослушал два раза.

— Что вы от нас хотите?

— Ничего. Ставлю вас в известность, что мы имеем теперь полное право защищаться от произвола всеми доступными способами.



Оставшийся в некоторой растерянности куратор так, видимо, и не понял до конца, зачем приходила моя жена. А затем она приходила, дорогие товарищи из Любимой Организации, чтобы не было у вас иллюзий, что вы всемогущи и к вам только по вашим вызовам твари дрожащие на цырлах скачут. Естественно, я немедленно обо

всем рассказал знакомым иностранным гражданам. Времена, впрочем, были другие — каждый день пресса и телевидение приносили какие-то сенсации и разоблачения. Не очень их эта история заинтересовала. Что там судьба каких-то двух художников? Страна стояла накануне немислимых катаклизмов и потрясений.

Летом того же года произошел еще один случай. К этому времени я был членом творческого объединения «Эрмитаж». Это было добровольное объединение художников с целью устройства выставок и продажи работ. Как-то мы пришли на собрание, и Леня Бажанов* пригласил художников принять участие в Дне города, то есть прийти в воскресенье на Страстной бульвар и выставить несколько любых своих работ. Как раз в это время Ельцин был московским начальником и, видимо, из его секретариата исходила эта идея. Замечательный был день, между прочим. Стояла чудная летняя погода. Художники пришли заранее. Расставили свои работы. Я тоже принес несколько гадостных картинок. Художники и их подружки пили пиво. Постепенно подтягивались знакомые. В результате Страстной бульвар превратился на время в выставочный зал на Малой Грузинской. Я куда-то отошел, а Лариса с друзьями стояла у скамейки, на которой лежали мои работы. Материализовался вдруг из пустоты «Юрий Алексеевич».

— А Слава где? — по-свойски спросил он, как будто только что мы с ним дернули по бутылке «Жигулевского».

— А ваше какое дело? — грубо спросила Лариса.

— Да так, просто поинтересовался, — сник почитатель моего таланта. Знакомые просто были ошарашены грубостью моей жены. Пришлось объяснить, кто есть кто. Бухнул вдруг за кустами духовой оркестр, заиграл вальс «На сопках Маньчжурии». Побежали по главной аллейке серые дяди с невнятными лицами. Побежала тетка, всполошно замахала руками на художников — встаньте с газонов, встаньте, бутылочки убрать, скорее! От Пушкинской на центральную аллею Страстного вступила плотная груп-

па товарищей. Что-то было стремное и очень чужое для нас в этой массе. По мере продвижения вперед группа эта несколько отклонилась от нас. Над всеми возвышалась голова Ельцина — демократа, революционера, борца с привилегиями. Рука моя непроизвольно нащупала ручку. Я написал свою фамилию, имя, телефон и положил бумажку в нагрудный карман куртки. Группа находилась метрах в двадцати. Я громко спросил:



— Борис Николаевич, можно к Вам подойти?

Голова его медленно повернулась, он увидел мою поднятую руку и кивнул: «Подойди». Я и подошел — сквозь расступившихся шкафов из охраны. В своей краткой выдающейся речи я поблагодарил руководство города за предоставленную возможность выставить работы и спросил Ельцина:

— Могу я обратиться к Вам по личному делу?

Брыла его спесиво напряглись, но он кивнул снисходительно: «Давай!»

Я в одной фразе изложил, что я, такой-то, сякой-то, был исключен за критику из рядов такой-то профсоюзной организации. С этими словами я медленно, чтобы охрана не сломала мне руку, достал бумажку с телефоном. Ельцин кивнул кому-то, и телефон исчез в папочке холуя. Когда я отходил от группы демократических товарищей, шкаф оттер меня и ненавистно прошептал: «Ты, че, падла, делаешь, а?»

— Да иначе и не пожалуешься, — негромко объяснил я.

Недели через две раздался звонок. Звонил какой-то чин из Управления, то ли культуры, то ли культурой. Он мне сказал, что все проверено и исключен я правильно — за хулиганские действия. Потом он предложил мне продавать работы на Битце. Я горячо поблагодарил товарища за проявленную заботу и воздержался от крайних слов.

Все-таки была проделана определенная работа. Бумажка не выкинута, не забыта просьба. Собственно, что должно было произойти? Меня должны были пригласить в Моссовет или в МК партии? С какой целью? Реабилитировать? Разрешить расписать стены своими произведениями в жанре сатиры? На какие темы? На тему «Ельцин борется с привилегиями Горбачева»? Или «Ельцин рассказывает трудящимся, что поездка в общественном транспорте гораздо демократичнее, чем поездка на Волге»? Или, скажем, создать эпохальное полотно: «Б. Ельцин, первый секретарь Свердловского обкома партии, дает указание снести Ипатьевский дом, посещенный в младенчестве будущим художником-нонконформистом В. Сысоевым»?!!

Проехали. Они исключили, я к ним обратился — за помощью. Они и помогли. А на что мы рассчитывали?

ДОМ МЕДИКОВ

В «исключенном» состоянии встретил я Новый 1988 год. Впрочем, не буду жаловаться: с момента выхода я участвовал уже в десяти, если не больше, выставках, самых разных,

вместе с другими художниками. Тут как раз объявилась знакомая девушка Лина, работавшая в Доме медиков. Это известное место в Москве, в самом центре, на улице Герцена. Когда Лина сказала, что переговорила с директором и он согласен на устройство выставки, я тут же развил бурную деятельность. Привез в Дом медиков стекла и картон для оформления работ. Леня Прудовский, которого я непрерывно шпынял, активно мне помогал, и к началу марта все существовавшие на тот момент работы были оформлены, вставлены в паспарту и рамки. Не было никакой цензуры. Полночи перед открытием мы занимались развеской работ. Приехало много друзей, пришли знакомые Ларисы, которые до этого меня в глаза не видели. Все помогали, как могли. Когда все было развешено, я взглянул на длинный коридор, в котором висело около 200 работ, и пришел в изумление: это и есть моя жизнь? Это все сделал один человек? Перед открытием, естественно, были приглашены самые «смелые» и прогрессивные средства массовой информации, в том числе популярная тогда ТВ-программа «Взгляд». Никто не пришел! Только одна дама, похоже из общества «Память», посетовала на вернисаже, что такой чудный русский художник имеет жену еврейку. Ну, с дамой я разбираться не стал, а отправил ее к Ларисе. Уж не знаю, что там моя жена сказала, но дама быстро ушла с выставки.

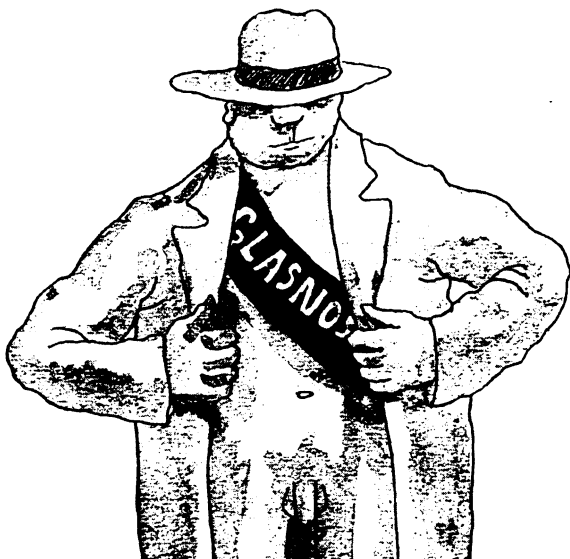
На открытие пришла масса народа. По советской привычке, несмотря на то, что о выставке не было вообще сказано ни слова, народ все шел и шел. Пришел профессор-генетик Владимир Павлович Эфроимсон. Долго смотрел работы. Потом было нечто вроде открытия, на котором Владимир Павлович сказал:

— Работы Сысоева нужно размножить миллионными тиражами и опускать советским людям в почтовые ящики. И тогда, лет через десять, может быть, улучшится наш генофонд.

Я пригласил на открытие Генриха Сапгира, Женю Попова, Таню Щербину*, Виктора Ерофеева* и Володю Соро-

кина*. Из небольшого зала, где предполагались их выступления, мы вынуждены были переместиться на лестницу — столько было желающих послушать. Все расположились на широкой мраморной лестнице, а внизу сидели литераторы и читали свои произведения. Первые три дня публика все прибывала и прибывала, и, наконец, дала о себе знать Организация. Я этого ожидал и даже удивлялся, почему они раньше не проявились. Вечером третьего дня ко мне с выпученными от ужаса глазами подбежала замдиректора Дома медиков. В день открытия эта дама, замещавшая заболевшего вдруг директора, хвалила выставку и была довольна тем, сколько народу пришло. Подбежав, она закричала:

— Немедленно снимайте работы!



Естественно, мне только этого и надо было. Я поднял фотоаппарат и предложил:

— Давайте наоборот сделаем. Вы будете срывать или срезать или рамы ногами топтать, а я буду вас фотографировать...

Дама от негодования места себе не находила. И никак не хотела объяснить, что же случилось. Еще сегодня днем все было хорошо, и даже товарищ Петр Шелест*, бывший партбосс, ныне партийный пенсионер всесоюзного значения, случайно придя в Дом медиков для уплаты членских взносов, похвалил выставку, а сейчас...

— Тут проходит правительственная трасса! — вдруг выпалила дама.

Это было настолько неожиданно, что я даже растерялся и при всем своем цинизме не нашелся что ответить. Это сделали другие, стоявшие рядом зрители и с интересом наблюдавшие за разгорающимся скандалом.

— Трасса, наверно, прямо по этому коридору проходит, — предположил кто-то.



Я из автомата позвонил в агентство Франс Пресс и рассказал, что выставку закрывают. Со скоростью пожарной команды французская корреспондентка прискакала на выставку, но еще быстрее ее там оказались гебисты. Один

из них стоял столбом посередине толкучки, мешая проходящим и пристально их разглядывая. Опять я перед кем-то проштрафился? Посоветовавшись, мы решили сами снять работы после того, как кончится время просмотра. Было ясно, что выставку закроют, да еще и работы могут попортить.

Это была первая моя персональная выставка на Родине. Я был доволен. Впервые я увидел, скольким людям интересно то, что я рисовал. Приходил Володя Гершуни*, легендарный человек, давнишний гулаговский сиделец, которым восхищался в «Архипелаге» Солженицын. Я ходил с ним, рассказывал, когда, в каких условиях работы создавались. Володя, эмоциональный человек, вскрикивал, потирал руки, по-моему, даже стонал от восторга, когда видел что-то, особенно западающее в душу. Выставка была прикрыта, просуществовав три дня.

Осенью того же года неутомимый Ленья Прудовский устроил мне встречу с «Пятым колесом» — популярной питерской телевизионной программой. Домой к нам с Ларисой завалилась целая телевизионная бригада во главе с Беллой Курковой*. Когда все, что надо, было отснято, мы договорились, что об их визите не будет сказано никому ни слова и что меня известят, когда будет нужно. Через какое-то время позвонил Ленья и сказал:

— Включай ящик.

Это был специальный московский выпуск популярной программы. Сначала показали Новеллу Матвееву*, потом меня, причем я ничего не говорил, а только поводил, как сыч, глазами. (Мне телевизионщики до съемки сказали, косясь на мои работы, что я «уже все сказал».) Последним шло интервью с Веничкой Ерофеевым, которое взял у него Ленья Прудовский. Веня, уже очень больной, говорил металлическим синтезированным голосом, рассказывал о себе иронично, как всегда, без всякой напыщенности. Это было его последнее интервью.

РАССТАВАНИЕ БЫЛО ТРУДНЫМ

На первом разрешенном концерте памяти Галича случай свел меня с Александром Минкиным*, известным восходящим журналистом из «Московских новостей», главной газеты перестройки. Популярность газеты была такова, что ее расхватывали с прилавков мгновенно, как колбасу в годы Брежнева. Минкин приехал к нам домой, долго разглядывал рисунки. Что-то, казалось, его сдерживало, но потом он сказал, что надо ехать с работами к «самому», то есть к шефу «Московских новостей», Егору Яковлеву*. Саша отобрал несколько безобидных работ, которые я должен был захватить с собой.

В приемной «Новостей» мне выписали пропуск, и я оказался в небольшом кабинете Минкина. Он еще раз просмотрел рисунки и повел меня в кабинет Яковлева. Свершилось! Первый раз в жизни со мной здоровается за руку смелый и решительный редактор самого смелого перестроечного издания! Расспросил меня, как дела. Дела мои были, как всегда, замечательны. В двух словах рассказал о том, как исключили из Горкома графиков за «хулиганские действия», как получал вместе с Отари Кандауровым издательские отписки от начальников...

— От меня что вы хотите? — спросил Егор Яковлев.

— Ничего. И от сволочей этих мне уже ничего не надо.

Минкин взял у меня папку и показал шефу рисунки. Тот ткнул пальцем в один из них:

— Будем печатать.

Через неделю в «Московских новостях» появилась небольшая заметка обо мне, написанная Минкиным. Заметка иллюстрировалась первым в моей жизни официально опубликованным на Родине рисунком размером в две почтовые марки: художник рисует солнце, глядя на луну.

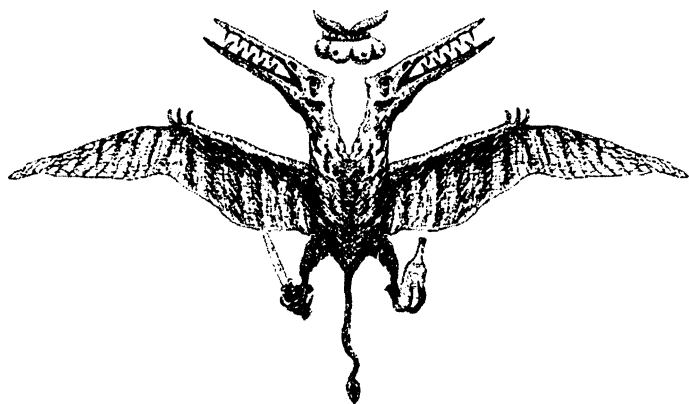
Меня поздравляли, звонили разные знакомые, говорили, что это большой успех, пробита стена. А я думал —

почему можно словами разоблачать советскую власть, сталинизм и все, связанное с системой, а к публикации допущен совершенно невинный, абсолютно нейтральный рисунок? Почему это не ракета на телеге, почему не баба, косящая серпом, растущие на поле молоты? Почему не Брежнев, в конце концов, или Сталин? Есть все-таки запреты и в «Московских новостях»? Кто разрешает — запрещает? Мне, собственно, было не очень все это интересно. Многое уже было напечатано на Западе. Ну и слава Богу, что на Родине наконец что-то начали печатать. Потом в «М.Н.» было еще несколько публикаций, но было не до хождения по редакциям. У меня была впереди выставка, моя собственная, да еще какая!



К зиме выяснилось, что нам с Ларисой дали наконец возможность выехать с моими работами на выставку в Гол-

ландию. Но перед этим произошло еще одно знаменательное событие. Позвонили из Дома кино и спросили, хочу ли я сделать выставку вместе с премьерой фильма Александра Сокурова «Дни затмения». Не раздумывая, я согласился. И произошло необычное для меня событие: в Доме культуры завода им. Владимира Ильича (то есть бывшего Михельсона, где эсерка Каплан покушалась, по легенде, на Ленина) в течение девяти дней шла премьера фильма ученика Тарковского, а перед этим в течение нескольких часов зрители могли увидеть самые яркие мои работы, на этот раз — без всякой цензуры. По-видимому, там побывало за время премьеры несколько тысяч человек. Я на выставку не ходил, а фильм Сокурова «Дни затмения» уже видел до этого, в Доме кино. Лариса, как экскурсовод, водила любопытствующих, отвечала на вопросы. Была очень доброжелательная публика. Иногда мелькали, впрочем, персонажи давно известные, но мне, например, казалось, что без них любое торжество будет неполным. В общем, наступил Новый, 1989 год. Уже было известно, что уезжаем мы в январе.



* * *

Чтобы вывезти свои работы, которые были на Родине никому не нужны, я должен был иметь на руках бумажку, что они не имеют художественной ценности, и поэтому мне их разрешают вывезти. Для получения такой бумажки пришлось пройти еще одну унижительную советскую процедуру: на улице Чехова, в обветшалом двухэтажном строении, раз, кажется, в неделю заседала комиссия, которая и решала, что можно и что нельзя вывозить. Принес туда я в папке свои работы. Выстоял несколько часов. Наконец очередь дошла до меня. В помещении сидели дамы, очередные блюстительницы нравственности и идейной чистоты. Начали рассматривать работы, сдержанно хихикая. Что-то разрешили к вывозу, а другие картинки отложили в сторону: нельзя! Я никак не мог понять принципа отбора. Почему нельзя вывезти, скажем, рисунок с палачом, который, отрубив бабе голову, подносит к ней, голове, зеркала.

— Форма у него, — сказала, хихикая, дама, — на форму НКВД похожа...

— Ну и что? Просто синяя гимнастерка.

— Нельзя.

Такие же исчерпывающие объяснения я получил и по поводу других работ... Да ладно, какая разница. Все равно, им это не надо, а вывезти... да что говорить!

Незаметно пришло время отъезда. Все было как-то призрачно. Мы же ехали на месяц, на выставку. Никто не мог предположить, что этот месяц растянется... на сколько? Навсегда?

Я толком даже не попрощался с друзьями, все дела были, мелкие заботы. Вечером мы собирали какие-то шмотки, клали в сумки. Вызвали такси. У меня сильная температура, отвратительно себя чувствую. Доехали до ... нет, на этот раз была не Ярославская дорога. Поезд шел до города Утрехта, Голландия. Белорусский вокзал был чистый,

но почему-то темный и неуютный. Сели в купейный вагон. Поехали!

Все, что было дальше, — это другая, новейшая история. Осталось досказать вот что: немедленно после того, как поезд пересек границу Восточной Германии и оказался в ее западной части, я почувствовал себя значительно лучше, а когда мы прибыли в город Утрехт, где в январе на газонах пробивалась свежая травка, я совсем поправился. И последнее: уже через полгода после нашего отъезда выяснилось, что всю ночь до отъезда и в день отбытия у дома Ларисы дежурила оперативная «Волга». Расставание было трудным. Товарищи знали, наверное, что расстаемся надолго, быть может, навсегда. Мне тоже чего-то стало не хватать — может быть, того внимания, которым был окружен многие годы. Думаю, этому не стоит удивляться.

Москва — Берлин

Пофамильный список, составленный на основе сведений, полученных из Интернета, биографических словарей, справочников и моих документов

Абрамкин Валерий Федорович (1947) — редактор самиздатского журнала «Поиски», участник правозащитного движения в 1970-е годы, политзаключенный (1980—1985). В настоящее время — руководитель Общественного центра содействия реформе уголовного правосудия.

Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927) — русский писатель. После революции вошел в разряд буржуазных, антисоветских, а следовательно, и запрещенных авторов. Выслан из СССР в 1918 году.

Ащеулов Владимир Михайлович — партийно-комсомольский вожак, бывший председатель Московского комитета художников-графиков. Скончался в постперестроечные годы.

Бажанов Леонид Александрович — искусствовед. Директор Государственного центра современного искусства.

Бикел Теодор (1924) — американский актер. Родился в Вене. С семьей эмигрировал сначала в Палестину, впоследствии в США. Легендарный исполнитель народных еврейских, американских, русских и цыганских песен.

Богатырев Константин Петрович (1925—1976) — поэт, переводчик. Участник войны. За «террор» и «измену родине» приговорен к смертной казни, замененной на 25 лет лагерей. В 1956 году реабилитирован. 18 июня 1976 года Константин Богатырев скончался после нанесения ему смертельных ударов кастетом. Ни одна советская газета не сообщила о его смерти, не поместила некролога. Убийцы его не названы по сей день.

Бродский Исаак Давыдович (1923) — скульптор, автор ряда памятников в городах СССР, в том числе и памятника Лермонтову в Москве.

Бруни Лев Иванович (1950) — художник-концептуалист, журналист, публицист. После 1980 года — в эмиграции. Позднее вернулся в Россию.

Бунчиков, а также Нечаев, Мулерман, Великанова, Дорда, Кристалинская, Трошин, Миансарова, Зыкина, Лев Лещенко, Кобзон, Бернес — советские эстрадные исполнители.

Вертинская Марианна Александровна (1943) — актриса. Окончила Театральное училище им. Б. Щукина (1966). С 1966 года — актриса Театра им. Евг. Вахтангова. Заслуженная артистка РСФСР (1991).

Волохов Сергей (1937) — живописец. Участник многих выставок неофициального русского искусства, в том числе и «бульдозерной». Живет на Западе.

Вучетич Евгений Викторович (1908—1974) — скульптор, Народный художник СССР. Одно из самых известных произведений — памятник воинам Советской Армии в Трептов-парке в Берлине.

Гершуни Владимир Львович (1930—1994) — поэт-палиндромист, публицист, правозащитник. Племянник известного социалиста-революционера. Провел в тюрьмах, лагерях и спецпсихушках 16 лет. Обладая феноменальной памятью, консультировал Солженицына в период написания «Архипелага ГУЛАГ».

Глезер Александр Давидович (1934) — поэт, переводчик, публицист, издатель, коллекционер неофициального рус-

ского искусства. С 1976 года в эмиграции. Основатель и главный редактор издательства «Третья волна» и одноименного альманаха литературы и искусства (1976). С 1984 года издает литературно-художественный журнал «Стрелец».

Губерман Игорь Миронович (1936) — поэт, прозаик. Стал известен как автор стихов, полных сарказма и иронии по отношению к сов. режиму. Стихи не печатались, но были широко известны. Принимал участие в издании нелегального журнала «Евреи в СССР». В 1979—1984 годах в заключении и ссылке. С 1988 года — в Израиле, где продолжает литературную деятельность.

Дементьев Вадим Владимирович (1941) — живописец. Владеет тончайшими приемами традиционной реалистической живописи.

Демичев Петр Нилович (1918) — в 1974—1986 годах министр культуры СССР. С 1988 года на пенсии.

Димитриевич Алексей Иванович (1913—1986) — знаменитый исполнитель песен и романсов. Родился на Дальнем Востоке в семье кочевых цыган, зарабатывающих себе на жизнь пением. Скончался в Париже, похоронен на русском кладбище Сен-Женевье-де-Буа.

Длугий Виталий Аронович (1943—1991) — живописец. Участник квартирных выставок в Москве. Эмигрировал в США в 1980 году. Оформлял в Нью-Йорке журнал «Новый американец».

Дондурей Даниил Борисович (1948) — искусствовед, главный редактор журнала «Искусство кино».

Дробицкий Эдуард Николаевич (1941) — художник. В 90-е годы руководил Московским комитетом художников графиков.

Ефимов Борис Ефимович (Фридлянд) (1900) — карикатурист, Народный художник СССР, академик, дважды лауреат Сталинской премии. Автор огромного количества злободневных карикатур. Ефимов сохранил свои позиции ведущего карикатуриста при всех режимах. После начала перестройки одним из первых стал рисовать карикатуры на И.В. Сталина.

Ерофеев Венедикт Васильевич (1938—1990) — русский писатель. Автор повести «Москва — Петушки» (1970; опубликована в 1988—1989 годах). Его перу принадлежат трагедия «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» (1989), эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика» (1973, опубликовано в 1989 году).

Ерофеев Виктор Владимирович (1947) — русский писатель, литературовед. В 1979 году он стал одним из организаторов и участников бесцензурного литературного альманаха «Метрополь», был исключен из Союза писателей СССР. Наиболее известный роман Ерофеева «Русская красавица» (1990).

Жарких Юрий (1938) — живописец, участник многих выставок неофициального русского искусства, в том числе «бульдозерной выставки». С 1980 года — во Франции.

Зверев Анатолий Тимофеевич (1931—1986) — русский художник, представитель русского «неофициального искусства». Неприкаянность и алкоголизм превратили Зверева в своего рода «ужасное» (и в то же время любимое) дитя московского андерграунда.

Зеленин Эдуард Леонидович (1938—2002) — живописец, умер в Париже. До своей эмиграции в 1975 году участвовал в десятках квартирных экспозиций неофициальной живописи, а также в показах в московском кафе

«Синяя птица» (1969 и 1972), в московском особняке американского журналиста Стивенса (1970), в лесопарке «Измайлово» (1974). Принимал участие в «бульдозерной» выставке».

Иванов Жорж (George Ivanoff) — русский певец, эмигрант второй волны, в 70-е годы певший в русских парижских ресторанах.

ИМКА-ПРЕСС (YMCA-PRESS) — авторитетнейшее в мире русское эмигрантское издательство. Основано в 1921 году в Праге. Среди изданий — работы русских философов, произведения М.А. Булгакова, А.П. Платонова, М.И. Цветаевой, А.И. Солженицына, мемуары Н.Я. Мандельштам, Л.К. Чуковской.

Кандауров Отари Захарович (1937) — живописец. Многолетний участник выставок современного русского авангарда. Руководитель клуба «духовной культуры» «Цитадель».

Кербель Лев Ефимович (1917) — российский скульптор, Народный художник СССР. Памятники К. Марксу в Москве (1961), В.И. Ленину (1981). Ленинская премия (1962), Государственная премия СССР.

Киблицкий Иосиф (1946) — живописец, один из участников «бульдозерной выставки». С 1980 года живет в Германии.

Кирцова Алена Валентиновна (1954) — живописец. Училась живописи в частной школе Василия Ситникова (1973—1975). Привержена традиции абстрактной живописи.

Козин Вадим Алексеевич (1903—1994) — эстрадный певец, композитор. Внук известной русской певицы Вар-

вары Паниной. В феврале 1945 года арестован и приговорен к восьми годам лишения свободы. После освобождения остался в Магадане. До середины 80-х годов переиздание в СССР пластинок Козина было официально запрещено.

Комар Виталий (1943) и Меламид Александр (1945) — русские художники — концептуалисты. Стали известны в 70-х годах как соавторы—основатели соц-арта (советского поп-искусства). Участники «бульдозерной выставки». Эмигрировали через Израиль в Америку в 1978 году.

Коротич Виталий Алексеевич (1936) — писатель. Романы «Десятое мая» (1978), «Лицо ненависти» (публицистический, 1984; Государственная премия СССР, 1985). Главный редактор журнала «Огонек» (1986—1991).

Кох Эльза — жена коменданта Бухенвальда. Вместе со своим мужем Карлом Кохом заправляла конвейером смерти в этом концлагере. Занималась изготовлением абажуров из татуированной человеческой кожи. Повешена после войны.

Кропивницкая Валентина Евгеньевна (1924) — живописец. В 1978 году вместе с мужем Оскаром Рабиным эмигрировала в Париж.

Кукрыниксы: М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов. Советские карикатуристы, графики, живописцы.

Кузнецова Людмила — коллекционер современной живописи. Скончалась в США в 1986 году. После смерти принадлежащие ей работы были переданы Нортону Доджу, обладателю самой большой коллекции современного русского искусства в Америке.

Куркова Белла Алексеевна — в конце 80-х годов создала и вела публицистическую программу «Пятое колесо».

Лебедев Владимир Семенович — партийный работник высокого ранга, помощник Хрущева.

Левитан Юрий Борисович (1914—1983) — диктор радио, Народный артист СССР. Обладал низким, торжественным, редким по тембру и выразительности голосом. Его чтение было составной частью советской пропаганды и оказывало на слушателей сильное эмоциональное воздействие. В течение почти 50 лет Левитан объявлял все важнейшие решения советского правительства.

Лещенко Петр Константинович, он же Мартынов Петр (Петруччо) (1898—1954) — самый известный за пределами России исполнитель цыганских и русских романсов, танго и фокстротов. Жил и выступал преимущественно в Румынии. Его арестовали во время концерта в городе Брашове (Сталин) в 1945 году, а вскоре забрали и жену, которую приговорили к высшей мере, замененной 25-летним заключением. Лещенко умер в бухарестской тюрьме. Могила неизвестна.

Матвеева Новелла Николаевна (1934) — поэтесса. С детских лет пишет стихи. Матвеева была одним из первых поэтов-бардов, клавиш своих стихи на музыку и исполнявших их под гитару. Песни Матвеевой в 1960-х годах пела буквально вся студенческая молодежь страны, нередко не зная их автора.

Меретик Габриель (Gabriel Meretik) (1939—2000) — журналист французского радио и телевидения. Переводчик. На протяжении многих лет работал корреспондентом TFI в Москве.

Мессинг Вольф (1899—1974) — знаменитый парапсихолог и телепат. Предсказал начало Великой Отечественной войны, предвидел окончание Второй мировой войны. В жизни самого Мессинга было немало событий, происшедших точно по его предсказанию, — это касалось и удачных поворотов судьбы, и болезней, и даже ухода из жизни.

Минкин Александр Викторович (1946) — журналист, театральный критик. В 1992—1996 годах — политический обозреватель газеты «Московский комсомолец», после чего перешел в «Новую газету».

Мнушкин Ариана (1939) — французский театральный режиссер, общественная деятельница. В 1964 году Ариана Мнушкин основала «Театр дю солей» — Театр Солнца, ныне известный всему театальному миру.

Немченко Гарий Леонтьевич (1936) — писатель, публицист, сценарист. Автор ряда производственных романов. Кубанский казак, первый атаман Московского казачьего землячества.

Никогосян Николай Багратович (1918) — армянский скульптор, Народный художник СССР (1982). Памятники, многочисленные портреты деятелей армянской и русской культуры (памятник А. Исаакяну в Гюмри, 1976). Государственная премия СССР (1977).

Одноралов (Левидов) Михаил Николаевич (1944) — живописец, участник «бульдозерной выставки». Один из организаторов квартирных выставок в Москве (1975—1976). Эмигрировал в США в 1980 году.

Осипов Гарик — бывший ведущий радио 101 (Москва), эстет, эрудит и хулиган, участник группы «Запрещенные барабанщики».

Паттерсон Джим (1934) — чернокожий русский и американский поэт. Окончил Ленинградское высшее военно-морское училище. В младенчестве снимался в фильме «Цирк», где именно ему интернационалисты поют Колыбельную на муз. Дунаевского. Сейчас живет в Вашингтоне.

Попов Евгений Анатольевич (1946) — русский писатель. В 1979 году — один из организаторов и участников бесцензурного литературного альманаха «Метрополь». Был исключен из Союза писателей СССР. Наиболее известные произведения — «Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину», «Ресторан “Березка”», «Зеленые музыканты».

Попов Олег Константинович (1930) — знаменитый советский клоун, живет в Германии.

Провоторов Владислав Алексеевич (1947) — один из лидеров современной религиозно — мистической живописи. В 1977—1991 годах вместе с рядом других наиболее интересных нонконформистов входит в группу «20 московских художников» и регулярно выставляется на Малой Грузинской. В 1994 году был рукоположен в иереи и назначен настоятелем одного из храмов в Московской области.

Прудовский Леонид Владимирович (1945—1997) — журналист, публицист и мистификатор. В перестроечные годы работал в «Огоньке» (Леонид Прудовский был моим лучшим другом. Всячески популяризировал мое творчество. — *Примеч. В.С.*).

Рабин Александр Оскарович (1951—1994) — живописец, сын Оскара Рабина, участник «бульдозерной выставки».

Рабин Оскар Яковлевич (1928) — русский живописец. Один из самых активных членов «лианозовского кружка». Один из организаторов «бульдозерной выставки» (1974). В 1978 году эмигрировал во Францию, поселившись в Париже. Был лишен советского гражданства. Опубликовал книгу воспоминаний «Три жизни» (1986).

Ребров Иван (1929) — знаменитый русский исполнитель классической, народной и эстрадной музыки. Живет в ФРГ.

Робинсон Джерри (1922) — американский художник, автор комиксов. В возрасте 17 лет создал комиксного героя Бэтмана.

Рогинский Михаил Александрович (1931—2004) — живописец, театральный художник. Творчество художника развивалось в русле альтернативной культуры. В 1978 году эмигрировал в Париж.

Ройтер Липа Герш-Лейбович (1910—1994) — московский художник.

Ройтер Михаил — московский художник, брат Л. Ройтера.

Рошаль-Федоров Михаил Георгиевич (1956) — художник-концептуалист. Принимал участие в «бульдозерной выставке». В 1975—1979 годах участник группы «Гнездо» (совместно с Геннадием Донским и Виктором Скерсисом).

Рокк Марика (1913) — немецкая актриса эстрады, театра и кино. Любимая актриса Гитлера. Самая известная роль Рокк — в музыкальной комедийной мелодраме «Женщина моих грез» (*Die Frau meiner Träume*, 1944; в русском прокате «Девушка моей мечты»).

Рухин Евгений Львович (1943—1976) — живописец, один из лидеров русского «неофициального искусства» второй половины XX века. Участник «бульдозерной выставки». Погиб при пожаре в своей мастерской в Ленинграде.

Савельев Вячеслав Петрович — акварелист, многолетний участник выставок московского неофициального искусства. Принимал участие в «бульдозерной выставке». После 1980 года — в Париже.

Сапгир Генрих Вениаминович (1928—1999) — один из создателей (вместе с И. Холиным) так называемой «барачной поэзии». С середины 60-х годов публикуется на Западе. В СССР был известен как детский поэт, драматург и сценарист. «Взрослые» стихи не печатались. Составитель поэтического раздела антологии «Самиздат века».

Сапгир Кира Александровна (1937) — поэт, прозаик, журналист, переводчик. Эмигрировала в 1978 году. Работала в газете «Русская мысль». Сотрудничала с Радио «Свобода», русской службой ВВС. Живет в Париже.

Синявский Андрей Донатович (1925—1997) — русский писатель, литературовед. Гротескно-сатирические повести «Суд идет» (1959), «Любимов» (1963; обе под псевдонимом Абрам Терц) и Даниэль Юлий Маркович (1925—1988), русский писатель. Гротескно-сатирическая повесть «Говорит Москва» (1962), психологическая повесть «Искупление» (1964; обе — под псевдонимом Н. Аржак). Судебный процесс над ними состоялся в Москве в 1966 году. На основании факта публикации на Западе их сатирических произведений писатели были обвинены в антисоветской деятельности и приговорены к заключению в исправительно-трудовой колонии строгого режима (соответственно на 7 и 5 лет).

Сокольский (Кудрявцев) Константин Тарасович (1904—1991) — известный русский эстрадный исполнитель. Большая часть песен записана до Второй мировой войны в Риге.

Сокуров Александр Николаевич (1951) — режиссер кино. Андрей Тарковский высоко оценил первый фильм молодого режиссера. Дружба Сокурова с Тарковским не прерывалась и после отъезда последнего из России. В течение длительного времени, вплоть до перестройки (конец 80-х), ни один из его фильмов не был разрешен советской цензурой к показу. В 1995 году по решению Европейской киноакадемии имя Александра Сокурова включено в число ста лучших режиссеров мирового кино.

Сорокин Владимир Георгиевич (1955) — один из самых известных русских писателей-постмодернистов. Первой публикацией, сразу же принесшей Сорокину европейскую известность, стал роман «Очередь».

Старчик Петр Петрович (1934) — музыкант, исполнитель, диссидент. Был арестован в 1972 году. Находился на «излечении» в Казанской СПБ.

Стейнберг Сол (1914—1999) — американский художник, график. Родился в Румынии. В 1942 году эмигрировал в США.

Сысоев П.М. — академик, ученый секретарь Академии художеств СССР. К автору книги никакого отношения не имеет.

Сычев Владимир — фотограф, коллекционер русской живописи. С 1980 года — в эмиграции во Франции.

Талочкин Леонид Прохорович (1936—2002) — крупнейший коллекционер современного российского искусства, основатель музея «Другое искусство».

Томский Николай Васильевич (1900—1984) — скульптор, Народный художник СССР. Ленинская премия, Сталинская (Государственная) премия СССР.

Топор Ролан (1938—1997) — французский художник-сюрреалист, мастер черного юмора.

Фурцева Екатерина Алексеевна (1910—1974) — член партии с 1930 года. С 1960 года министр культуры СССР.

Хмелева (Сычева) Аида Моисеевна — русская парижанка, литератор, окончила редакторское отделение факультета журналистики МГУ.

Хоффман Эбби (1936—1989) — веселый и талантливый смутьян, левак, 30 лет баламутивший Америку. Объявил себя «основоположником движения хиппи на Восточном побережье». Хоффман возглавил борьбу против использования университетских лабораторий для нужд ЦРУ и Пентагона. Преследовался ЦРУ. Был и врачом и пациентом американских психушек. Оставил скандальные мемуары.

Шелест Петр Ефимович (1908—1996) — с 1962 года секретарь, с 1963 года — первый секретарь ЦК КП Украины. С 1973 года на пенсии.

Шелковский Игорь Сергеевич (1937) — скульптор, с 1976 года в эмиграции во Франции. Издатель «А — Я», первого журнала, посвященного российскому современному искусству.

Шорина Нина Ивановна — кинорежиссер, сценарист, дизайнер, актриса. Участник и призер ведущих анимационных фестивалей. Ретроспектива фильмов в Европе и США. В 1994 году организовала собственную студию.

Щербина Татьяна Георгиевна (1954) — поэт, прозаик, журналист, переводчик. С 1991 года жила в Мюнхене, затем в Париже. Работала для Радио «Свобода». В феврале 1995 года вернулась в Москву.

Эльская Надежда — живописец. Входила в круг «лианозовской школы». Участница многих неподцензурных выставок, в том числе и «бульдозерной». Погибла при невыясненных обстоятельствах в 1978 году.

Эфроимсон Владимир Павлович (1908—1989) — профессор, один из основоположников советской генетики. Двадцать лет его жизни было отнято лагерями, ссылками, войной.

Ягода Генрих Григорьевич (Енох Гершеневич) (1891—1938) — генеральный комиссар государственной безопасности (1935). Возглавил строительство Беломорско-Балтийского канала. В 1934 году получил пост наркома. В 1938 году признан виновным в шпионаже и приговорен к смертной казни. Расстрелян.

Яковлев Егор Владимирович (р. 1930) — российский общественный деятель, журналист. В 60—70-е годы работал в газетах «Московская правда», «Известия», в журнале «Журналист». В 1986—1991 годах главный редактор газеты «Московские новости», одного из самых популярных изданий в годы перестройки. С 1993 года главный редактор «Общей газеты». В 2002 году ушел в отставку.

Ярославский Емельян Михайлович (Миней Израилевич Губельман) (1878—1943) — партийный деятель, академик АН СССР, лауреат Сталинской премии. Написал книгу «О товарище Сталине», полную неприкрытой лести и низкопоклонства. Прах погребен в Кремлевской стене.

Содержание

Вступление	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	9
Подставьте то, что вам нравится	14
Окно в Европу	19
Я задумался	32
Меня чуть не задавили	35
Где твои семнадцать лет?	42
Гид Сватковский и демократизация	54
Сумасшедший Иосиф	58
В учениках	82
Грязные халаты	114
Знамение свыше, или Как Сысоев стал нонконформистом... ..	141
Сон	146
Председатель Мао — ваньсуй, ваньсуй, ваньсуй!	154
Социалистический модернизм	163
Джоконда в Питере?	168
Москва—Париж	180
Нечистая сила на Садовой	183
Первое возмущенное письмо Эбби Хоффману	188
Второе возмущенное письмо Эбби Хоффману	195
Третье возмущенное письмо Эбби Хоффману	204
Кирпичи из «Березки»	213
Самая здоровая в мире	219
Они пришли, Эбби!	225
За нее, за ЦРУ, за Эбби, помолись, Господи	231
И дело происходит в том же декабре... ..	256
Глава заключительная, или доклад «Два года отсутствия присутствия»	260
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	279
Суп из уточки	282
Жэнщин хочешь, а?	284
День смерти Сталина	289

Пассажиры	292
Суд, пересылка, этап	297
И деньги, и слава, и ореол	303
Филиал холмов	305
Как товарищи работали-1	309
Холмы	315
А. Кларк	323
Как товарищи работали-2	326
Человек-шишка	332
Глаза	335
Зуб	338
Половина	341
Два опера	345
Как товарищи работали-3	351
Брюки	356
«Я устала»	359
Зажглась серебряная луна	363
Побег	369
Душа женщины	374
Как товарищи работали-4 И-5	380
Похороны и поминки	385
Спасибо	388
Все гениально	391
Не член. Снова член	394
Персонажи из прошлого	398
Бедный Ленька	403
Опять!..	407
Дом медиков	413
Расставание было трудным	418

Вячеслав Сысоев
Ходите тихо, говорите тихо
Записки из подполья

Дизайнер обложки
Т. Ларина
Редактор
Г. Ельшевская
Корректоры
Н. Смирнова, Э. Корчагина
Компьютерная верстка
С. Петров

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «Новое литературное обозрение»

Адрес редакции:
129626, Москва, И-626, а/я 55
Тел.: (095) 976-47-88
факс: 977-08-28
e-mail: real@nlo.magazine.ru
<http://www.nlo.magazine.ru>

Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1
Гарнитура NewtonС. Тираж 2000. Печ. л. 13,75. Заказ № 2367
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15

Издания
«Нового литературного обозрения»
(журналы и книги)

можно приобрести в следующих магазинах Москвы:

«Ад маргинем» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

тел.: 951-93-60

«Библио-глобус» — ул. Мясницкая, 6; тел.: 924-46-80

«Гилея» — Нахимовский просп., 51/21; тел.: 332-47-28

«Гнозис» — Зубовский бульвар, 17, стр. 3, к. 6;

тел.: 247-17-57

«Графоман» — 1-й Крутицкий пер, 3; тел.: 276-31-18

Книжная лавка писателей при Литфонде —

ул. Кузнецкий мост, 18; тел. 924-46-45

Книжная лавка при Литинституте —

Тверской бульвар, 25; тел. 202-86-08

«Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 8;

тел. 238-50-01

«Москва» — ул. Тверская, 8; тел. 229-64-83

Московский Дом книги — ул. Новый Арбат, 8;

тел.: 203-82-42

Книжный клуб 36,6 — Рязанский пер,3;

тел.: 261-24-90, 265-13-05

«Фаланстер» — Б. Козихинский пер., д. 10;

тел.: 504-47-95

«У кентавра» — Миусская пл., 6; тел.: 250-65-46

Интернет- магазин «Озон» — www.ozon.ru

Интернет- магазин «Болеро» — www.bolero.ru

Вячеслав Сысоев

Книга Вячеслава Сысоева – это не вполне мемуары; скорее, это фантасмагория на автобиографическом материале. Сама биография автора фантасмагорична: едва ли не единственный из русских художников-нонконформистов, Вячеслав Сысоев подвергся репрессиям конкретно за «художество» – отсидел два года по статье 228 УК РСФСР («За изготовление и распространение порнографических изображений»), а до этого четыре года скрывался от ареста, развенчав тем самым миф о всемогуществе и всезнании ее карательных органов. Как и в рисунках Сысоева, в его увлекательной прозе причудливо сплавлены изощренность и лубочность, сатира и гротеск; ей присуща интонационная и композиционная многослойность. Книга иллюстрирована работами автора.

ISBN 5-86793-334-2



9 795867 933349 >

